Николай Гумилев "КОГДА Я БЫЛ ВЛЮБЛЕН"



Николай Гумилев

"КОГДА Я БЫЛ ВЛЮБЛЕН"







Стихотворения

Поэмы

Пьесы в стихах

Переводы

Рассказы



Николай Гумилев

“КОГДА Я БЫЛ ВЛЮБЛЕН...”

Москва
“ШКОЛА-ПРЕСС”
1994

ББК 84Р
Г 94

Составление, вступительная статья *Л.А.Озерова*

Гумилев Н.С.

Г 94 "Когда я был влюблен...": Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избр.проза / Сост., вступит. статья Л.А.Озерова. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 624 с.: ил. (Серия "Круг чтения: Школьная программа").

ISBN 5-88527-072-4

Сборник одного из виднейших представителей Серебряного века – Н.С.Гумилева (1886–1921) включает его основные поэтические и избранные прозаические сочинения. Состав книги позволит читателю представить личность, судьбу, особенности художественного метода "певца мужественности" и его место в отечественной культуре.

Для учителей и учащихся, а также широкого круга читателей.

Г $\frac{4702010000-056}{С79(03)-94}$ **ББК 84.4 Р.**

ISBN 5-88527-072-4

© Составление, вступительная статья, Л.А.Озеров, 1994
© Издательство "Школа-Пресс", 1994

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ. ЕГО ЖИЗНЬ. ЕГО СОЧИНЕНИЯ

Трудно назвать поэта, за имя и наследие которого на протяжении десятилетий велась бы столь мучительная и жестокая борьба, как за имя и наследие Николая Степановича Гумилева.

Если не все читатели нескольких поколений, то многие из них понимали, что вклад этого поэта в русскую литературу велик и без знания его стихов, прозы, пьес, переводов, статей невозможно составить себе достаточно полное и верное представление о русской культуре, по меньшей мере, двух первых десятилетий XX века.

Имя Гумилева было решительно и навсегда проклято большевиками, советской властью, официальной печатью. Оно было среди строго неупоминаемых. Оно было скрыто от людей, которые могли с ним познакомиться только одним способом — тайно переписывая старые, изданные при жизни поэта книги, давно ставшие библиографической редкостью. Имя и наследие проклинались, а интерес к поэту не исчезал никогда. Напротив, возмущенный несправедливостью читатель требовал внимания к поэту, внимания властей, издателей, прессы.

В статьях, учебных пособиях по новейшей литературе, написанных советскими авторами, как правило, Николай Гумилев обвинялся в государственном преступлении — участии в контрреволюционном заговоре, за что его и присудили к расстрелу. Приговор, немотивированный, злобный, скоропалительный, был, к несчастью, приведен в исполнение.

Это была эпоха Ленина—Сталина, эпоха послеоктябрьского террора, первые годы тоталитарного государства. Как показало время, люди гибли без разбора и в немыслимых количествах. К "делу"

Н.С. Гумилева историков литературы не подпускали "органы безопасности". Оно было за семью печатями на протяжении почти семидесяти лет. Как оказалось, "дела" вовсе и не было. Во всяком случае оно не содержало материалов, порочащих поэта или показывающих его близость к заговорщикам.

Вместе с тем у нас становились легендой имя и наследие Николая Гумилева. Стихи его читали наизусть, недозволенное делали дозволенным, но, так сказать, "в частном порядке". Я знал людей (некоторые из них занимали в литературе, в прессе, в высших учебных заведениях командные посты), проповедовавших с трибуны социалистический реализм и партийность, поддерживавших постыдные выступления Жданова, но в узком кругу за чашкой чая или за рюмкой водки упоенно читавших Гумилева. Они, что называется, "отводили душу". Двуличие, ханжество и фарисейство цвели буйным цветом. Знал я немало людей, которые кроха за крохой, изо дня в день собирали все, что относится к так называемому "делу Гумилева": свидетельства современников, уходивших из жизни друг за другом, газетные вырезки, документы. Все это накапливалось с одной целью — доказать необходимость немедленной реабилитации Н.С.Гумилева и скорейшего возвращения его наследия современникам.

Пишущий эти строки принадлежит к числу людей, долго и последовательно строивших и совершенствовавших систему доказательств невиновности Гумилева. Все наши отчаянные попытки всякий раз разбивались о скалу раз навсегда установленной предвзятости. "Нет! Нельзя!" — вот и весь ответ. Потом — долго! — звучало: "Нет! Не время!" И еще позднее: "Может быть, когда-нибудь..."

Гумилев и его наследие вышли за пределы компетенции людей культуры и искусства и являлись вроде бы достоянием, владением и прерогативой КГБ. Кто ни обращался в ту цитадель, кто ни стоял у ее ворот в годы Сталина, Хрущева, Брежнева и т.д., получал от ворот поворот. Попытка издать Гумилева даже в специальных сборниках, вроде "Дня поэзии", не дала желаемых результатов. Отказы были немногословны, односложны: "Нет!" Еще чаще — молчание, решительно сомкнутые губы, стальной взгляд.

Иногда вижу жизнь моих друзей и свою от ранних юношеских лет до нынешнего дня как хронику медленной, изнурительной, изощренной в своем коварстве, жесткой и жестокой эпохи, в которую шла борьба за Гумилева и за других незаслуженно подвергнутых остракизму поэтов. Невозможно было видеть и слышать, как глумились власть имущие над именем и наследием автора "Жемчугов". Об этом может быть написана печальнейшая и увлекательнейшая книга, которая не уступит самому острому детективу.

В такой предполагаемой книге будут названы имена многих людей, ратников Гумилева. Первым по праву надо назвать писателя П.Н.Лукницкого. После гибели поэта Павел Николаевич начал собирать архив и писать его биографию. Эти высокой ценности труды только сейчас получают огласку. Их ценность возрастает еще и в силу того, что собеседницей и советчицей Лукницкого в его засекреченном в ту пору труде была Анна Ахматова.

Вспоминаю Игоря Стефановича Поступальского — поэта, переводчика, критика, уникального знатока истории поэзии, забытого и забитого, на протяжении жизни фанатически собиравшего все, что относится к Гумилеву. Я убеждал Поступальского, что ему-то и надо писать книгу о Гумилеве. Нужда и болезни не отступали, поэтому и замыслы вынуждены были отступать. О невнимании к работе Поступальского и его наследию — особый разговор. Это человек и писатель, которого в прямом смысле слова прозевали.

Интересовались Гумилевым, притом далеко не любительски, не только литераторы, но и ученые. Известный химик, доктор наук, профессор Сергей Сергеевич Воюцкий жил поэзией Гумилева и включал его стихи в свои лекции и беседы. Он был тонким толкователем строк поэта и умным гидом по его жизни и сочинениям. Он, что называется, "отводил душу" в собеседованиях-раздумьях о Гумилеве.

В нескольких изданиях своей хрестоматии, посвященной литературе XX века, литературовед Николай Алексеевич Трифонов неизменно приводил подборку стихов Гумилева с примечаниями. Это выглядело прорывом в недозволенное. Это удивляло и обнадеживало.

Помнится номер газеты "Известия" со статьей ученого-астрофизика Иосифа Самуиловича Шкловского. К статье был взят эпиграф из Гумилева:

На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.

Привычное дело — эпиграф. Но здесь это выглядело дерзостью, сенсацией. Гумилев! Запрещенный Гумилев в официальной газете.

Незадолго до смерти Николай Семенович Тихонов старшему современнику Гумилеву, которого знал, любил и к школе которого может быть и должен быть причислен, посвятил прочувствованные ценные строки в своей "Устной книге". Это тоже был поступок в обход утвердившейся дурной традиции замалчивания Гумилева. На протяжении жизни Николай Семенович Тихонов неоднократно по-доброму вспоминал имя учителя и ссылался на него в беседах с молодыми авторами, в выступлениях перед разными аудиториями.

Несколько поколений наших читателей были лишены возможности общения с Гумилевым, с его сочинениями. Эта возможность была у читателей отнята насильно. Урон неизмерим. Но и силы жизни неизмеримы. Многие понимали: бесконечно это длиться не может, наступит праздник и на гумилевской улице.

Теперь положение коренным образом меняется, изменилось. Дни и труды Николая Гумилева открыты для знакомства и изучения. Книги его выходят в свет. Интерес к нему со стороны большого читателя велик.

Однако истинное жизнеописание Николая Степановича Гумилева много десятилетий было неосуществимо в силу клубившихся заведомо лживых версий и легенд, ничего не имеющих общего с действительностью. Говорилось и писалось о нем постыдно мало, с ужимками, увертками, с фигурами умолчания, с паузами, придыханиями. Сейчас жизнь и творчество Гумилева, находившиеся под длительным запретом, медленно выходят из-под завалов истории и истории литературы. Высвобождаются для знакомства и познания даты и факты, причины и следствия.

Николай Степанович Гумилев родился 3(15) апреля 1886 года в Кронштадте. Отец его — Степан (Стефан) Яковлевич — врач, служивший в военном флоте, выходец из духовного сословия. Мать — Анна Ивановна — из тверских дворян Львовых. В круг семьи входили дети от первого брака Степана Яковлевича — дочь и сын.

Детство Николая Гумилева прошло в Царском Селе, этом гнезде поэтов и царедворцев, одной из столиц русской поэзии. Ранняя страсть к скитаниям (в том числе дальним, в Африку) прошла через всю жизнь поэта. Но он неизменно возвращался домой, а домом, еще шире — отечеством он считал Царское Село (как тут не вспомнить классическое — "Нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское Село"!).

Пребывание в Царском Селе прервалось жительством в Тифлисе, где в возрасте шестнадцати лет Гумилев впервые напечатал стихи в местной газете "Тифлисский листок".

В 1903 году Гумилевы вернулись в Царское Село. Одну из комнат квартиры, (на углу Оранжерейной и Средней улиц) Николай Гумилев с помощью приятеля превратил в "морское дно". К удивлению родни и ужасу хозяев, он нарисовал на фоне моря русалок, рыб, подводные растения, устроил среди комнаты фонтан, обложив его раковинами и камнями. В этом поступке выражен характер будущего путешественника, непоседы, искателя новых впечатлений, в конечном счете поэта, которого узна́ют и полюбят за поиск необычного, романтического.

Николай Гумилев в гимназии далеко не преуспевал, его ученичество сильно затянулось, сказалась нелюбовь к точным наукам (в седьмом классе был второгодником). Закончил гимназию в 1906 году (ему уже исполнилось двадцать лет). Гимназия для Гумилева была тяжела и все же отрадна тем, что директором ее был крупнейший русский поэт и переводчик Иннокентий Федорович Анненский, знаток античности, педагог, "последний из царскосельских лебедей".

Свою жизнь Николай Степанович Гумилев с юношеских лет намеревался сознательно и как бы по плану создавать, строить, творить, или, как он гово-

рил, "сочинить". Не стоит жить от случая к случаю, существовать от одного дня к другому, а проявлять волю в творчестве жизни, в "сочинении" ее. В одном из писем 1908 года он говорит: "Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого мрамора высекаются самые дивные статуи?"

К поэзии Гумилев сразу же, с первых шагов, подходит со всей серьезностью, настойчиво изучает ее историю и ее законы. Он постигает стихотворчество во всей его сложности и тонкости. Брюсову, которого почитает Учителем (с большой буквы), Гумилев в 1908 году пишет: "...я еще раз хочу Вас просить не смотреть на меня как на писателя, а только как на ученика, который до своего поэтического совершеннолетия отдал себя в Вашу полную власть. А я сам сознаю, как много мне надо еще учиться". Через два года он пишет тому же Брюсову: "Считаться со мной как поэтом придется только через много лет". Скромность и чувство собственного достоинства, прилежание и необузданное воображение — все это уживается в поэте.

Вместе с дисциплиной ума и собранностью он воспитывает и испытывает волю и бесстрашие. Человеку необходимо быть храбрым. Он настолько человек, насколько побеждает свой страх. В жизни путешественника, воина, поэта Гумилев много раз доказывал, что он никогда, до последнего дыхания не отступал от этого принципа.

По окончании гимназии Гумилев уезжает в Париж, где слушает лекции по французской литературе. В Париже поэт издает журнал "Сириус" (вышло всего три выпуска этого журнала), знакомится с французскими и русскими писателями, посещает художественные выставки. В эту парижскую пору Николай Гумилев уже автор двух книг стихов: "Путь конквистадоров" (1905) и "Романтические цветы" (1908). Обе были замечены. Обе признаны началом творческого пути. Обе вызвали доверие к новому поэту, на него возлагают надежды. Начинает осуществляться и его мечта о странствиях. Исследователи предполагают, что летом 1907 года Гумилев впервые побывал в Африке.

Несколько слов о внешности Гумилева. Современники отмечают, что он не был красавцем. Сам он писал: "Я стал придавать огромное внимание внешности и считал себя некрасивым. Я мучился этим. Я действительно, наверное, был тогда некрасив — слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились — ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, красный цвет лица и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что силой воли могу переделать свою внешность. Мне казалось, что с каждым днем я становлюсь немного красивее". Признание весьма любопытное. Поэт "сочинял" себя, творил, совершенствовал свою внешность. О душевном складе и говорить нечего.

Гумилев слыл щеголем, денди, джентльменом. Нравился женщинам и уделял им внимание такое же, как творчеству. Впрочем, его увлечения и влюбленности питались творчеством и — одновременно — питали его. В облике и поведении Гумилева мы узнаем облик и поведение поэтов пушкинской поры. Рассеянная жизнь и сосредоточенное творчество, независимость, культ женщины, высокое понятие о чести и достоинстве. Нарушение их может обернуться дуэлью, что и было в жизни Гумилева. Он стрелялся с Волошиным. Он был по натуре дуэлянтом, человеком вспыльчивым и бесстрашным. Он знал бесстрашие правды и прямоты. Ему была свойственна правдивость во всех случаях жизни — в большом и малом.

Знавший Гумилева по Царскосельской Николаевской гимназии (хотя сам был учеником реального училища) Эрих Голлербах пишет: "Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет".

В сентябре 1908 года Гумилев едет в Африку. Отец Гумилева не одобрял затеи сына, и тот ослушался его и на сбереженные деньги отправился в путешествие. Дабы отец не узнал об его отъезде, Гумилев заготовил несколько писем на его имя, и друзья отправляли их из Франции в Россию каждые десять дней.

9 ноября 1908 года Гумилев вернулся в Царское Село. Он зачисляется в Петербургский университет

(сперва на юридический, затем на историко-филологический факультет)

Вхождение Гумилева в петербургскую литературную среду было далеко не гладким. Гиппиус и Мережковский его отвергали. "Чем, о, чем он вас пленил?" — в гневе спрашивала Гиппиус в письме к Брюсову.

В Петербурге Гумилев посещает Башню Вячеслава Иванова, кружок "Вечера Случевского", встречается с Анненским, Волошиным, Рерихом, Кузминым, Ремизовым, Маковским (сыном художника), Кругликовой. Он печатается во многих литературных изданиях Петербурга, участвует в подготовке к изданию журнала "Аполлон", становится одним из видных его сотрудников, ведет раздел "Письма о русской поэзии" (им написаны очерки о Сологубе, Блоке, Бальмонте, Брюсове, Городецком, Клюеве, Цветаевой, Мандельштаме, Хлебникове и других).

Предреволюционное десятилетие, которое долго в советской литературе упорно и злонамеренно именовалось позорным, в действительности было десятилетием буйного расцвета культуры, годами творчества не одного, а целой плеяды поэтов, писателей. Это были годы становления таланта Гумилева, годы его учения и совершенствования. Культурный ценз писателя, знание языков, философский кругозор, духовное общение — все это находилось на большой высоте, о чем мы можем судить сейчас, когда XX век уже на исходе. После революции Гумилев говорил, что русская культура, в том числе в Петрограде, переживала в начале века расцвет, и, бывая за рубежом, поэт ощущал зарубежную культуру как провинциальную.

Осенью 1909 года Гумилев снова отправляется в африканское путешествие (Каир, Порт-Саид, Джибути, Харар). В январе 1910 года он возвращается в Россию. 16 апреля того же года выходит третья книга стихов — "Жемчуга" с посвящением: "Моему учителю Валерию Брюсову" (во втором издании книги в 1918 году этого посвящения уже нет). Его имя становится известным. Отзывы Брюсова и Вячеслава Иванова благоприятны. 25 апреля 1910 года Гумилев женится на Анне Андреевне Горенко, тогда начинающей поэтессе Анне Ахматовой. Увлечение его длилось не

менее пяти-шести лет. Молодожены побывали в Париже. По возвращении в Россию супруги поселились на лето в Тверском крае, в имении Слепнево под городом Бежецком. В поместном бревенчатом доме, часть которого принадлежала матери Н.С. Гумилева, созданы многие значительные произведения русской поэзии нашего века.

Осенью 1910 года Гумилев снова уехал в Африку, где пробыл до конца марта 1911 года. Из путешествия по добрям и пустыням Абиссинии поэт привез записи абиссинских песен, коллекцию предметов быта и картин африканских живописцев.

В 1912 году у Николая Гумилева и Анны Ахматовой родился сын Лев, в дальнейшем ставший крупным ученым — историком и географом.

Осенью 1911 года Гумилев создает "Цех поэтов". Некоторые исследователи считают, что именно здесь зародилось новое литературное направление, известное под названием "акмеизм", пришедшее на смену символизму. Название направления выводят из латинского слова acme: "высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора" — так Блок расшифровывает это название. Другое название — "адамизм" значит "мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь".

Программные положения акмеизма, декларированные в феврале 1912 года, творчески воплощались в стихах (книга "Чужое небо", 1912; цикл стихов того же года, написанных под впечатлением поездки в Италию).

Еще одно путешествие в Африку совершает Гумилев в 1913 году. Это была командировка Музея антропологии и этнографии Академии наук. Поэт, путешественник, ученый встретились в одном лице. Гумилева сопровождал его племянник Н.Сверчков — "Коля-маленький". Дорога была трудна. Морем, в пассажирском и товарном поездах, на дрезине, на мулах, вплавь. Охота на акулу, пустыня, голод, лихорадка, безводье. Гумилев был едва ли не первым европейцем, пришедшим на эти земли с серьезными научными целями.

С чувством прекрасно выполненного задания Н.Гумилев и Н.Сверчков вернулись в Петербург. Привезенные ими экспонаты легли в основу африканского фонда Музея этнографии.

...Есть Музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

"Быть только поэтом" Гумилев не уставал, и силы ему придавало то, что его интересы к миру, к другим землям и народам не иссякали.

Как бы ни было заполнено время Гумилева путешествиями, исследованиями, встречами с людьми, он никогда не прерывал творчества. Взять хотя бы тот же 1913 год. Зима 1912/13 года — стихотворение "Ислам" ("В ночном кафе мы молча пили кьянти..."). 9 апреля — стихотворение "Я сегодня опять услышал...". Около 23—24 апреля — стихотворение "Когда зеленый луч, последний на закате..." Вторая половина мая — стихотворение "Когда вступила в спальню Дездемона...". Лето — стихотворение "Африканская ночь". Сентябрь — пьеса "Актеон". Конец года — перевел поэму Вьеле Гриффена "Кавалькада Изольды". Написано стихотворение "Я вежлив с жизнью современною...". Переведены почти все стихотворения книги "Эмали и камеи" Теофиля Готье. Написана драматическая сцена "Игра".

А между тем надвигалась война. Как известно, в 1907 году Гумилев был признан неспособным к военной службе и освобожден от нее. Но через семь лет, когда в 1914 году грянула первая мировая война, Николай Степанович ушел в армию добровольцем, или, как принято было говорить и писать, вольноопределяющимся. Он зачисляется в Лейб-гвардии уланский полк. К началу 1915 года, показав смелость, отличие в боях и презрение к смерти, Гумилев награждается двумя Георгиевскими крестами и в следующем, 1916 году производится в прапорщики и переводится в Пятый гусарский Александрийский полк.

На войне Гумилев писал стихи (некоторые вошли в его очередную книгу "Колчан") и прозу ("Записки кавалериста").

Летом 1917 года поэт снова в Париже. Встречается с русскими художниками Н.Гончаровой и М.Ларионовым. Здесь написана трагедия "Отравленная туника", поэма "Два сна" и стихи книги "Фарфоровый павильон". В Париже Гумилев влюбился в Елену Дюбуше, полуфранцуженку-полурусскую. Стихи,

посвященные ей, составили книгу "К Синей звезде", изданную в 1923 году. Любовь оказалась неразделенной. Елена предпочла американского богатея и с ним уехала в Америку. Гумилев оставил нам трехстишие, запечатлевшее силу его влюбленности и отчаяния:

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?..

Три акта трагедии, гениально выраженные тремя строками.

Вслед за Парижем — Лондон, где Гумилев работает над стихами, пьесами, повестью. В апреле 1918 года он покидает Лондон и через Мурманск возвращается в Петербург — в ту пору единственный путь в обход фронтов.

В 1918 году происходит окончательный разрыв с Анной Ахматовой. Развод оформлен официально. Уже на следующий год Гумилев женится на Анне Николаевне Энгельгардт, родившей ему в 1920 году дочь Елену.

Последние три года жизни (1918—1921) Гумилев под началом Горького работает в издательстве "Всемирная литература", руководит "Цехом поэтов", затем Петроградским отделением Союза поэтов. Он встречается с молодыми авторами из студии "Звучащая раковина", ведет студию переводчиков, сам много переводит Кольриджа, Саути, Броунинга, Гриффена, Леопарди, Эредиа, Рембо и других. В августе 1921 года, за месяц до гибели, он издает книгу стихов "Огненный столп", считающихся вершиной его поэтического творчества.

Деятельность Гумилева в эти последние для него годы обретает большой размах. Его, поэта и знатока поэзии, привлекает к работе в Институте живого слова известный литератор и искусствовед К.А.Сюннерберг (Конст. Эрберг). Готовясь к чтению лекций и ведению семинаров, Гумилев предлагает "Программу курса истории поэзии" и "Программу курса лекций по теории поэзии", показывающие его высокий культурный ценз и жажду обновления старых курсов того же профиля. В этих программах, требующих особого, пристального анализа, внимание останавливает

эрудиция поэта и актуальность поставленных проблем.

За год до гибели, в 1920 году, Гумилевым созданы новые стихи, переводы, пьесы, статьи, отредактировано множество рукописей. Есть смысл привести перечень сделанного, почерпнутый из книги В.Лукницкой о жизни поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Приводимый перечень говорит не только о разнообразии интересов поэта, но и о его воле к труду, о напряженности и продуктивности этого труда.

В начале года по заказу издательства "Всемирная литература" для "Серии исторических картин" написана пьеса "Охота на носорога".

9 января закончен перевод "Вицли-Пуцли" (первые 156 строк были переведены 1 января), и к 20 января закончен перевод "Бимини" Гейне.

В феврале пишет стихотворение "Сентиментальное путешествие", посвящает О.Н.Арбениной.

В марте написано стихотворение "Заблудившийся трамвай", одно из лучших у Гумилева, вошедшее в хрестоматии и антологии.

Не позже 5 мая закончен для "Всемирной литературы" перевод четырех сонетов Антеро де Кентала.

В июне написана Канцона вторая ("И совсем не в мире мы, а где-то...").

Летом написаны стихотворения "Слоненок" и "Шестое чувство".

6 июля первая постановка пьесы "Гондла" в Ростове-на-Дону.

Не позже 30 июля переведены для "Всемирной литературы" "Баллада о темной леди" Кольриджа и стихотворение "Эрнфила" Мореаса.

Не позже 18 августа переведены стихотворения Мореаса – "Воспоминанья", "Ага-Вели", "Посланье", "Вторая элегия".

Не позже 3 сентября переведены (по подстрочнику А.В.Ганзеи) четыре скандинавские народные песни: "Брингильда", "Гагбард и Сигне", "Лагобарды", "Битва со змеем".

За сентябрь – октябрь написана "Поэма начала" (песнь первая).

Не позже 10 октября закончен перевод стихотворений Леопарди (220 строк).

В октябре написано стихотворение "У цыган" (с посвящением Н.А.Шишкиной).

Не позже 25 октября переведены для издательства "Всемирная литература" стихотворения "Без названья" и "Распутник" Мореаса.

18 октября или 1 ноября в Студии поэзотворчества "Института живого слова" коллективно, с преобладающим участием Н. Гумилева, написано стихотворение "Наш хозяин щурится, как крыса...".

В ноябре написаны стихотворения "Эльга, Эльга!.." и "Пьяный дервиш".

25 октября или 15 ноября в Студии поэзотворчества "Института живого слова" коллективно, с преобладающим участием Н.Гумилева, написано стихотворение "Суда стоят, во льдах зажаты...".

6 декабря в Студии поэзотворчества "Института живого слова" коллективно, с преобладающим участием Н. Гумилева, написано пять вариаций стихотворения "Внимали равнодушно мы...".

Не позже 25 декабря переведены для издательства "Всемирная литература" две французские народные песни – "Вечный Жид" и "Адская машина".

В декабре написаны стихотворения "Звездный ужас", "Индюк", "Нет, ничего не изменилось...", "Поэт ленив...", "Ветла чернела...", "С тобой мы связаны одною цепью...".

В течение года отредактированы следующие переводы: "Эндимион" Китса (в январе – апреле); "Соловей", "Страх в одиночестве" (в январе – феврале), "Гимн перед восходом солнца", "Франция" Кольриджа (к 29 октября); английские народные баллады (несколько в январе – феврале, шесть баллад к 20 мая, одна к 20 июля); "Гяур" (к 24 апреля), "Дон Жуан" (часть в январе, песнь первая к 19 мая, песнь вторая к 20 июля, конец второй песни к 18 сентября) Байрона; стихи к романам "Морской волк" и "Когда боги смеются" Дж. Лондона (к 18 сентября); "Вер-Вер" Грассе (к 5 января); "Орлеанская девственница" Вольтера (песнь 8 к 24 апреля, песни 9, 10 к 30 июня, песни 6, 7 к 18 августа); "Теофиль Готье" Бодлера (к 8 июня); "Смерть любовников" и "Путешествие" Бодлера (к 15 июля); "Авель и Каин" Бодлера (к 27 мая); "Эринии" (к 18 августа), "Притчи Брата Гюи" Леконта де Лиля (к 28 ноября); "Сирано де Бержерак"

Ростана (с 20 июля по 30 июля); "Хмельной гимн" Мюссе (к 19 сентября); рассказ "Ами и Амиль" Мореаса (к 15 ноября); "Антология французских поэтов символистов и эстетов" (к 26 ноября); "Утешение Одина" (к 10 мая); 23 избранные баллады Дана (к 5 января); "Шведские народные песни" (часть в январе, 5 песен к 24 августа, 5 песен к 26 августа); "Ирод и Мириамна" и "Генофена" Геббеля (к 11 февраля); "Агасфер в Риме" Гамерлинга (к 18 февраля); "Веселый ужин шутников" Бенелли-Сема (к 19 марта); "Счастье и конец короля Оттокара" Грильперцера (к 23 апреля); несколько стихотворений Фердинанда фон Заара (к 18 сентября); "Нелле Завоеватель" и "Канун св. Агнесы" Нексё (к 20 июля); "Заложница императора Карла" Гауптмана (к 30 июля); "Стихотворения" Вордсворта (5 стихотворений к 20 июля, 2 стихотворения к 30 августа, 2 стихотворения к 18 сентября); "Пикколомини" Шиллера (к 28 ноября) и другие.

Вышла в свет (вторым, дополненным изданием) брошюра "Принципы художественного перевода" со статьями Ф.Батюшкова, К.Чуковского и статьей Н. Гумилева "Переводы стихотворные" (Пг., Госиздат, 1920).

Такой грандиозный творческий труд 1920 года, столь же интенсивно продолженный и в следующем году, злодейски оборван в конце августа 1921 года.

Гумилев готовился к продолжительной жизни. Вл. Ходасевич пишет: он "стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — по крайней мере до девяноста лет". Кстати, Ходасевич был последним, кто видел его на воле.

Поэт загублен в пору творческого подъема, кипения жизненных сил, в пору, когда он мог так много дать литературе. Неслыханное преступление тогда еще молодой, но немотивированно жестокой и неосмотрительно беспощадной советской власти. Николай Степанович Гумилев — одна из первых жертв тоталитарного строя, пускавшего "в расход" лучших представителей всех слоев населения, в том числе и прежде всего деятелей культуры и искусства.

Летом 1921 года Гумилев в Крыму. Он издает здесь (Севастополь) книгу стихов "Шатер". Свидание с

Крымом — последняя встреча с югом и "свободной стихией" моря.

От политики Гумилев далек. Биографы не находят в его материалах ни единой строки, осуждающей или прославляющей революцию. Словно бы революции и не было. Он жил жизнью поэта — порывистого, влюбчивого, увлеченного собеседника, а главное, мастера, почувствовавшего приход зрелости, обуреваемого новыми замыслами в разных областях творчества (поэзия, перевод, проза, эссеистика). Но в начале августа 1921 года Гумилева арестовывают. По свидетельству поэта Георгия Иванова, Гумилев в тюрьму взял с собой Евангелие и Гомера. Его обвиняют в участии в антисоветском заговоре. Это обвинение носит общий характер, утверждается в дальнейшем и не позволяет отдельным лицам и группам людей даже поставить вопрос о снятии с него обвинений в заговоре. Через полвека после расстрела выяснилось, что "преступление" Гумилева состояло в следующем: он "не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую организацию".

Это сообщение Г.А.Терехова, бывшего помощника Генерального прокурора СССР, сделанное в конце 1987 года (Новый мир, № 12), т.е. через шестьдесят лет после гибели Гумилева.

Постановление о расстреле 61 человека за участие в так называемом "Таганцевском заговоре" датировано 24 августа 1921 года. Точная дата расстрела неизвестна. Вот некоторые подробности: "Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж.д. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей" (из книги С.Мельгунова "Красный террор в России. 1918—1923").

Через четыре года после сообщения Г.А.Терехова, в 1991 году, в "Известиях" В.Руднев напечатал заметку, которую есть смысл привести полностью:

"20 сентября Генеральный прокурор СССР Николай Трубин подписал протест на решение Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии по делу Николая Гумилева, 1886 года рождения, русского, члена коллегии издательства "Всемирная литература", председателя Петроградского Всероссийского союза писателей.

24 августа 1921 года поэт Н.Гумилев Петроградской ЧК был признан виновным в "активном содействии Петроградской боевой организации в составлении для нее прокламаций контрреволюционного содержания, в обещанном личном активном участии в мятеже и подборе враждебно настроенных к Советской власти граждан для участия в контрреволюционном восстании в Петрограде, в получении денег от антисоветской организации для технических нужд..." Приговор ЧК: высшая мера наказания — расстрел.

Проверив материалы дела, извлеченного из архивов КГБ, Генеральный прокурор СССР не обнаружил там никаких данных о контрреволюционной деятельности Гумилева. Более того, отметил он, в творчестве поэта нет ни одного антисоветского произведения. В обоснование своего решения Н.Трубин сослался и на ходатайство М.Горького, который подчеркивал значение Гумилева для русской литературы.

Итог прокурорской проверки — протест. Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР предложено отменить постановление Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 года в отношении Николая Степановича Гумилева и дело прекратить за отсутствием состава преступления".

Вот чем завершились почти семидесятилетние усилия многих и многих людей реабилитировать Гумилева. Составлялись заявления, петиции, прошения, коллективные статьи для того, чтобы показать обществу, как необходим пересмотр так называемого "дела Гумилева". Не скроем, были противники этого пересмотра. Были и компромиссные решения: мол, вина с человека не снимается, но, помилуйте, какой поэт погиб, как ценно его наследие! Так, К.М.Симонов удивлялся тому, что "некоторые литераторы предлагали чуть ли не реабилитировать Гумилева через

органы советской юстиции, признать его, задним числом, невиновным в том, за что его расстреляли в двадцать первом году". Симонов пишет: "Я лично этой позиции не понимаю и не разделяю. Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде. Это факт установленный..."

Время показало, что, напротив, это факт неустановленный. Как жаль, что К.М.Симонов довольствовался не фактами, а молвой и не дожил до того момента, когда истина была признана. Поучительная история. История, исполненная драматизма и показывающая характер эпохи, в которую мы живем.

Были люди, не дожидавшиеся официального признания. Им было сразу же все ясно.

"За А.Блоком — Гумилев. Их не забудут и смерти их не простят большевикам", — писал в сентябре 1921 года С.Познер (один из первых откликов на смерть поэта).

"Русская поэзия надолго облеклась в безутешный траур" — слова Николая Минского, произнесенные в 1921 году.

"Имя Гумилева стало славным. Стихи его читаются не одними литературными специалистами и поэтами, их читает "рядовой читатель" и приучается любить эти стихи — мужественные, умные, стройные, благородные, человечные — в лучшем смысле слова" — так в 1929 году говорил Георгий Адамович.

Поведанная здесь биография Николая Степановича Гумилева объясняет, во многом должна объяснить его творчество. Впрочем, в творчестве есть аспекты, которые нельзя да и не надо объяснять только лишь биографически.

Долгие годы, десятилетия, можно и поточней — с 1917 года, было принято определять место и ценность той или иной творческой личности так: принял или не принял революцию, пришел к ней или только примкнул — сразу или не сразу. Если принял — добро, значит — спасен, значит — по сю сторону. Не принял — пеняй на себя, если даже ты семи пядей во лбу. Блок? Принял, документ — "Двенадцать" (поэма была обозначена знаком плюс, но не прочитана). Брюсов? Принял, более того, решительно стал на

сторону нового строя. Маяковский? Нет сомнения, образец для подражания – "Моя революция".

Ходасевич? Нет. Гергий Иванов? Нет. Георгий Адамович? Нет. Ну, на нет и суда нет. Был суд. Вышвырнуты за борт. Сброшенные с корабля современности вместе с Буниным, Мережковским, Гиппиус, Ремизовым, Зайцевым, они не принимались во внимание десятилетиями. Новые поколения с ними не были знакомы. Они все проходили под общей кличкой "враждебная, эмигрантская литература". Враги, отщепенцы, мракобесы – за железным занавесом.

Имя и наследие Гумилева были названы чуждыми и враждебными. Вопрос о пересмотре отношения к нему даже не мог ставиться. Имя не упоминалось. А между тем в материалах поэта нет ничего, что бы говорило в ту или иную сторону. Принял революцию? Ничего об этом у Гумилева нет. Не принял революции? И этого нет. Как же так? Оказывается, три четверти века понадобилось для того, чтобы у нас поняли автономность литературы, не отгороженность ее от жизни, а систему такой связи с ней, которая существенно отличается от политики, подчас противостоя политике.

Естественно и последовательно Гумилев утверждал независимость художника от власть имущих, от государства, от партий и сект, именно то, к чему сейчас пришли, вернее – приходят.

Нет смысла рассматривать творчество поэта тематически, т.е. показывать смену его тем и меру их связей. Гумилев, меняясь, имел смелость не меняться. Этим сказано, что его творчество могло обогащаться новыми мотивами, но оно цельно по сути. Скажем, в книге "Костер" (1918) в отличие от предыдуших книг сделан акцент на русской теме (Рублев, детство, Нева, Распутин, осень...). Усматривают в этом ответ Гумилева Блоку. Этот "ответ" имеет свою историю и свои причины.

Споры и разногласия – неотъемлемая, и притом необходимая, часть жизни, прежде всего жизни культуры. Гумилев знал литературные баталии, разноголосицу суждений, "про" и "контра", обильный, еще не разобранный и плохо изученный материал. Но одну существенную полемику двух крупнейших поэтов Серебряного века обойти нельзя. Речь идет о Блоке и Гумилеве, в частности о ста-

тье Блока "Без божества, без вдохновенья" и ее последствиях.

Эта статья и отклики на нее имеют важное историко-литературное значение. Она написана в апреле 1921 года. Отношение к акмеизму, весьма отрицательное, Блок выражал уже в 1912—1913 годы. К поэзии Гумилева, пишет В.Зоргенфрей, Блок относился "отрицательно до конца". Он считал, что это стихи "только двух измерений". Справедливо ли это? Говорит антипод Гумилева, человек иных взглядов. Гумилев пишет об анатомии стихотворения. Блоку это претит. Ему не до "формальных достижений", о которых он говорит с нескрываемой иронией. Защищая символизм в силу того, что он был связан "с вопросами религии, философии и общественности", Блок отказывает в этой связи акмеизму, который якобы существует "без божества, без вдохновенья" (пушкинская строка стала заголовком блоковской статьи). Отрицая акмеизм, Блок отдавал предпочтение футуризму, находя в его представителях, особенно в Маяковском, демократические традиции.

Нет смысла защищать Гумилева от Блока. Их спор принадлежит истории. Это рыцарский спор, который никак не идет в сравнение с более поздними, уже в 30—80-е годы, потасовками, поножовщиной, политическим интриганством и спекуляцией. И все же, вникая в этот спор, держишь перед глазами гумилевские стихи: "Слово", "Заблудившийся трамвай", "Шестое чувство", "Память", "Мои читатели" и другие.

Блок видел в Гумилеве "что-то холодное и иностранное". Это был тяжелый попрек. Блок искал "самое главное, единственно ценное: **душу**". Она, душа, не вдруг заговорила у Гумилева. Она властно пробивала себе дорогу в стихи. И — пробила. На расстоянии десятилетий мы это увидели, услышали, почувствовали. Достаточно перечитать хотя бы "Огненный столп". Понадобилось значительное временно́е пространство, помноженное на трагическую судьбу поэта, чтобы в обществе сумели оценить поэзию Гумилева.

Исследователи сходятся на том, что в зрелую свою пору Гумилев почтительно и зорко вглядывался в опыт Блока, в опыт поэтов его круга.

Блок и Гумилев, Гумилев и Блок — антитеза, параллель, двойной портрет. На эту зазывную, важную, тонкую тему писали Вл.Ходасевич и Вс.Рождественский, Н.Павлович и В.Зоргенфрей и многие другие. Неисчислимы аспекты этой темы, имеющие прямое отношение, самое существенное отношение к истории новейшей литературы. Более того, при беседе о судьбах русской интеллигенции, писательской в частности, фигуры Блока и Гумилева возникают и эмблематически, и во всех подробностях современного им бытия. Трагически сблизили их сроки летального исхода. В день смерти Блока Гумилев находился в тюрьме. Вскоре и он погиб.

Обилие так называемых экзотических тем и мотивов у Гумилева не должно вводить нас в заблуждение. Привязанность к отечеству отчетливо видна во всем корпусе сочинений поэта. Это не специальные отклики по поводу, вокруг да около, а цельное, можно сказать, судьбинное участие в исторической жизни России, честь и достоинство которой он берег и защищал.

Мы привыкли к цитатным, броским, как плакат, высказываниям об отношении того или иного художника к отечеству и его культуре. Все творчество Гумилева в целом, все его житейское поведение — ответ на поставленный в воображаемой анкете вопрос. По своему характеру, понятию о чести и достоинстве русского поэта он приближается скорее к Пушкину и Лермонтову, чем к декабристам или народовольцам. Политизированные схемы, имевшие главенствующее и беспрепятственное хождение в 20—80-е годы нашего века, не только устарели, они отменены и сданы в архив — надолго, есть надежда — навсегда.

Рисунок творческого пути Николая Гумилева причудлив и по-своему уникален. Начав с восторга перед символистами (особенно перед Брюсовым и Бальмонтом), он позднее в качестве акмеиста противостоял им. Витанию в эмпиреях и размытости образных контуров он противопоставил вещность мира, дух реальности. Эта антитеза привела к синтезу: поэт сумел снова выйти к вселенским просторам символизма, но уже восприняв его по-иному, пройдя искус акмеизма. Не зря говорили, что Гумилев довел до

совершенства брюсовскую линию развития поэзии. По существу, зрелый Гумилев отверг рамки и программы школ и вышел далеко за их пределы.

Брюсов произнес знаменательные слова: "Гумилев... принадлежит к числу писателей, вырабатывающихся медленно, а поэтому встающих высоко". Жизнь подтвердила эти слова, сказанные о начинающем Гумилеве. Работа над собой, над словом, над совершенствованием велась неуклонно и непреложно изо дня в день. От нас сокрыты многие ступени этого гумилевского восхождения на поэтические высоты. Это был сложный процесс. О нем мы можем судить прежде всего по книгам поэта.

У историков литературы принято делить творчество любого поэта на вехи и этапы, на периоды. Это деление, разумеется, условно. Одни видят у Гумилева два этапа — начало и восхождение, другие различают не менее трех: начало (две первые книги), путь к зрелости (от "Жемчугов" до "Огненного столпа") и классический, вершинный. Мы придерживаемся этой, трехступенчатой схемы развития.

Рисунок творческой эволюции Гумилева сложен, но внятен.

О первой книге Гумилева "Путь конквистадоров" Брюсов писал, что стихи этой книги " только перепевы и подражания, далеко не всегда удачные". Перепевы Андрея Белого, Блока, Бальмонта. О себе Брюсов умалчивает. Но он должен быть в этом перечне упомянут. Отзыв мэтра можно было бы счесть уничижительным и не оставляющим надежды, если б не концовка рецензии: "...в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только "путь" нового конквистадора и что его победы и завоевания — впереди". В Брюсове заговорил педагог, угадывающий в ученике победителя.

Три стихотворения из первой книги Гумилев сильно переработал и включил их в дальнейшие издания: "Я конквистадор в панцире железном..." ("Сонет"), "Гроза ночная и темная..." и "Баллада". Романтический маскарад с масками и плащами определил начало творчества поэта и наложил свой отпечаток на всю его жизнь. Грим становится чертами лица надолго.

"Романтические цветы" показали, что лирик Гумилев тянется к эпосу, что сюжет и характерность присущи его манере. На экзотическом фоне мелькают фигуры и сюжеты, не свойственные русской музе. Но сама живописная манера убеждала, что появился молодой петроградский сочинитель. Если в тематическом и образном плане можно было говорить о "перепевах и подражаниях", то в самом тоне стихов, в их интонации слышалась бодрая нота, выражающая силу и надежду.

И здесь, думается, правы те, кто сочетает имя Николая Гумилева с именем Редьярда Киплинга, который у нас долгое время вульгарными социологами и просто далекими от литературы людьми именовался бардом империализма, певцом-колонизатором, ссорившим Запад с Востоком. У Киплинга в советской прессе имелось множество кличек и прозвищ. Ни одно из них не запомнилось.

Нет смысла сравнивать воздействие Байрона на поэтов мира в прошлом веке с воздействием Киплинга в XX веке. Всякое сравнение хромает, в том числе и это. Но нельзя уйти от действительных фактов литературной истории. Влияние Киплинга на современную поэзию многих стран и народов огромно.

Воля к жизни, мужество в преодолении препятствий, страсть к путешествиям — все это, закрепленное в энергичных стихах, определило поэтический стиль Гумилева уже с первых книг и говорило о перекличке с Киплингом.

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду.
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

"Я" — повторенное троекратно. Приготовленная самому себе неуютная судьба. Космизм, отвечающий душевному порыву юноши.

"Жемчуга" — книга рубежная. Она — начало нового периода: от ученичества к самостоятельности и зрелости. Литературные источники этой книги известны: Брюсов и Бальмонт, французы-парнасцы и скандинавы-прозаики (Кнут Гамсун). Поначалу книга называлась "Золотая магия" и должна была подвести черту под ученическими годами поэта. В ре-

цензии на книгу "Жемчуга" (Русская мысль, 1910) Брюсов говорит уже о существовании "страны Н.Гумилева", о движении поэта "к полному мастерству в области формы".

Как в "Пути конквистадоров" тон задает начальная строфа, даже строка ("конквистадор в панцире железном"), здесь — в "Жемчугах" — тон задает "Волшебная скрипка":

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры.

Книга населена историческими персонажами: потомками Каина, воином Агамемнона, маркизом де Карабасом, Дон Жуаном, Беатриче, Одиссеем. История и история литературы торжествуют.

Но всего более привлекало внимание читателей к Гумилеву четыре стихотворения (своего рода тетраптих) "Капитаны". По одним сведениям, "Капитаны" написаны в Коктебеле в 1909 году в гостях у Волошина, по другим — в Берлине, когда поэт творил, запершись "в своей комнате".

Шли поиски героя. Конквистадор в железном панцире — давность, капитаны в своей привлекательной форменной одежде — ближе. Некоторые называют это четырехчастное стихотворение поэмой. Когда заходит речь о Гумилеве, в большинстве случаев собеседник, вспыхнув, немедленно произносит:

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Удивительная по звучанию и пластике, строфа эта переходила и переходит из уст в уста, из поколения в поколение. О, эти брабантские манжеты, эти обшивки рукавов из брабантского кружева! Скольким подросткам вскружили голову эти гумилевские пистолеты, золото, манжеты! А дальше, дальше:

Там, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.

Никто из читателей не травился этим сидром, не хватался за арбалет. Не вполне понимая, что происходит в "Капитанах", юношество любовалось вымыслами Гумилева, роскошеством его стиха.

Конечно же, читателям импонировал человек, который владел собой и обстоятельствами:

Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою.
Окровавленной, но железною
В штурвал вцепляется — другою.

Снова "бездна", как и в других стихах Гумилева, и снова столь характерное для него сочетание этой бездны со шляпой, которую капитан держит одной рукой, а другой вцепляется в штурвал.

Стремление, не чураясь своего, узнать чужое владело Гумилевым с отроческих лет. "С нетерпением жду Африки", — пишет он Ахматовой. Он навидался чужих земель и чужих небес. Книгу 1912 года он назвал "Чужое небо". Это было продолжением поиска героя. Поиска Америки (имярек) с целью открытия ее. Он видит "Одиссея во мгле пароходных контор, Агамемнонов между трактирных маркеров". Знакомые незнакомцы.

Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя...
Вот идут по аллее, так страстно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Времена смещены, пространства сближены. Герой все же нужен.

В "Чужом небе" почти нет символов, есть живые лица, ощущение потока бытия, земли больше, чем небес.

Книга "Чужое небо" расценена критикой выше предыдущих (В.Ходасевич, В.Брюсов, С.Городецкий и др.), хотя были отзывы и уничижительные (Б.Садовской).

Ученичество и собственно творчество никогда не отчеркиваются резкой чертой. Если это черта, то она сильно размыта. Если это черта, то ее всего лучше назвать подвижной и условной. Ученичество можно понимать в прямом смысле слова. Тогда нужно отделить подражательное и несмелое от зрелого и дер-

зкого, лицейские стихи Пушкина от "Медного всадника". У каждого поэта черта эта своя, особая, несущая на себе все признаки его жизни и творчества. Есть ученичество, понимаемое в философском плане, и такое ученичество никогда не кончается. Один из самых ярких примеров этого — слова великого Микеланджело на восемьдесят девятом году жизни: наконец-то, сказал он, познал я азбуку своего искусства. Такое высокое отношение к творчеству отличает всех великих творцов. Это отношение закреплено в классическом латинском афоризме semper tiro — "всегда ученик".

Это чувство свойственно и Гумилеву.

Культурные запросы поэта были обширны. Из Слепнева он пишет Анне Ахматовой в Петербург: "Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю... Я увлекся также верховой ездой, собственно вольтижировкой, или подобием ее..."

В начальную пору своего развития Гумилев стремился быть не столько поэтом-пророком, поэтом-демоном, поэтом-страстотерпцем, сколько поэтом-мастером. Язык и стих, тайны сочетания ритма и интонации, живопись словом и музыка стиха — все это живо интересовало Гумилева. "Будущий "синдик" "Цеха поэтов", он работал над словом с тщательностью и терпением средневековых цеховых мастеров — златокузнецов и гранильщиков, резчиков и ювелиров", — пишет о Гумилеве исследователь его творчества А.И. Павловский.

Поэтическое искусство в такой же степени, как и другие искусства (если не больше), требует постоянного усердия в постижении его правил и исключений, его тайн. Некоторые биографы Гумилева отмечают его поистине фанатичное упорство в работе над словом, над стихом, над композицией стихотворения, его стремление превзойти достаточно высокие достижения предшествующей и современной русской версификационной техники. Впрочем, это была не формальная задача, не способ превратить поэзию в эксперимент, в словесную пиротехнику и эквилибристику. Гумилев никогда не доходил до зауми, до насилия над словом, напротив, он берег речь и не терял чувства меры и традиции. Для него важно было не

поигрывать со словом, а добиться от него наибольшего приближения к сути высказывания, к первоначальному замыслу.

"Мерой вещей была для него поэзия, — писал критик и переводчик Андрей Левинсон, — Вселенная — материалом для создания образов".

Гумилев оценивал все вещи, явления, события с высоты поэзии. Это многое определяло в нем.

Он не стремился к самоценному слову, к слову-самоцели, демонстрирующему мощь звучания: у него не было недостатка в поводах для высказывания, в нем всегда копился заряд эмоциональной и интеллектуальной энергии, искавшей выхода в поэзии. Весомость высказывания множилась на выразительность и красоту отделки, шлифовки строки, строфы, целого стихотворения. Он не скрывал этого. Напротив, подчеркивал эту заботу мастера о мастерстве.

Среди размышлений Гумилева о поэзии есть одно — о Бодлере, проливающее свет на поэзию самого Гумилева: "Бодлер к поэзии отнесся, как исследователь, вошел в нее, как завоеватель. Самый молодой из романтиков, явившийся, когда школа уже наметила свои вехи, он совершенно сознательно наметил себе еще не использованную почву и принялся за ее обработку, создав для этого специальные инструменты..."

"Исследователь" и "завоеватель" — эти характеристики можно применить и к Гумилеву, разумеется, с учетом особенностей его личности, жизни и творчества. Вот почему имя Гумилева мы видим среди имен создателей "Академии стиха", Общества ревнителей художественного слова, "Цеха поэтов", в среде которого зародился акмеизм.

После "Чужого неба" — "Колчан" (1916): книга лирики, в которую наряду со стихами о войне вошли и довоенные, достаточно выразительно показывающие напряженность и тревогу раздумий поэта. Некоторые исследователи считают "Колчан" первой по-настоящему, от начала до конца, "гумилевской книгой". Некоторые считают таковой предшествующую — "Жемчуга", некоторые — последующие — "Костер" и "Огненный столп". Если собрать воедино подобные разрозненные мнения, то окажется, что все

книги поэта, может быть, только за исключением первых двух, по существу "гумилевские", что будет, с нашей точки зрения, всего верней.

Во всяком случае "Колчан" замыкает (условно) второй период творчества Гумилева, начавшийся с "Жемчугов", период поисков, и открывает (условно же) третий, заключительный период, объемлющий книги "Костер" (1918), "Шатер" (1921), "Огненный столп" (1921).

Историки и теоретики литературы часто преувеличивали автономность, отделенность, суверенитет литературных школ и течений. Между тем манифесты, программы, декларации, уставы этих школ и течений наиболее прилежно и ревностно выполнялись, как правило, лишь посредственными авторами, блюстителями "порядка". Блок не умещался в программы символизма; Ахматова — акмеизма, Есенин — имажинизма.

На вопрос "Что такое акмеизм?" Мандельштам, как известно, ответил: "Тоска по мировой культуре". По существу эта тоска по мировой культуре объединяет все школы и течения Серебряного века. Это целиком относится и к Гумилеву.

К какому бы течению ни причисляли Гумилева, к акмеистам (большинство исследователей), к символистам (Брюсов: "Никогда никаким акмеистом не был, всегда оставался символистом"), к разным течениям (Гумилев одновременно и акмеист, и футурист, притом крайний, и имажинист — по суждению Вяч. Вс. Иванова), поэт в последний период творчества существует "вне школ и систем", как сказал Пастернак о Блоке. Гумилев отверг или перерос все программы и уставы, все ограничивающие волю художника декларации и вышел на просторы, ему одному принадлежащие. Он это делал и прежде, но с оглядкой на предшественников и современников. Теперь же начался разговор поэта с вечностью.

В середине 1918 года вышли сразу три книги Гумилева: "Костер", "Фарфоровый павильон" и "Мик". Здесь — Природа ("Деревья", "Осень", "Природа"), История ("Андрей Рублев", "Змей"), Судьба ("Я и вы", "Рабочий"), Любовь ("О тебе", "Сон"), "чужие" страны ("Швеция", "Норвежские горы", "На северном море", "Стокгольм"). Этот беглый перечень говорит о

многообразии тем и мотивов внутри "Костра", о многообразии, которое присуще и другим книгам Гумилева. Ушла ли прочь экзотика? Если и есть ее следы, то они обрели другой вид. После "золота кружев розоватых брабантских манжет" мы встречаем серую рубаху рабочего, который на военном заводе "занят отливаньем пули". Гумилев трагически уточняет назначение пули.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Концовка этого ("Рабочий") стихотворения:

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

Поэт, как это водится у поэтов, предсказывает свою судьбу, свою кончину. "Недолгий" и "горький" век поэта увиден им с потрясающей точностью.

Экзотика? Она звучит в книге, например в стихотворении с броским названием "Я и вы". Но у этой экзотики иной, новый характер. В ней — ирония, протест, вызов.

Да, я знаю, я вам не пара
И пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Поэт читает стихи не в залах и салонах, а водопадам и облакам. Знакомый мотив. Но далее:

...умру не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в глухом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: "Вставай!"

Образ близкой гибели витает над поэтом. Витает, не пугая его. Он готов принять смерть не в постели, а в пути, в скитаниях по миру.

Книга "Шатер" (1921) имела подзаголовок "Стихи 1918 года" и посвящение: "Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова" (это его племянник, близкий человек — "Коля-маленький"). Весной 1921 года Гумилев ездил в Крым, Севастополь. Поэт вез с собой рукопись "Шатра". Ее удалось молниеносно напечатать, правда, на плохой бумаге, с обложкой, сделанной из обертки для сахара. Отклики на "Шатер" были диаметрально противоположны, как, впрочем, почти всегда у Гумилева: от уничижительных до восторженных.

"Шатер" — книга скитаний: "Красное море", "Египет", "Сахара", "Суэцкий канал", "Судно", "Абиссиния", "Замбези"... — вот лишь некоторые названия стихотворений. Краски Африки переданы здесь с большей уверенностью и экспрессией, чем в предыдущих циклах и книгах. Пушкинское "Под небом Африки моей" Гумилев как бы повторял про себя, выражая свое отношение к этому континенту.

"Огненный столп" — последняя книга поэта. В ее оценке, весьма высокой и восторженной, сходятся все, писавшие и говорившие о Гумилеве (исключение составляет Сергей Бобров с его рецензией в "Красной Нови", 1922). Автор, по-видимому, успел ее подержать в руках. Книга завершает жизненный и творческий, насильственно прерванный, путь Гумилева. Вместе с тем она вводит творчество его в русскую поэтическую классику.

Ядро книги, посвященной второй жене поэта Анне Николаевне Гумилевой (урожденной Энгельгардт), составляют стихи историко-философского содержания, тонко и остро прикасающиеся к основным вопросам бытия и небытия. Это "Память ", "Слово", "Шестое чувство", "Заблудившийся трамвай", "Мои читатели" и другие стихи, вошедшие в антологии, хрестоматии и навсегда полюбившиеся огромному кругу читателей. Эти стихи, равно как и весь корпус произведений Гумилева, — неотъемлемая часть сокровищницы русской поэзии Серебряного века.

Название "Огненный столп" взято из Ветхого Завета: "В столпе облачном ты вел их днем и в столпе огненном — ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им". Обратившийся к основам бытия, Поэт насытил свои образы библейским содержанием.

Известно, что "в начале было Слово", а "в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это — Бог". Поэт, постигая смысл непостижимого, говорит:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

Время и пространство, сосуществование народов Земли, единство трех времен — темы, над которыми поэт размышлял и прежде (например, в книге "Колчан"), получают новое наполнение в "Огненном столпе". Взять хотя бы известное стихотворение "Заблудившийся трамвай".

Обычное дело — трамвай, улица, воронье карканье. Человек (в стихотворении — "я") вскочил на подножку. Трамвай шел по своему маршруту. И вдруг он заблудился. Заблудился не только в городе, а "в бездне времен". Человек просит вагоновожатого остановить вагон. Поздно! Трамвай мчится "через Неву, через Нил и Сену". Пространство просматривается насквозь. Вот вокзал, на котором, оказывается, можно "в Индию Духа купить билет". Фантасмагория. Все виденное на протяжении жизни и в иных существованиях собралось воедино, и виде́ния теснят друг друга. И вот снова возвращение боли: Машенька, где же ты теперь? Разминулись во времени...

Понял теперь я: наша свобода —
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

Слово найдено. Планеты образуют сад. Мы стоим у входа в этот сад. Есть что-то неизмеримо большее, чем наши понятия о времени и пространстве. Есть открывшийся вещий взгляд. Его можно назвать и иначе — шестое чувство:

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

"Огненный столп" для поэзии Гумилева и для всей русской поэзии означает своего рода выход в открытый космос (это относится не только к поэме "Звездный ужас", но и ко всем стихотворениям книги, приближающим к нам воспаленную жизнь души).

Вслед за "Огненным столпом", посмертно, в 1923 году вышла книга Гумилева "К Синей звезде", о которой сказано выше. Иногда свод стихов этой книги печатается под названием "Посредине странствия земного" (существовал еще и третий вариант названия — "Картонажный мастер"). В стихах этого свода появилась та непосредственность изъявления чувства, то простодушие до наивности, которые редко встречались в прежних книгах поэта:

Из букета целого сирени
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.

Нельзя не услышать здесь интонации, свойственной Есенину. Это перекличка поэтов-современников: далекое сближено. Еще пример:

Лишь черный бархат, на котором
Забыт сияющий алмаз,
Сумею я сравнить со взором
Ее почти поющих глаз.

Ее фарфоровое тело
Томит неясной белизной,
Как лепесток сирени белой
Под умирающей луной.

Внятность образного строя поддержана интонацией, в которой Гумилев утверждается в последние годы жизни.

В 1926—1927 годах Игорь Северянин попытался в одном из своих сонетов (книга "Медальоны". Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах) осмыслить творческий путь Гумилева. Вот эта попытка, изложенная в четырнадцати строках:

Путь конквистадора в горах остер.
Цветы романтики на дне нависли.
И жемчуга на дне — морские мысли —
Трехцветились, когда ветрел костер.

И путешественник, войдя в шатер,
В стихах свои писания описьмил.
Уж как Европа Африку не высмей,
Столп огненный — души ее простор.

Кто из поэтов спел бы живописней
Того, кто в жизнь одну десятки жизней
Умел вместить? Любовник, Зверобой,
Солдат — все было в рыцарской манере.
...Он о Земле толкует на Венере,
Вооружась подзорною трубой.

В этом сонете Игорь Северянин сумел упомянуть если не все, то многие книги Гумилева и связал их с общей характеристикой личности и судьбы поэта.

За несколько лет до рокового конца (примерно к середине 1917 года) Гумилев определяет направление своих новых работ, магистральную линию творческого поведения: "Мне кажется, что мы покончили сейчас с великим периодом риторической поэзии, в который были вовлечены почти все поэты XIX века. Сегодня основная тенденция в том, что каждый стремится к словесной экономии, решительно неизвестной как классическим, так и романтическим поэтам прошлого, таким, как Тениссон, Лонгфелло, Мюссе, Гюго, Пушкин и Лермонтов..." Гумилев идет на сознательное утрирование истории европейской литературы ("великий период риторической поэзии"), чтобы предельно четко сформулировать пути в будущее: "Новая поэзия ищет простоты, ясности и достоверности. Забавным образом все эти тенденции невольно напоминают о лучших произведениях китайских поэтов, и интерес к последним явственно растет в Англии, Франции и России". Гумилев устанавливает (в том же "Фарфоровом павильоне") связь между древнекитайской поэзией и поэзией акмеистов. Эту же мысль о связи старой японской поэзии с поэзией Гумилева и Ахматовой высказывала в разговоре с автором этой статьи наша известная переводчица В.Н.Маркова.

Предсказанное им начало, условно говоря, антириторического периода Гумилев не только застал, но и создал образцы, послужившие толчком для развития новой, послегумилевской поэзии. Это направление у нас мало изучено, но уже сейчас можно назвать

авторов, пошедших по гумилевскому пути, что видно по их работам, созданным в 20 — 30-годы нашего века. Это Николай Тихонов с его книгами "Орда" и "Брага", отчасти "Поиски героя" и "Кахетинская весна". Это Владимир Луговской, Михаил Зенкевич, Владимир Нарбут, Борис Лапин и Захар Хацревин с их первыми книгами. Это Арсений Тарковский, сильно опоздавший на поезд акмеизма и выпустивший свою первую книгу в начале 60-х годов. Насильственно прерванные и жестоко покаранные художественные течения начала 10-х годов XX века с трудом, мучительно, но неуклонно возрождались в 60—80-е годы. С Тарковским, скажем, возрождался акмеизм, с Вознесенским — футуризм, с Лавровым — конструктивизм, с Рубцовым — имажинизм. Таким образом, творческие открытия Гумилева дошли до наших дней и действенно участвовали в формировании новых поэтов. Несомненно, поэзия и проза, драматургия Гумилева богаты новыми возможностями их понимания, раскрытия и творческого наследования. Об этом говорят развитие поэзии и свидетельства ее творцов.

Наследие Гумилева, в том числе его работы последнего периода, деятельно участвует в современных раздумьях о судьбах поэтического слова.

С одной стороны, творческие поиски привели Гумилева к тонкому философско-планетарному лиризму, с другой стороны, он подошел к эпосу, к созданию произведений, вбирающих в себя целые эпохи.

О лирике, хотя и недостаточно полно, сказано. Потребность в эпосе накапливалась годами. Она чувствовалась в балладах и повествовательных стихах. Это не было тоской по жанру. Это была потребность изобразить время, события, людей, дать почувствовать поступь истории. Отсюда интерес (не только поэтический, но и научный) к мифологии, космогонии, древней истории. В 1918— 1919 годах создается "Поэма начала" ("Книга первая: Дракон"). К числу работ этого ряда относится перевод вавилонского эпоса "Гильгамеш" (Пг., 1919) и предисловие к нему.

"Поэма начала" настраивает читателя на огромное время, на эпический лад сказаний или мифологических легенд:

Из-за свежих волн океана
Красный бык приподнял рога,
И бежали лани тумана
Под скалистые берега.
Под скалистыми берегами
В многошумной сырой тени
Серебристыми жемчугами
Оседали на мох они.
Красный бык изменяет лица:
Вот широко крылья простер
И парит, огромная птица,
Пожирающая простор.

"В "Поэме начала" – писал Э.Ф.Голлербах, – Гумилев размахивается наподобие Гете или Данте". Размах был действительно сильный. Осуществилась только книга первая.

Эпосу не дано было развернуться. Певцу-сказителю не хватило жизни. Жизнь у него отняли. Трудно судить об эпических планах Гумилева. Одно несомненно: начинался новый важный период его творчества, остановленный гибелью.

Слово и Дело в их двуединстве возникают как сверхзадача поэта. "Солнце останавливали словом, словом разрушали города" не в силу мистического свойства его, а в силу действа, которое в нем заключено и которое его венчает. Гумилев выразил это в стихах, покоряющих естественностью и выразительностью.

* * *

С юношеских лет Николай Степанович Гумилев множил свой природный сильный дар на исключительную, можно сказать неистовую, работоспособность.

Он был по натуре и призванию поэт. "Стихи были всей его жизнью, – пишет историк искусства, критик, издатель Сергей Маковский. – Никогда не встречал я поэта до такой степени "стихомана". Впечатления бытия он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет". Гумилев не столько "делал" стихи, сколько для них, рожденных в минуты вдохновенья, искал наиболее соответствующую им форму, способы выра-

жения, а затем постоянно шлифовал строку, строфу, целое стихотворение.

Вот почему изучение текстов Николая Гумилева столь сложное дело. Поэт быстро преодолевал завоеванные высоты. Так, из первой книги "Путь конквистадоров" он взял в переработанном виде три стихотворения в книгу "Романтические цветы" (третье издание). Из "Романтических цветов" некоторые стихи также в переработанном виде включил в следующую книгу "Жемчуга" (в качестве особого раздела). В свою очередь, первое издание книги "Жемчуга" отличается от второго. Итак, работа шла над совершенствованием старых стихов и одновременно над созданием новых. От книги к книге расширялся историко-философский, тематический, образный кругозор и совершенствовалось мастерство.

Это процесс двуединый и постоянный.

Наиболее сложны в текстологическом отношении стихи начальной и заключительной поры. О начальной поре мы сказали выше. Произведения заключительной поры (после "Огненного столпа") складывались в книги уже после гибели поэта: "Стихотворения. Посмертный сборник", "Посредине странствия земного", "К Синей звезде". Здесь составители предлагают разные решения.

В нашем издании тексты даются по Большой серии "Библиотеки поэта" (Л.,1988), исключение составляют две первые книги: "Путь конквистадоров" и "Романтические цветы", приводимые по сборнику: *Гумилев Н.* Стихи. Письма о русской поэзии (М.: Худож. лит., 1989).

Наше издание представляет избранные сочинения Н.С.Гумилева. Это (избранное!) относится главным образом к прозе, переводам, статьям. Корпус стихотворных произведений дается весьма полно. Это важно в силу того, что Николай Гумилев прежде всего и главным образом поэт, хотя его проза, пьесы, переводы представляют интерес. К сожалению, поэту при жизни не пришлось выпускать собрание сочинений, требующее, как известно, особого плана, компоновки, проверки и правки текстов и заодно с этим вызывающее потребность в дополнениях и изъятиях. Вот почему столь не схожи подходы разных составителей к отбору его избранных сочинений. Одни приводят

целиком две книги начальной поры Н.С.Гумилева ("Путь конквистадоров" и "Романтические цветы"), другие дают отдельные стихотворения из них, полагая, очевидно, что это несамостоятельные, ученические пробы. Мы публикуем обе книги целиком, предоставляя читателю возможность самому дать им оценку и проследить эволюцию поэта. Одни составители, как уже сказано, приводят книгу "Жемчуга" в ранней редакции, другие — в обновленной. Одни называют поздние парижские стихи, навеянные русской парижанкой, в которую был влюблен Гумилев, "К Синей звезде", другие собирают их под заголовком "Посредине странствия земного". В каждом отдельном случае приходится принимать свое решение.

Мы стремились максимально точно отразить состав и композицию прижизненных гумилевских сборников.

Желающие узнать другие варианты тех или иных произведений Н.С.Гумилева могут обратиться к уже упомянутой книге Большой серии "Библиотеки поэта", заинтересовавшиеся ранними редакциями гумилевских произведений — к сборнику, изданному "Современником" в 1989 г., или к трехтомнику, выпущенному "Художественной литературой" в 1991 г. (вступ. ст., сост. и прим. Н.А.Богомолова). С прозой и "Письмами о поэзии" можно познакомиться по изданию "Золотое сердце России" (Кишинев, 1990). С драматическими произведениями (оригинальными и переводными) и статьями о драматургии знакомит книга, изданная Ленинградским отделением "Искусства" в 1990 г.

Объем настоящей книги не позволил включить в нее некоторые стихотворные переводы (в том числе французские народные песни), прозаические произведения, пьесы, африканский дневник, статьи об искусстве, письма.

Адресованное широкому кругу читателей, наше издание, мы надеемся, будет содействовать возвращению творчества поэта в культурный обиход современников.

Лев Озеров

Стихотворения

Поэмы

Пьесы в стихах

Переводы



Два эпиграфа: Николай Гумилев к читателю

МОИ ЧИТАТЕЛИ

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из многих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над Южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во Вселенной,
Скажет: я не люблю вас, —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше,
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

Поэзия для человека — один из способов выражения своей личности и проявляется при посредстве слова, единственного орудия, удовлетворяющего ее потребностям. Все, что говорится о поэтичности какого-нибудь пейзажа или явления природы, указывает только на пригодность их в качестве поэтического материала или намекает на очень отдаленную аналогию в анимистическом духе между поэтом и природой. То же относится и к поступкам или чувствам человека, не воплощенным в слове. Они могут быть прекрасными, как впечатление, даваемое поэзией, но не станут ею, потому что поэзия заключает в себе далеко не все прекрасное, что доступно человеку. Никакими средствами стихотворной фонетики не передать подлинного голоса скрипки или флейты, никакими стилистическими приемами не воплотить блеска солнца, веяния ветра.

Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. Но и та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для ее целей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи в Нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф. Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, — он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия — от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, понявший "трав неясный запах", хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем "была звездная книга ясна" и "с ним говорила морская волна". Поэтому поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило земле и рождаться. Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены. Эти два чувства бывают и у плохих поэтов. Изучение техники заставляет их являться реже, но давать большие результаты.

Поэзия всегда желала отмежеваться от прозы. И типографским (прежде каллиграфическим) путем, начиная каждую строку с большой буквы, и звуковым ясно слышимым ритмом, рифмой, аллитерацией, и стилистичес-

ки, создавая особый "поэтический" язык (трубадуры, Ронсар, Ломоносов), и композиционно, достигая особой краткости мысли, и эйдологически — в выборе образов. И повсюду проза следовала за ней, утверждая, что между ними, собственно, нет разницы, подобно бедняку, преследующему своей дружбой богатого родственника. За последнее время ее старания как будто увенчались успехом. С одной стороны, она под пером Флобера, Бодлера, Рембо приобрела манеры избранницы судьбы, с другой, поэзия, помня, что (новинка) — непременное условие ее существования, неустанно ищет новых и новых средств воздействия и подошла к запретной области в стиле Вордсворда, композиции Байрона, свободном стихе и др. и даже в начертании, раз Поль Фор печатает свои стихи в строку, как прозу.

Я думаю, и невозможно найти точной границы между прозой и поэзией, как не найдем ее между растениями и минералами, животными и растениями. Однако существование гибридных особей не унижает чистого типа. И относительно поэзии ее новейшие исследователи пришли к согласию. В Англии продолжает царить аксиома Кольриджа, определяющая поэзию как "лучшие слова в лучшем порядке". Во Франции мнение Т. де Банвиля: поэма — то, что уже сотворено и не может быть исправлено. А к этим двум мнениям примкнул и Малларме, сказавший: "Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля".

Выражая себя в слове, поэт всегда обращается к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель он сам, и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда некий мистический собеседник, еще не явившийся друг или возлюбленная, иногда это Бог, Природа, Народ...

Это — в минуту творчества. Однако ни для кого, а для поэта тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит себе живого реального читателя среди современников, порой потомков. Этот читатель отнюдь не достоин того презрения, которым так часто обливали его поэты. Это благодаря ему печатаются книги, создаются репутации, это он дал нам возможность читать Гомера, Данте и Шекспира. Кроме того, никакой поэт и не должен забывать, что он сам, по отношению к другим поэтам, тоже только читатель. Однако все мы подобны человеку, выучившемуся иностранному языку по учебникам. Мы можем говорить, но не понимаем, когда говорят с нами. Неисчислимы руководства для поэтов, но руководств для читателей не существует. Поэзия развивается, направления в ней сменяются направлениями, читатель остается все тем же, и никто не пытается фонарем познания осветить закоулки его темной читательской души. Этим мы сейчас и займемся.

Прежде всего каждый читатель глубоко убежден, что он авторитет; один — потому, что дослужился до чина полковника, другой — потому, что написал книгу о минералогии, третий — потому, что знает, что тут хитрости никакой нет: "Нравится — значит хорошо, не нра-

вится — значит плохо; ведь поэзия — язык богов, ergo, я могу о ней судить совершенно свободно". Таково общее правило, но в дальнейшем своем отношении читатели разделяются на три основных типа: наивный, сноб и экзальтированный. Наивный ищет в поэзии приятных воспоминаний: если он любит природу — он порицает поэтов, не говорящих о ней, если он социалист, Дон Жуан или мистик — он ищет стихов по своей специальности. Он хочет находить в стихах привычные ему образы и мысли, упоминания о вещах, которые ему нравятся. О своих впечатлениях он говорит мало и обыкновенно ничем не мотивирует своих мнений. В общем, довольно добродушный, хотя и подвержен припадкам слепой ярости, как всякое травоядное. Распространен среди критиков старого закала.

Сноб считает себя просвещенным читателем: он любит говорить об искусстве поэта. Обыкновенно он знает о существовании какого-нибудь технического приема и следит за ним при чтении стихотворения. Это от него вы услышите, что X — великий поэт потому, что вводит сложные ритмы, Y — потому, что создает новые слова, Z — потому, что волнует путем повторений. Он выражает свои мысли пространно и порой интересно, но, учитывая только один, редко два или три приема, неизбежно ошибается самым плачевным образом. Встречается исключительно среди критиков новой школы.

Экзальтированный любит поэзию и ненавидит поэтику. В прежнее время он встречался и в других областях человеческого духа. Это он требовал сожжения первых врачей, анатомов, дерзающих раскрыть тайну Божьего создания. Был он и среди моряков, освистывавших первый пароход, потому что мореплаватель должен молиться Деве Марии о даровании благоприятного ветра, а не жечь какие-то дрова, чтобы заставить вертеться какие-то колеса. Вытесненный отовсюду, он сохранился только среди читателей стихов. Он говорит о духе, цвете и вкусе стихотворения, о его чудесной силе или, наоборот, дряблости, о холодности или теплоте поэта. Встречается редко, вытесняемый все больше и больше двумя первыми типами, и то среди самих поэтов.

Картина безотрадная, не правда ли? И если поэтическое творчество есть оплодотворение одного духа другим посредством слова, подобное оплодотворению естественному, то это напоминает любовь ангелов к каиниткам, или, что то же самое, — простое скотоложство. Однако может быть иной читатель, читатель-друг. Этот читатель думает только о том, о чем ему говорит поэт, становится как бы написавшим данное стихотворение, напоминает его интонациями, движениями. Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта и как лишь ее совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью Божьей. Для него стихотворение дорого во всей его материальной прелести, как для псалмопевца слюни его возлюбленной и покрытое волосами лоно. Его не обманешь частичными достижениями, не под-

купишь симпатичным образом. Прекрасное стихотворение входит в его сознание как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки. Только при условии его существования поэзия выполняет свое мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой читатель есть, я, по крайней мере, видел одного. И я думаю, если бы не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать такими.

Если бы я был Беллами, я бы написал роман из жизни читателя грядущего. Я бы рассказал о читательских направлениях и о борьбе, о читателях-врагах, обличающих недостаточную божественность поэтов, о читателях, подобных д'аннунциевской Джиоконде, о читателях Елены Спартанской, для завоевания которых надо превзойти Гомера. По счастью, я не Беллами, и одним плохим романом будет меньше. <... >

Писать следует не тогда, когда можно, а когда должно. Слово "можно" следует выкинуть из всех областей исследования поэзии.

Делакруа говорил: "Надо неустанно изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества". Действительно, надо или совсем ничего не знать о технике, или знать ее хорошо. Шестнадцатилетний Лермонтов написал "Ангела" и только через десять лет мог написать равное ему стихотворение. Но зато "Ангел" был один, а все стихи Лермонтова 40-го и 41 года прекрасны. Стихотворение, как Афина Паллада, явившаяся из головы Зевеса, возникая из духа поэта, становится особым организмом. И, как всякий живой организм, оно имеет свою анатомию и физиологию. Прежде всего мы видим сочетание слов, этого мяса стихотворения. Их свойство и качество составляют предмет стилистики. Затем мы видим, что эти сочетания слов, дополняя одно другое, ведут к определенному впечатлению, и замечаем костяк стихотворения, его композицию. Затем мы выясняем себе всю природу образа, то ощущение, которое побудило поэта к творчеству, нервную систему стихотворения и таким образом овладеваем эйдолологией. Наконец (хотя все это делается одновременно), наше внимание привлекает звуковая сторона стиха (ритм, рифма, сочетание гласных и согласных), которая, подобно крови, переливается в его жилах, и мы уясняем себе его фонетику. Все эти качества присущи каждому стихотворению, самому гениальному и самому дилетантскому, подобно тому как можно анатомировать живого и мертвеца. Но физиологические процессы в организме происходят лишь при условии его некоторого совершенства, и, подробно анатомировав стихотворение, мы можем только сказать — есть ли в нем все, что надо, и в достаточной мере, чтобы оно жило.

Законы же его жизни, то есть взаимодействие его частей, надо изучать особо, и путь к этому еще почти не проложен.

< 1922 >

ПУТЬ КОНКВИСТАДОРОВ

1905 г.

Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует!

Андре Жид

*

Я конквистадор[1] в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман... но я молчу и жду
И верю, я любовь свою найду...
Я конквистадор в панцире железном.

И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.

Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

---

[1] *Конквистáдор* (точнее: конкистадóр) — участник конкисты — завоевания Америки испанцами; здесь: рыцарь, искатель приключений.

Мечи и поцелуи

Я знаю, что ночи любви нам даны
И яркие, жаркие дни для войны.

Н.Гумилев

*

С тобой я буду до зари,
Наутро я уйду
Искать, где спрятались цари,
Лобзавшие звезду.

У тех царей лазурный сон
Заткал лучистый взор;
Они — заснувший небосклон
Над мраморностью гор.

Сверкают в золоте лучей
Их мантий багрецы,
И на сединах их кудрей
Алмазные венцы.

И их мечи вокруг лежат
В каменьях дорогих,
Их чутко гномы сторожат
И не уйдут от них.

Но я приду с мечом своим;
Владеет им не гном!
Я буду вихрем грозовым,
И громом, и огнем!

Я тайны выпытаю их,
Все тайны дивных снов,
И заключу в короткий стих,
В оправу звонких слов.

Промчится день, зажжет закат,
Природа будет храм,
И я приду, приду назад
К отворенным дверям.

С тобою встретим мы зарю,
Наутро я уйду

И на прощанье подарю
Добытую звезду.

ПЕСНЬ ЗАРАТУСТРЫ[1]

Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятья,
Сын голубой высоты.

Тени, кресты и могилы
Скрылись в загадочной мгле,
Свет воскрешающей силы
Властно царит на земле.

Кольца роскошные мчатся,
Ярок восторг высоты;
Будем мы вечно встречаться
В вечном блаженстве мечты.

Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь.
Горе не знающим света!
Горе обнявшим печаль!

CREDO

Откуда я пришел, не знаю...
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду.

Когда исполнюсь красотою,
Когда наскучу лаской роз,
Когда запросится к покою
Душа, усталая от грез.

Но я живу, как пляска теней
В предсмертный час больного дня,
Я полон тайною мгновений
И красной чарою огня.

---

[1] *Заратустра* (Заратуштра, Зороастр) — пророк и основатель религии зороастризма (иран. миф.); в ср. века в Европе почитался как маг и астролог (см. книгу Ф. Ницше "Так говорил Заратустра").

Мечи и поцелуи

Я знаю, что ночи любви нам даны
И яркие, жаркие дни для войны.

Н.Гумилев

*

С тобой я буду до зари,
Наутро я уйду
Искать, где спрятались цари,
Лобзавшие звезду.

У тех царей лазурный сон
Заткал лучистый взор;
Они — заснувший небосклон
Над мраморностью гор.

Сверкают в золоте лучей
Их мантий багрецы,
И на сединах их кудрей
Алмазные венцы.

И их мечи вокруг лежат
В каменьях дорогих,
Их чутко гномы сторожат
И не уйдут от них.

Но я приду с мечом своим;
Владеет им не гном!
Я буду вихрем грозовым,
И громом, и огнем!

Я тайны выпытаю их,
Все тайны дивных снов,
И заключу в короткий стих,
В оправу звонких слов.

Промчится день, зажжет закат,
Природа будет храм,
И я приду, приду назад
К отворенным дверям.

С тобою встретим мы зарю,
Наутро я уйду

И на прощанье подарю
Добытую звезду.

ПЕСНЬ ЗАРАТУСТРЫ[1]

Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятья,
Сын голубой высоты.

Тени, кресты и могилы
Скрылись в загадочной мгле,
Свет воскрешающей силы
Властно царит на земле.

Кольца роскошные мчатся,
Ярок восторг высоты;
Будем мы вечно встречаться
В вечном блаженстве мечты.

Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь.
Горе не знающим света!
Горе обнявшим печаль!

CREDO

Откуда я пришел, не знаю...
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду.

Когда исполнюсь красотою,
Когда наскучу лаской роз,
Когда запросится к покою
Душа, усталая от грез.

Но я живу, как пляска теней
В предсмертный час больного дня,
Я полон тайною мгновений
И красной чарою огня.

---

[1] *Заратустра* (Заратуштра, Зороастр) – пророк и основатель религии зороастризма (иран. миф.); в ср. века в Европе почитался как маг и астролог (см. книгу Ф. Ницше "Так говорил Заратустра").

Мне все открыто в этом мире —
И ночи тень, и солнца свет,
И в торжествующем эфире
Мерцанье ласковых планет.

Я не ищу больного знанья,
Зачем, откуда я иду;
Я знаю, было там сверканье
Звезды, лобзающей звезду.

Я знаю, там звенело пенье
Перед престолом красоты,
Когда сплетались, как виденья,
Святые белые цветы.

И жарким сердцем веря чуду,
Поняв воздушный небосклон,
В каких пределах я ни буду,
На все наброшу я свой сон.

Всегда живой, всегда могучий,
Влюбленный в чары красоты.
И вспыхнет радуга созвучий
Над царством вечной пустоты.

ГРЕЗА НОЧНАЯ И ТЕМНАЯ

На небе сходились тяжелые, грозные тучи,
Меж них багровела луна, как смертельная рана,
Зеленого Эрина воин, Кухулин могучий,
Упал под мечом короля океана Сварана.

И волны шептали сибиллы седой заклинанья,
Шатались деревья от песен могучего вала,
И встретил Сваран исступленный, в грозе ликованья,
Героя героев, владыку пустыни Фингала.

Друг друга сжимая в объятьях, сверкая доспехом,
Они начинают безумную, дикую пляску,
И ветер приветствует битву рыдающим смехом,
И море грохочет свою вековечную сказку.

Когда я устану от ласковых, нежных объятий,
Когда я устану от мыслей и слов повседневных —
Я слышу, как воздух трепещет от гнева проклятий,
Я вижу на холме героев, могучих и гневных.

ПЕСНЯ О ПЕВЦЕ И КОРОЛЕ

Мой замок стоит на утесе крутом
В далеких, туманных горах,
Его я воздвигнул во мраке ночном,
С проклятьем на бледных устах.

В том замке высоком никто не живет,
Лишь я его гордый король,
Да ночью спускается с диких высот
Жестокий, насмешливый тролль.

На дальнем утесе, труслив и смешон,
Он держит коварную речь,
Но чует, что меч для него припасен,
Не знающий жалости меч.

Однажды сидел я в порфире златой,
Горел мой алмазный венец —
И в дверь постучался певец молодой,
Бездомный, бродячий певец.

Для всех, кто отвагой и силой богат,
Отворены двери дворца;
В пурпуровой зале я слушать был рад
Безумные речи певца.

С красивою арфой он стал недвижим,
Он звякнул дрожащей струной,
И дико промчалась по залам моим
Гармония песни большой.

"Я шел один в ночи беззвездной
В горах с уступа на уступ

И увидал над мрачной бездной,
Как мрамор белый, женский труп.

Влачились змеи по уступам,
Угрюмый рос чертополох,
И над красивым женским трупом
Бродил безумный скоморох.

И, смерти дивный сон тревожа,
Он бубен потрясал в руке,
Над миром девственного ложа
Плясал в дурацком колпаке.

Едва звенели колокольца,
Не отдаваясь в горах,
Дешевые сверкали кольца
На узких, сморщенных руках.

Он хохотал, смешной, беззубый,
Скача по сумрачным холмам,
И прижимал больные губы
К холодным девичьим губам.

И я ушел, унес вопросы,
Смущая ими божество,
Но выше этого утеса
Не видел в мире ничего".

Я долее слушать безумца не мог,
Я поднял сверкающий меч,
Певцу подарил я кровавый цветок
В награду за дерзкую речь.

Цветок зазиял на высокой груди,
Красиво горящий багрец...
"Безумный певец, ты мне страшен, уйди".
Но мертвенно бледен певец.

Порвалися струны, протяжно звеня,
Как арфу, его я разбил
За то, что он плакать заставил меня,
Властителя гордых могил.

Как прежде, в туманах не видно луча,
Как прежде, скитается тролль,
Он, бедный, не знает, бояся меча,
Что властный рыдает король.

По-прежнему тих одинокий дворец,
В нем трое, в нем трое всего:
Печальный король, и убитый певец,
И дикая песня его.

РАССКАЗ ДЕВУШКИ

В вечерний час горят огни...
Мы этот час из всех приметим,
Господь, сойди к молящим детям
И злые чары отгони!

Я отдыхала у ворот
Под тенью милой, старой ели,
А надо мною пламенели
Снега неведомых высот.

И в этот миг с далеких гор
Ко мне спустился странник дивный,
В меня вперил он взор призывный,
Могучей негой полный взор.

И пел красивый чародей:
"Пойдем со мною на высоты,
Где кроют мраморные гроты
Огнем увенчанных людей.

Их очи дивно глубоки,
Они прекрасны и воздушны,
И духи неба так послушны
Прикосновеньям их руки.

Мы в их обители войдем
При звуках светлого напева,
И там ты будешь королевой,
Как я — могучим королем.

О, пусть ужасен голос бурь
И страшны лики темных впадин,
Но горный воздух так прохладен
И так пленительна лазурь".

И эта песня жгла мечты,
Дарила волею мгновенья
И наряжала сновиденья
В такие яркие цветы.

Но тих был взгляд моих очей,
И сердце, ждущее спокойно,
Могло ль прельститься цепью стройной
Светло чарующих речей.

И дивный странник отошел,
Померкнул в солнечном сиянье,
Но внятно — тяжкое рыданье
Мне повторил смущенный дол.

В вечерний час горят огни...
Мы этот час из всех приметим,
Господь, сойди к молящим детям
И злые чары отгони.

Поэмы

Правду мы возьмем у Бога
Силой огненных мечей.

Н.Гумилев

ДЕВА СОЛНЦА

Марианне Дмитриевне Поляковой

I

Могучий царь суров и гневен,
Его лицо мрачно, как ночь,
Толпа испуганных царевен
Бежит в немом смятенье прочь.

Вокруг него сверкает злато,
Алмазы, пурпур и багрец,
И краски алого заката
Румянят мраморный дворец.

Он держит речь в высокой зале
Толпе разряженных льстецов,
В его глазах сверканье стали,
А в речи гул морских валов.

Он говорит: "Еще ребенком
В глуши окрестных деревень
Я пеньем радостным и звонким
Встречал веселый, юный день.

Я пел и солнцу и лазури,
Я плакал в ужасе глухом,
Когда безрадостные бури
Царили в небе голубом.

Явилась юность — праздник мира,
В моей груди кипела кровь,
И в блеске солнечного пира
Я увидал мою любовь.

Она во сне ко мне слетала,
И наклонялася ко мне,
И речи дивные шептала
О золотом, лазурном дне.

Она вперед меня манила,
Роняла белые цветы,
Она мне двери отворила
К восторгам сладостной мечты.

И чтобы стать ее достойным,
Вкусить божественной любви,
Я поднял меч к великим войнам,
Я плавал в злате и крови.

Я стал властителем вселенной,
Я Божий бич, я Божий глас,
Я царь жестокий и надменный,
Но лишь для вас, о, лишь для вас.

А для нее я тот же страстный
Любовник вечно молодой,
Я тихий гимн луны, согласной
С бесстрастно-блещущей звездой.

Рабы, найдите Деву Солнца
И приведите мне, царю,
И все дворцы, и все червонцы,
И земли все я вам дарю".

Он замолчал, и все мятутся,
И отплывают корабли,
И слуги верные несутся,
Спешат во все концы земли.

II

И солнц и лун прошло так много,
Печальный царь, томяся, ждет,
Он жадно смотрит на дорогу,
Склонясь у каменных ворот.

Однажды солнце догорало
И тихо теплились лучи,
Как песни вышнего хорала,
Как рати ангельской мечи.

Гонец примчался запыленный,
За ним сейчас еще другой,
И царь, горящий и влюбленный,
С надеждой смотрит пред собой.

Как звуки райского напева,
Он ловит быстрые слова:
"Она живет, святая дева...
О ней уже гремит молва...

Она пришла к твоим владеньям,
Она теперь у этих стен,
Ее народ встречает пеньем
И преклонением колен".

И царь навстречу деве мчится,
Охвачен страстною мечтой,
Но вьется траурная птица
Над венценосной головой.

Он видит деву, блеск огнистый
В его очах пред ней потух,
Пред ней, такой невинной, чистой,
Стыдливо-трепетной, как дух.

Лазурных глаз не потупляя,
Она идет, сомкнув уста,
Как дева пламенного рая,
Как солнца юная мечта.

Одежды легкие, простые
Покрыли матовость плечей,
И нежит кудри золотые
Венок из солнечных лучей.

Она идет стопой воздушной,
Глаза безмерно глубоки,
Она вплетает простодушно
В венок степные васильки.

Она не внемлет гласу бури,
Она покинула дворцы,
Пред ней рассыпались в лазури
Степных закатов багрецы.

Ее душа мечтой согрета,
Лазурность манит впереди,
И волны ласкового света
В ее колышутся груди.

Она идет перед народом,
Она скрывается вдали,
Так солнце клонит лик свой к водам,
Забыв о горестях земли.

И гордый царь опять остался
Безмолвно-бледен и один,
И кто-то весело смеялся
Бездонной радостью глубин.

Но глянул царь орлиным оком,
И издал он могучий глас,
И кровь пролилася потоком,
И смерть, как буря, пронеслась.

Он как гроза, он гордо губит
В палящем зареве мечты,
За то, что он безмерно любит
Безумно-белые цветы.

Но дремлет мир в молчанье строгом,
Он знает правду, знает сны,
И Смерть, и Кровь даны нам Богом
Для оттененья Белизны.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Осенней неги поцелуй
Горел в лесах звездою алой,
И песнь прозрачно-звонких струй
Казалась тихой и усталой.

С деревьев падал лист сухой,
То бледно-желтый, то багряный,
Печально плача над землей
Среди росистого тумана.

И солнце пышное вдали
Мечтало снами изобилья
И целовало лик земли
В истоме сладкого бессилья.

А вечерами в небесах
Горели алые одежды
И, обагренные, в слезах,
Рыдали Голуби Надежды.

Летя в безмирной красоте,
Сердца к далекому манили
И созидали в высоте
Венки воздушно-белых лилий.

И осень та была полна
Словами жгучего напева,
Как плодоносная жена,
Как прародительница Ева.

В лесу, где часто по кустам
Резвились юные дриады,
Стоял безмолвно-строгий храм,
Маня покоем колоннады.

И белый мрамор говорил
О царстве Вечного Молчанья
И о полете гордых крыл
Наверно-тяжких, как рыданье.

А над высоким алтарем
В часы полуночных видений
Сходились, тихие, вдвоем
Две золотые девы-тени.

В объятьях ночи голубой,
Как розы радости мгновенны,
Они шептались меж собой
О тайнах Бога и Вселенной.

Но миг, и шепот замолчал,
Как звуки тихого аккорда,
И белый мрамор вновь сверкал
Один, задумчиво и гордо.

И иногда, когда с небес
Слетит вечерняя прохлада,
Покинув луг, цветы и лес,
Шалила юная дриада.

Входила тихо, вся дрожа,
Залита сумраком багряным,
Свой белый пальчик приложа
К устам душистым и румяным.

На пóл, горячий от луча,
Бросала пурпурную розу
И убегала, хохоча,
Любя свою земную грезу.

Ее влечет ее стезя
Лесного, радостного пенья,
А в этом храме быть нельзя
Детям греха и наслажденья.

И долго роза на полу
Горела пурпурным сияньем
И наполняла полумглу
Сребристо-горестным рыданьем.

Когда же мир, восстав от сна,
Сверкал улыбкою кристалла,
Она, печальна и одна,
В безмолвном храме умирала.

Когда ж вечерняя заря
На темном небе угасает
И на ступени алтаря
Последний алый луч бросает,

Пред ним склоняется одна,
Одна, желавшая напева
Или печальная жена,
Или обманутая дева.

Кто знает мрак души людской,
Ее восторги и печали?
Они эмалью голубой
От нас закрытые скрижали.

Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?

Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья
И меж бровями залегло
Веков тяжелое томленье?

И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?

Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас большой кошмар
Иль правда, горестней кошмара.

Зачем, в отчаянье мечты,
Она склонилась на ступени?
Что надо ей от высоты
И от воздушно-белой тени?

Не знаем! Мрак ночной глубок,
Мечты — пожар, мгновенья — стоны;
Когда ж забрезжится восток
Лучами жизни обновленной?

Едва трепещет тишина,
Смеясь эфирным синим волнам,
Глядит печальная жена
В молчанье строгом и безмолвном.

Небес далеких синева
Твердит неясные упреки,
В ее душе зажглись слова
И манят огненные строки.

Они звенят, они поют
Так заклинательно и строго:
"Душе измученной приют
В чертогах Радостного Бога;

Но Дня Великого покров
Не для твоих бессильных крылий,
Ты вся пока во власти снов,
Во власти тягостных усилий.

Ночная, темная пора
Тебе дарит свою усладу,
И в ней живет твоя сестра —
Беспечно-юная дриада.

И ты еще так любишь смех
Земного, алого покрова,
И ты вплетаешь яркий грех
В гирлянды неба голубого.

Но если ты желаешь Дня
И любишь лучшую отраду,
Отдай объятиям огня
Твою сестру, твою дриаду.

И пусть она сгорит в тебе
Могучим, радостным гореньем,
Молясь всевидящей судьбе,
Ее покорствуя веленьям.

И будет твой услышан зов,
Мольба не явится бесплодной,
Уйдя от радости лесов,
Ты будешь божески свободной".

И душу те слова зажгли,
Горели огненные стрелы,
И алый свет, и свет земли
Предстал, как свет воздушно-белый.

ПЕСНЯ ДРИАДЫ[1]

Я люблю тебя, принц огня,
Так восторженно, так маняще,
Ты зовешь, ты зовешь меня
Из лесной, полуночной чащи.

---

[1] *Дриады (греч. миф.)* — нимфы деревьев, обитающие в лесах и рощах.

Хоть в ней сны золотых цветов
И рассказы подруг приветных,
Но ты знаешь так много слов,
Слов любовных и беззаветных.

Как горит твой алый камзол,
Как сверкают милые очи,
Я покину родимый дол,
Я уйду от лобзаний ночи.

Так давно я ищу тебя,
И ко мне ты стремишься тоже,
Золотая звезда, любя,
Из лучей нам постелет ложе.

Ты возьмешь в объятья меня,
И тебя, тебя обниму я,
Я люблю тебя, принц огня,
Я хочу и жду поцелуя.

Цветы поют свой гимн лесной,
Детям и ласточкам знакомый,
И под развесистой сосной
Танцуют маленькие гномы.

Горит янтарная смола,
Лесной дворец светло пылает,
И голубая полумгла
Вокруг, как бабочка, порхает.

Жених, как радостный костер,
Горит, могучий и прекрасный,
Его сверкает гордый взор,
Его камзол пылает красный.

Цветы пурпурные звенят:
"Давайте места, больше места,
Она идет, краса дриад,
Стыдливо-белая невеста".

Она, прекрасна и тиха,
Не внемля радостному пенью,
Идет в объятья жениха
В любовно-трепетном томленье.

От взора ласковых цветов
Их скрыла алая завеса,
Довольно песен, грез и снов
Среди лазоревого леса.

Он совершен, великий брак,
Безумный крик всемирных оргий!
Пускай леса оденет мрак,
В них было счастье и восторги.

Да, много, много было снов
И струн восторженно звенящих
Среди таинственных лесов,
В их голубых, веселых чащах.

Теперь открылися миры
Жене божественно-надменной,
Взамен угаснувшей сестры
Она узнала сон Вселенной.

И, в солнца ткань облечена,
Она великая святыня,
Она не бледная жена,
Но венценосная богиня.

В эфире радостном блестя,
Катятся звезды мировые,
А в храме Белое Дитя
Творит святую литургию.

И белый Всадник кинул клик,
Скача порывисто-безумно,
Что миг настал, великий миг,
Восторг предмирный и бездумный.

Уж звон копыт затих вдали,
Но вечно радостно мгновенье!
...И нет дриады, сна земли,
Пред ярким часом пробужденья.

СКАЗКА О КОРОЛЯХ

"Мы прекрасны и могучи,
Молодые короли,
Мы парим, как в небе тучи,
Над миражами земли.

В вечных песнях, в вечном танце
Мы воздвигнем новый храм.
Пусть пьянящие багрянцы
Точно окна будут нам.

Окна в Вечность, в лучезарность,
К берегам Святой Реки,
А за нами пусть Кошмарность
Создает свои венки.

Пусть терзают иглы терний
Лишь усталое чело,
Только солнце в час вечерний
Наши кудри греть могло.

Ночью пасмурной и мглистой
Сердца чуткого не мучь;
Грозовой иль золотистой
Будь же тучей между туч".

Так сказал один влюбленный
В песни солнца, в счастье мира,
Лучезарный, как колонны
Просветленного эфира;

Словом вещим, многодумным
Пытку сердца успокоив,
Но смеялись над безумным
Стены старые покоев.

Сумрак комнат издевался,
Бледно-серый и угрюмый,
Но другой король поднялся
С новым словом, с новой думой.

Его голос был так страстен,
Столько снов жило во взоре,
Он был трепетен и властен,
Как стихающее море.

Он сказал: "Индийских тканей
Не достигнуты узоры,
В них несдержанность желаний
Нам неведомые взоры.

Бледный лотос под луною
На болоте, мглой одетом,
Дышит тайною одною
С нашим цветом, с белым цветом.

И в безумствах теокалли[1]
Что-то слышится иное.
Жизнь без счастья, без печали
И без бледного покоя.

Кто узнает, что томится
За пределом наших знаний
И, как бледная царица,
Ждет мучений и лобзаний".

Мрачный всадник примчался на черном коне,
Он закутан был в бархатный плащ,
Его взор был ужасен, как город в огне,
И, как молния ночью, блестящ.

---

[1] *Теокалли* — древние мексиканские храмы.

Его кудри, как змеи, вились по плечам,
Его голос был песней огня и земли,
Он балладу пропел молодым королям,
И балладе внимали, смутясь, короли.

"Пять могучих коней мне дарил Люцифер[1]
И одно золотое с рубином кольцо,
Я увидел бездонность подземных пещер
И роскошных долин молодое лицо.

Принесли мне вина — струевого огня
Фея гор и властительно-пурпурный Гном,
Я увидел, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.

И я понял восторг созидаемых дней,
Расцветающий гимн мирового жреца,
Я смеялся порывам могучих коней
И игре моего золотого кольца.

Там, на высях сознанья, — безумье и снег...
Но восторг мой прожег голубой небосклон,
Я на выси сознанья направил свой бег
И увидел там деву, больную, как сон:

Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос.

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Мои взоры одел Люцифер в полутьму,
Люцифер подарил мне шестого коня
И Отчаянье было названье ему".

---

[1] *Люцифер* (Денница) — в христианской мифологии одно из обозначений Сатаны, падшего ангела.

Голос тягостной печали,
Песней горя и земли,
Прозвучал в высоком зале,
Где стояли короли.

И холодные колонны
Неподвижностью своей
Оттеняли взор смущенный,
Вид угрюмых королей.

Но они вскричали вместе,
Облегчив больную грудь:
"Путь к Неведомой Невесте —
Наш единый верный путь.

Полны влагой наши чаши,
Так осушим их до дна,
Дева мира будет нашей,
Нашей быть она должна!

Сдернем с радостной скрижали
Серый мертвенный покров,
И раскрывшиеся дали
Нам расскажут правду снов.

Это верная дорога,
Мир иль наш, или ничей,
Правду мы возьмем у Бога
Силой огненных мечей".

По дороге их владений
Раздается звук трубы,
Голос царских наслаждений,
Голос славы и борьбы.

Их мечи из лучшей стали,
Их щиты как серебро.
И у каждого в забрале
Лебединое перо.

И венки им сплетали русалки
Из фиалок и лилий морских,
И, смеясь, надевали фиалки
На склоненные головы их.

Ни один не вернулся из битвы...
Развалился прадедовский дом,
Где так часто святые молитвы
Повторял их горбун мажордом.

Краски алого заката
Гасли в сумрачном лесу,
Где измученный горбатый
За слезой ронял слезу.

Над покинутым колодцем
Он шептал свои слова,
И бесстыдно над уродцем
Насмехалася сова:

"Горе! Умерли русалки,
Удалились короли,
Я, беспомощный и жалкий,
Стал властителем земли.

Прежде я беспечно прыгал,
Царский я любил чертог,
А теперь сосновых игол
На меня надет венок.

А теперь в моем чертоге
Так пустынно ввечеру;
Страшно в мире... страшно, боги...
Помогите... я умру..."

Над покинутым колодцем
Он шептал свои слова,
И бесстыдно над уродцем
Насмехалася сова.

Высоты и бездны

Кто знает мрак души людской,
Ее восторги и печали?!
Они эмалью голубой
От нас сокрытые скрижали.

Н.Гумилев

*

Когда из темной бездны жизни
Мой гордый дух летел, прозрев,
Звучал на похоронной тризне
Печально-сладостный напев.

И в звуках этого напева,
На мраморный склоняясь гроб,
Лобзали горестные девы
Мои уста и бледный лоб.

И я из светлого эфира,
Припомнив радости свои,
Опять вернулся в грани мира
На зов тоскующей любви.

И я раскинулся цветами,
Прозрачным блеском звонких струй,
Чтоб ароматными устами
Земным вернуть их поцелуй.

ЛЮДЯМ НАСТОЯЩЕГО

Для чего мы не означим
Наших дум горячей дрожью,
Наполняем воздух плачем,
Снами, смешанными с ложью.

Для того ль, чтоб бесполезно,
Без блаженства, без печали
Между Временем и Бездной
Начертить свои спирали.

Для того ли, чтоб во мраке,
Полном снов и изобилья,
Бросить тягостные знаки
Утомленья и бессилья.

И когда сойдутся в храме
Сонмы радостных видений,
Быть тяжелыми камнями
Для грядущих поколений.

ЛЮДЯМ БУДУЩЕГО

Издавна люди уважали
Одно старинное звено,
На них написано скрижали:
Любовь и Жизнь — одно.
Но вы не люди, вы живете,
Стрелой мечты вонзаясь в твердь,
Вы слейте в радостном полете
Любовь и Смерть.

Издавна люди говорили,
Что все они рабы земли
И что они, созданья пыли,
Родились и умрут в пыли.
Но ваша светлая беспечность
Зажглась безумным пеньем лир.
Невестой вашей будет Вечность,
А храмом — мир.

Все люди верили глубоко,
Что надо жить, любить шутя
И что жена — дитя порока,
Стократ нечистое дитя.
Но вам бегущие годины
Несли иной, нездешний звук,
И вы возьмете на Вершины
Своих подруг.

ПРОРОКИ

И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари,
Их очи ясны и глубоки
Грядущим пламенем зари.

Но им так чужд призыв победный,
Их давит власть бездонных слов,
Они запуганы и бледны
В громадах каменных домов.

И иногда в печали бурной
Пророк, не признанный у нас,
Подъемлет к небу взор лазурный
Своих лучистых, ясных глаз.

Он говорит, что он безумный,
Но что душа его свята,
Что он, в печали многодумной,
Увидел светлый лик Христа.

Мечты Господни многооки,
Рука Дающего щедра,
И есть еще, как он, пророки —
Святые рыцари добра.

Он говорит, что мир не страшен,
Что он Зари Грядущей князь...
Но только духи темных башен
Те речи слушают, смеясь.

РУСАЛКА

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирового, больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.

У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,

Он блестит, то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат,
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.

Я люблю ее, деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины...
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

НА МОТИВЫ ГРИГА

Кричит победно морская птица
Над вольной зыбью волны фиорда,
К каким пределам она стремится?
О чем ликует она так гордо?

Холодный ветер, седая сага
Так властно смотрят из звонкой песни,
И в лунной грезе морская влага
Еще прозрачней, еще чудесней.

Родятся замки из грезы лунной,
В высоких замках тоскуют девы,
Златые арфы так многострунны,
И так маняще звучат напевы.

Но дальше песня меня уносит,
Я всей Вселенной увижу звенья,
Мое стремленье иного просит,
Иных жемчужин, иных каменьев.

Я вижу праздник веселый, шумный,
В густых дубравах ликует эхо,
И ты приходишь мечтой бездумной,
Звеня восторгом, пылая смехом.

А на высотах, столь совершенных,
Где чистых лилий сверкают слезы,
Я вижу страстных среди блаженных,
На горном снеге алеют розы.

И где-то светит мне образ бледный,
Всегда печальный, всегда безмолвный...
...Но только чайка кричит победно
И гордо плещут седые волны.

ОСЕНЬ

По узкой тропинке
Я шел, упоенный мечтою своей,
И в каждой былинке
Горело сияние чьих-то очей.

Сплеталися травы,
И медленно пели и млели цветы,
Дыханьем отравы
Зеленой, осенней светло залиты.

И в счастье обмана
Последних холодных и властных лучей
Звенел хохот Пана
И слышался говор нездешних речей.

И девы-дриады,
С кристаллами слез о лазурной весне,
Вкусили отраду,
Забывшись в осеннем, божественном сне.

Я знаю измену,
Сегодня я Пана ликующий брат,
А завтра надену
Из снежных цветов прихотливый наряд.

И грусть ледяная
Расскажет утихшим волненьем в крови
О счастье без рая,
Глазах без улыбки и снах без любви.

*

Иногда я бываю печален,
Я, забытый, покинутый бог,

Созидающий в груде развалин
Старых храмов — грядущий чертог.

Трудно храмы воздвигнуть из пепла,
И бескровные шепчут уста:
Не навек ли сгорела, ослепла
Вековая, Святая Мечта.

И тогда надо мною неясно,
Где-то там, в высоте голубой,
Чей-то голос порывисто-страстный
Говорит о борьбе мировой.

"Брат усталый и бледный, трудися!
Принеси себя в жертву земле,
Если хочешь, чтоб горные выси
Загорелись в полуночной мгле.

Если хочешь ты яркие дали
Развернуть пред больными людьми,
Дни безмолвной и жгучей печали
В свое мощное сердце возьми.

Жертвой будь голубой, предрассветной...
В темных безднах беззвучно сгори...
...И ты будешь Звездою Обетной,
Возвещающей близость зари".

*

По стенам опустевшего дома
Пробегают холодные тени,
И рыдают бессильные гномы
В тишине своих новых владений.

По стенам, по столам, по буфетам
Все могли бы их видеть воочью,
Их, оставленных ласковым светом,
Окруженных безрадостной ночью.

Их больные и слабые тельца
Трепетали в тоске и истоме

С той поры, как не стало владельца
В этом прежде смеявшемся доме.

Сумрак комнат покинутых душен,
Тишина с каждым мигом печальней,
Их владелец был ими ж задушен
В темноте готической спальни.

Унесли погребальные свечи,
Отшумели прощальные тризны,
И остались лишь смутные речи
Да рыданья, полны укоризны.

По стенам опустевшего дома
Пробегают холодные тени,
И рыдают бессильные гномы
В тишине своих новых владений.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ

1908 г.

Посвящается Анне Андреевне Горенко[1]

*

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
Расточал рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений
Открывал пространства без границ,
Где носились сумрачные тени,
То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,
Огненные плавали столбы,
Гордые военные трибуны
Опускали взоры, как рабы.

А царица, наклоняясь с ложа,
Радостно играла крутизной,
И ее атласистая кожа
Опьяняла снежной белизной.

Задыхаясь в несказанном блуде,
Юный маг забыл про все вокруг,
Он смотрел на маленькие груди,
На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал все царице беззаконий,
Чем была жива его душа.

[1] Посвящение будущей жене Гумилева, ставшей поэтом Анной Ахматовой (1889 – 1966).

А когда на изумрудах Нила
Месяц закачался и поблек,
Бледная царица уронила
Для него алеющий цветок.

*

Над тростником медлительного Нила,
Где носятся лишь бабочки да птицы,
Скрывается забытая могила
Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,
Встает луна, как грешная сирена,
Бегут белесоватые туманы,
И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и трубы,
Ее глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.

"Смотри, луна, влюбленная в безумных,
Смотрите, звезды, стройные виденья,
И темный Нил, владыка вод бесшумных,
И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,
Как блещут взоры злыми огоньками,
Не правда ль, я такая же царица,
Как та, что спит под этими камнями?

Ее глаза светилися изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови".

По деревням собаки воют в страхе,
В домах рыдают маленькие дети,
И хмурые хватаются феллахи
За длинные, безжалостные плети.

*

Что ты видишь во взоре моем,
В этом бледно-мерцающем взоре?
— Я в нем вижу глубокое море
С потонувшим большим кораблем.

Тот корабль... величавей, смелее
Не видали над бездной морской.
Колебались высокие реи,
Трепетала вода за кормой.

И летучие странные рыбы
Покидали подводный предел
И бросали на воздух изгибы
Изумрудно-блистающих тел.

Ты стояла на дальнем утесе,
Ты смотрела, звала и ждала,
Ты в последнем веселом матросе
Огневое стремленье зажгла.

И никто никогда не узнает
О безумной, предсмертной борьбе
И о том, где теперь отдыхает
Тот корабль, что стремился к тебе.

И зачем эти тонкие руки
Жемчугами прорезали тьму,
Точно ласточки с песней разлуки,
Точно сны, улетая к нему?

Только тот, кто с тобою, царица,
Только тот вспоминает о нем,
И его голубая гробница
В затуманенном взоре твоем.

*

Там, где похоронен старый маг,
Где пробита в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера.

Подожди, погаснет скучный день,
В мире будет тихо, как во храме,
Люцифер прокрадется, как тень,
С тихими вечерними тенями.

Скрытые, незримые для всех,
Сохраним мы нежное молчанье,
Будем слушать серебристый смех
И бессильно горькое рыданье.

Синий блеск нам взор заворожит,
Фея Маб свои расскажет сказки,
И спугнет, блуждая, Вечный Жид[1]
Бабочек оранжевой окраски.

Но когда воздушный, лунный знак
Побледнеет, шествуя к паденью,
Снова станет трупом старый маг,
Люцифер — блуждающею тенью.

Фея Маб на лунном лепестке
Улетит к далекому чертогу,
И, угрюмо посох сжав в руке,
Вечный Жид пойдет в свою дорогу.

И взойдя на плиты алтаря,
Мы заглянем в узкое оконце,
Чтобы встретить песнею царя —
Золотисто-огненное солнце.

*

Мой старый друг, мой верный Дьявол
Пропел мне песенку одну:
— Всю ночь моряк в пучине плавал,
А на заре пошел ко дну.

Кругом вставали волны-стены,
Спадали, вспенивались вновь,
Пред ним неслась белее пены
Его великая любовь.

---

[1] *Вечный Жид* (Агасфер, *библ.*) — осужден Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть по пути к месту казни (на Голгофу).

Он слышал зов, когда он плавал:
"О, верь мне, я не обману..."
Но помни, — молвил умный Дьявол. —
Он на заре пошел ко дну.

*

За покинутым бедным жилищем,
Где чернеют остатки забора,
Старый ворон с оборванным нищим
О восторгах вели разговоры.

Старый ворон в тревоге всегдашней
Говорил, трепеща от волненья,
Что ему на развалинах башни
Небывалые снились виденья.

Что в полете воздушном и смелом
Он не помнил тоски их жилища
И был лебедем нежным и белым,
Принцем был отвратительный нищий.

Нищий плакал бессильно и глухо,
Ночь тяжелая с неба спустилась,
Проходившая мимо старуха
Учащенно и робко крестилась.

ИМПЕРАТОР КАРАКАЛЛА[1]

I

Призрак какой-то неведомой силы,
Ты ль, указавший законы судьбе,
Ты ль, император, во мраке могилы
Хочешь, чтоб я говорил о тебе?

Горе мне! Я не трибун, не сенатор,
Я только бедный бродячий певец,
И для чего, для чего, император,
Ты на меня возлагаешь венец?

[1] *Каракалла* — римский император (186 — 217).

Заперты мне все богатые двери,
И мои бедные сказки-стихи
Слушают только бездомные звери
Да на высоких горах пастухи.

Старый хитон мой изодран и черен,
Очи не зорки, и голос мой слаб,
Но ты сказал, и я буду покорен,
О император, я верный твой раб!

II

Император с профилем орлиным,
С черною, курчавой бородой,
О, каким бы был ты властелином,
Если б не был ты самим собой!

Любопытно-вдумчивая нежность
Словно тень на царственных устах,
Но какая дикая мятежность
Затаилась в сдвинутых бровях!

Образы властительные Рима,
Цезарь, Юлий Август и Помпей —
Это тень, бледна и еле зрима,
Перед тихой тайною твоей.

Кончен ряд железных сновидений,
Тихи гробы сумрачных отцов,
И ласкает быстрый Тибр ступени
Гордо розовеющих дворцов.

Жадность снов в тебе неутолима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.

Но к чему тебе победы в час вечерний,
Если тени упадают ниц,
Если, точно золото на черни,
Видны ноги стройных танцовщиц?

Страстная, как юная тигрица,
Нежная, как лебедь сонных вод,
В темной спальне ждет императрица,
Ждет, дрожа, того, кто не придет.

Там, в твоих садах, безгрешность неба,
Звезды разбросались, как в бреду,
Там, быть может, ты увидел Феба,
Трепетно бродящего в саду.

Как и ты, стрелою снов пронзенный,
С любопытным взором он застыл
Там, где дремлет с Нила привезенный
Темно-изумрудный крокодил.

Словно прихотливые камеи,
Тихие, пустынные сады,
С темных пальм в траву свисают змеи,
Зреют небывалые плоды.

Беспокоен смутный сон растений,
Плавают туманы, точно сны,
В них ночные бабочки, как тени,
С крыльями жемчужной белизны.

И, великой мукою Вселенной
На минуту грудь свою омыв,
Ты стоишь божественно-надменный,
Император, ты тогда счастлив.

А потом в твоем зеленом храме,
Медленно, как следует царю,
Ты красиво-мерными стихами
Вызываешь новую зарю.

III

Мореплаватель Павзаний
С берегов далеких Нила
В Рим привез и шкуры ланей,
И египетские ткани,
И большого крокодила.

Это было в дни безумных
Извращений Каракаллы,
Бог веселых и бездумных
Изукрасил цепью шумных
Толп причудливые скалы.

В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило,
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море,
Чтобы встретить крокодила.

Суетились у галеры
Бородатые скитальцы,
И изящные гетеры
Поднимали в честь Венеры
Точно мраморные пальцы.

И какой-то сказкой чудной,
Нарушителем гармоний,
Крокодил сверкал у судна
Чешуею изумрудной
На серебряном понтоне.

АХИЛЛ И ОДИССЕЙ

Одиссей

Брат мой, я вижу глаза твои тусклые,
Вместо доспехов меха леопарда
С негой обвили могучие мускулы,
Чувствую запах не крови, а нарда.

Сладкими винами кубок твой полнится,
Тщетно вождя ожидают в отряде,
И завивает, как деве, невольница
Черных кудрей твоих длинные пряди.

Ты отдыхаешь под светлыми кущами,
Сердце безгневно и взор твой лилеен,
В час, когда дебри покрыты бегущими,
Поле — телами убитых ахеян.

Каждое утро страдания новые...
Вот, я раскрыл пред тобою одежды.
Видишь, как кровь убегает багровая, –
Это не кровь, это наши надежды.

Ахилл

Брось, Одиссей, это стоны притворные,
Красная кровь вас с землей не разлучит,
А у меня она страшная, черная,
В сердце скопилась, и давит, и мучит.

ЛЮБОВНИКАМ

Печаль их душ родилась возле моря,
В священных рощах девственных наяд,
Чьи песни вечно радостно звучат,
С напевом струн, с игрою ветра споря.

Великий жрец... страннее и суровей
Едва ль была людская красота,
Спокойный взгляд, сомкнутые уста
И на кудрях повязка цвета крови.

Когда вставал туман над водной степью,
Великий жрец творил святой обряд,
И танцы гибких, трепетных наяд
По берегу вились жемчужной цепью.

Из всех одной, пленительней, чем сказка,
Великий жрец оказывал почет,
Он позабыл, что красота влечет,
Что опьяняет красная повязка.

И звезды предрассветные мерцали,
Когда забыл великий жрец обет,
Ее уста не говорили "нет",
Ее глаза ему не отказали.

И, преданы клеймящему злословью,
Они ушли из тьмы священных рощ
Туда, где их сердец исчезла мощь,
Где их сердца живут одной любовью.

ПОМПЕЙ У ПИРАТОВ

От кормы, изукрашенной красным,
Дорогие плывут ароматы
В трюм, где скрылись в волненье опасном
С угрожающим видом пираты.

С затаенною злобой боязни
Говорят, то храбрясь, то бледнея,
И вполголоса требуют казни,
Головы молодого Помпея.

Сколько дней они служат рабами,
То покорно, то с гневом напрасным,
И не смеют бродить под шатрами,
На корме, изукрашенной красным.

Слышен зов, это голос Помпея,
Окруженного стаей голубок.
Он кричит: "Эй, собаки, живее,
Где вино, высыхает мой кубок!"

И, над морем седым и пустынным
Приподнявшись лениво на локте,
Посыпает толченым рубином
Розоватые, длинные ногти.

И, оставив мечтанья о мести,
Умолкают смущенно пираты
И несут, раболепные, вместе
И вино, и цветы, и гранаты.

*

Улыбнулась и вздохнула,
Догадавшись о покое,
И последний раз взглянула
На ковры и на обои.

Красный шарик уронила
На вино в узорный кубок

И капризно помочила
В нем кораллы нежных губок.

И живая тень румянца
Заменилась тенью белой,
И, как в странной позе танца,
Искривясь, поникло тело.

И чужие миру звуки
Издалека набегают,
И незримый бисер руки,
Задрожав, перебирают.

На ковре она трепещет,
Точно белая голубка,
А отравленная блещет
Золотая влага кубка.

ВЛЮБЛЕННАЯ В ДЬЯВОЛА

Кто был бледный и красивый рыцарь,
Что проехал на черном коне,
И какая сказочная птица
Кружилась над ним в вышине?

И какой печальный взгляд он бросил
На мое цветное окно,
И зачем мне сделался несносен
Мир родной и знакомый давно?

И зачем мой старший брат в испуге,
При дрожащем мерцанье свечи
Вынимал из погребов кольчуги
И натачивал копья и мечи?

И зачем сегодня в капелле
Все сходились, читали псалмы
И монахи угрюмые пели
Заклинанья против мрака и тьмы?

И спускался сумрачный астролог
С заклинательной башни в дом,

И зачем был так странно долог
Его спор с моим старым отцом?

Я не знаю, ничего не знаю,
Я еще так молода,
Но я все же плачу и рыдаю
И мечтаю всегда.

СМЕРТИ

Нежной, бледной, в пепельной одежде
Ты явилась с ласкою очей,
Не такой тебя встречал я прежде
В трубном вое, в бешенстве мечей.

Ты казалась золотисто-пьяной,
Обнажив сверкающую грудь,
Ты среди кровавого тумана
К небесам прорезывала путь.

Как у вечно жаждущей Астреи[1],
Твои очи были глубоки,
И неслась по жилам кровь быстрее,
И крепчали мускулы руки.

Но тебя, хоть ты теперь иная,
Я мечтою прежней узнаю,
Ты меня манила песней рая,
И с тобой мы встретимся в раю.

ИЗМЕНА

Страшный сон увидел я сегодня:
Снилось мне, что я сверкал на небе,
Но что жизнь, чудовищная сводня,
Выкинула мне недобрый жребий.

---

[1] *Астрея (греч. миф.)* — имя богини справедливости.

Превращен внезапно в ягуара,
Я сгорал от бешеных желаний,
В сердце — пламя жгучего пожара,
В мускулах — безумье содроганий.

И к люскому крался я жилищу
По пустому сумрачному полю
Добывать полуночную пищу,
Богом мне назначенную долю.

И нежданно в темном перелеске
Я увидел стройный образ девы
И запомнил яркие подвески,
Поступь лани, взоры королевы.

"Призрак Счастья, Белая Невеста..." —
Думал я, дрожащий и смущенный,
А она промолвила: "Ни с места!" —
И смотрела тихо и влюбленно.

Я молчал, ее покорный кличу,
Я лежал, ее окован знаком,
И достался, как шакал, в добычу
Набежавшим яростным собакам.

А она прошла за перелеском
Тихими и легкими шагами,
Лунный луч кружился по подвескам,
Звезды говорили с жемчугами.

*

Под землей есть тайная пещера,
Там стоят высокие гробницы,
Огненные грезы Люцифера, —
Там блуждают стройные блудницы.

Ты умрешь бесславно иль со славой,
Но придет и властно взглянет в очи
Смерть, старик угрюмый и костлявый,
Нудный и медлительный рабочий.

Понесет тебя по коридорам,
Понесет от башни и до башни,
Со стеклянным выпученным взором
Ты поймешь, что это сон всегдашний.

И когда, упав в твою гробницу,
Ты загрезишь о небесном храме,
Ты увидишь над собой блудницу
С острыми, жемчужными зубами.

Сладко будет ей к тебе приникнуть,
Целовать со злобой бесконечной,
Ты не можешь двинуться и крикнуть...
Это все. И это будет вечно.

*

Я долго шел по коридорам,
Кругом, как враг, таилась тишь.
На пришлеца враждебным взором
Смотрели статуи из ниш.

В угрюмом сне застыли вещи,
Был странен серый полумрак,
И, точно маятник зловещий,
Звучал мой одинокий шаг.

И там, где гуще сумрак хмурый,
Мой взор горящий был смущен
Едва заметною фигурой
В тени столпившихся колонн.

Я подошел, и вот мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх,
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,
Глаза зияли пустотой,
И мерзко крался шепот хриплый:
"Ты сам пришел сюда, ты мой!"

Мгновенья страшные бежали,
И набегала полумгла,
И бледный ужас повторяли
Бесчисленные зеркала.

*

Царица иль, может быть, только печальный ребенок,
Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.

Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины,
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного
принца,
Они предлагали свои изумрудные спины.

Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое "не надо...".
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

*

В темных покрывалах летней ночи
Заблудилась юная принцесса,
Плачущей нашел ее рабочий,
Что работал в самой чаще леса.

Он отвел ее в свою избушку,
Угостил лепешкой с горьким салом,
Подложил под голову подушку
И закутал ноги одеялом.

Сам заснул в углу далеком сладко,
Стало тихо тишиной виденья,
Красноватым пламенем лампадка
Освещала только часть строенья.

Что там? Или это только тряпки,
Жалкие, ненужные отбросы,

Кроличьи засушенные лапки,
Брошенные на пол папиросы?

Почему же ей ее томленье
Кажется мучительно знакомо?
И ей шепчут грязные поленья,
Что она теперь лишь вправду дома.

...Ранним утром заспанный рабочий
Проводил принцессу до опушки...
Но не раз потом, в глухие ночи,
Проливались слезы об избушке.

*

Приближается к Каиру судно
С длинными знаменами Пророка,
По матросам угадать не трудно,
Что они с Востока.

Капитан кричит и суетится,
Слышен голос гортанный и резкий,
На снастях видны смуглые лица
И мелькают красные фески.

На пристани толпятся дети,
Забавны их тонкие тельца,
Они сошлись еще на рассвете
Посмотреть, где станут пришельцы.

Аисты сидят на крыше
И вытягивают шеи,
Они всех выше,
И им виднее.

Аисты — воздушные маги,
Им многое ясно и понятно,
Почему у одного бродяги
На щеках багровые пятна.

Аисты кричат над домами,
Но никто не слышит их рассказа,
Что вместе с духами и шелками
Пробирается в город зараза.

*

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И (кто поймет намек старинной тайны?)
В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.

И щеки, розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Сплетаяся в молитвенном экстазе.

У ног ее две черные пантеры
С отливами змеиными на шкуре,
Взлетев от роз таинственной пещеры,
Ее фламинго плавает в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны,
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

ОЗЕРО ЧАД

I

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет,
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав?..
Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

II

Барабанный бой племени Бурну

Видишь, мчатся обезьяны
С диким криком на лианы,
Что свисают низко, низко?
Слышишь шорох многих ног?
Это значит — близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъяренный носорог.

Видишь общее смятенье,
Слышишь топот? Нет сомненья,
Если даже буйвол сонный
Отступает глубже в грязь,
Но, в нездешнее влюбленный,
Не ищи себе спасенья,
Убегая и таясь.

Встреть спокойно носорога,
Как чудовищного бога,
Посреди лесного храма

Не склони к земле лица,
Если страсть твоя упряма,
Не закрадется тревога
В душу смелого жреца.

Подними высоко руки
С песней счастья и разлуки,
Взоры в розовых туманах
Мысль далеко уведут...
...И из стран обетованных
Нам незримые фелуки
За тобою приплывут.

III

На таинственном озере Чад
Повисают, как змеи, лианы,
Разъяренные звери рычат
И блуждают седые туманы.

По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются странным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была жена могучего вождя,
Дочь любимая властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала тайны древнего обряда.

Взор мой был бесстрашен, как стрела,
Груди трепетные звали к наслажденью,
Я была нежна и не могла
Не отдаться заревому искушенью.

Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.

Он сказал, что я красива,
И красу мою стыдливо
Я дала его губам,
И безумной, знойной ночью
Мы увидели воочью
Счастье, данное богам.

Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам

И достался смертным мукам...
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груде
Шкур звериных и тканей восточных,
Я, как птица, неслася на север,
Я, играя, ломала мой веер,
Ожидая восторгов полночных.

Я раздвинула гибкие складки
У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклонялась в оконце...
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я, ненужно-скучная любовница,
Точно вещь, я брошена в Марселе.

Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтобы жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.

Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает...
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.

*

Следом за Синдбадом-Мореходом
В чуждых странах я сбирал червонцы
И блуждал по незнакомым водам,
Где, дробясь, пылали блики солнца.

Сколько раз я думал о Синдбаде
И в душе лелеял песни те же,
Было сладко грезить о Багдаде,
Проходя у чуждых побережий.

Но орел, чьи перья — красный пламень,
Что носил богатого Синдбада,
Поднял и швырнул меня на камень,
Где морская веяла прохлада.

Пусть халат мой залит свежей кровью,
В сердце гибель загорелась снами,
Я как мальчик, схваченный любовью
К девушке, окутанной шелками.

Тишина над дальним кругозором,
В мыслях праздник светлого бессилья,
И орел, моим смущенный взором,
Отлетая, распускает крылья.

*

Над пучиной в полуденный час
Пляшут искры и солнце лучится,
И рыдает молчанием глаз
Далеко залетевшая птица.

Заманила зеленая сеть
И окутала взоры туманом,
Ей осталось лететь и лететь
До конца над немым океаном.

Прихотливые вихри влекут,
Бесполезны мольбы и усилья,
И на землю ее не вернут
Утомленные белые крылья.

И когда заглянул я в твой взор,
Где печальные скрылись зарницы,
Я увидел в нем тот же позор,
Тот же ужас измученной птицы.

*

Мне снилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом,
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.

Когда мы сказали: "Довольно"?
Давно ли и что это значит?
Но странно, что сердцу не больно,
Что сердце не плачет.

Бессильные чувства так странны,
Застывшие мысли так ясны,
И губы твои не желанны,
Хоть вечно прекрасны.

Свершилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом.
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.

*

На руке моей перчатка,
И ее я не сниму,
Под перчаткою загадка,
О которой вспомнить сладко
И которая уводит мысль во тьму.

На руке прикосновенье
Тонких пальцев милых рук,
И как слух мой помнит пенье,
Так хранит их впечатленье
Эластичная перчатка, верный друг.

Есть у каждого загадка,
Уводящая во тьму,
У меня — моя перчатка,
И о ней мне вспомнить сладко,
И ее до новой встречи не сниму.

*

Нас было пять... Мы были капитаны,
Водители безумных кораблей,
И мы переплывали океаны,
Позор для Бога, ужас для людей.

Далекие загадочные страны
Нас не пленяли чарою своей,
Нам нравились зияющие раны,
И зарева, и жалкий треск снастей.

Наш взор пленял туманное ненастье,
Что можно видеть, но понять нельзя,
И после смерти наши привиденья

Поднялись, как подводные каменья,
Как прежде, черной гибелью грозя
Искателям неведомого счастья.

ЯПОНСКОЙ АРТИСТКЕ САДА ЯККО[1], КОТОРУЮ Я ВИДЕЛ В ПАРИЖЕ

Мы не ведаем распрей народов, повелительных ссор государей,
Я родился слагателем сказак, Вы — плясуньей, певицей, актрисой.
И в блистательном громе оркестра, в электрическом светлом пожаре
Я любил Ваш задумчивый остров, как он явлен был темной кулисой.

И пока Вы плясали и пели, поднимали кокетливо веер,
С каждым мигом во мне укреплялась золотая веселая вера,
Что созвучна мечта моя с Вашей, что Вам также пленителен север,
Что Вам нравятся яркие взоры в напряженных глубинах партера.

*

В полутемном строгом зале
Пели скрипки, Вы плясали.
Группы бабочек и лилий
На шелку зеленоватом,
Как живые, говорили
С электрическим закатом,
И ложилась тень акаций
На полотна декораций.

Вы казались бонбоньеркой
На изящной этажерке,
И, как беленькие кошки,
Как играющие дети,
Ваши маленькие ножки
Трепетали на паркете,

[1] *Сада Якко* (1872 — 1946) — драматическая актриса.

И жуками золотыми[1]
Нам сияло Ваше имя.

И когда Вы говорили,
Мы далекое любили,
Вы бросали в нас цветами
Незнакомого искусства,
Непонятными словами
Опьяняя наши чувства.
И мы верили, что солнце —
Только вымысел японца[2].

*

Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны,
Где безумье и ужас от века застыли на всем,
Где гора в отдаленье казалась взъерошенным псом,
Где клокочущей черною медью дышали вулканы.

Были сумерки мира.

Но на небе внезапно качнулась широкая тень,
И кометы, что мчались, как волки свирепы и грубы,
И сшибались друг с другом, оскалив железные зубы,
Закружились, встревоженным воем приветствуя день.

Был испуг ожиданья.

И в терновом венке, под которым сочилася кровь,
Вышла тонкая девушка, нежная в синем сиянье,
И серебряным плугом упорную взрезала новь,
Сочетанья планет ей назначили имя: Страданье.

Это было спасенье.

---

[1] *Жуки золотые* — иероглифы.
[2] Наименование Японии — Страна восходящего солнца.

ЖЕМЧУГА

1907–1910 гг.

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Валерию Брюсову

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

ПОТОМКИ КАИНА

Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Принявший имя утренней звезды,
Когда сказал: "Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод и будете, как боги"[1].

Для юношей открылись все дороги,
Для старцев — все запретные труды,
Для девушек — янтарные плоды
И белые, как снег, единороги.

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?

КАМЕНЬ

А.И.Гумилевой[2]

Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень;
Не думай, то не светляки!

---

[1] Реминисценция из Книги Бытия (3:2-6).
[2] Анна Ивановна Гумилева (урожд. Львова, 1854 — 1942, Бежецк) — мать поэта.

Давно угрюмые друиды,
Сибиллы хмурых королей,
Отмстить какие-то обиды
Его призвали из морей.

Он вышел черный, вышел страшный
И вот лежит на берегу,
А по ночам ломает башни
И мстит случайному врагу.

Летит пустынными полями,
За куст приляжет, подождет,
Сверкнет огнистыми щелями
И снова бросится вперед.

И редко кто бы мог увидеть
Его ночной и тайный путь,
Но берегись его обидеть,
Случайно как-нибудь толкнуть.

Он скроет жгучую обиду,
Глухое бешенство угроз.
Он промолчит и будет с виду
Недвижен, как простой утес.

Но где бы ты ни скрылся, спящий,
Тебе его не обмануть,
Тебя отыщет он, летящий,
И дико ринется на грудь.

И ты застонешь в изумленье,
Завидя блеск его огней,
Заслыша шум его паденья
И жалкий треск твоих костей.

Горячей кровью пьяный, сытый,
Лишь утром он оставит дом,
И будет страшен труп забытый,
Как пес, раздавленный быком.

И, миновав поля и нивы,
Вернется к берегу он вновь,
Чтоб смыли верные приливы
С него запекшуюся кровь.

ОДЕРЖИМЫЙ

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя,
А сердце ноет и стучит,
Уныло чуя роковое.

Чрез дымный луг и хмурый лес
И угрожающее море
Бредет с копьем наперевес
Мое чудовищное горе.

Напрасно я спешу к коню,
Хватаю с трепетом поводья
И, обезумевший, гоню
Его в ночные половодья.

В болоте темном дикий бой
Для всех останется неведом,
И верх одержит надо мной
Привыкший к сумрачным победам:

Мне сразу в очи хлынет мгла...
На полном, бешеном галопе
Я буду выбит из седла
И покачусь в ночные топи.

Как будет страшен этот час!
Я буду сжат доспехом тесным,
И, как всегда, о coup de grâce[1]
Я возоплю пред неизвестным.

Я угадаю шаг глухой
В неверной мгле ночного дыма,
Но, как всегда, передо мной
Пройдет неведомое мимо...

И утром встану я один,
А девы, рады играм вешним,

[1] Последний, смертельный удар *(фр.)*.

Шепнут: "Вот странный паладин[1]
С душой, измученной нездешним".

ПОЕДИНОК

В твоем гербе — невинность лилий,
В моем — багряные цветы.
И близок бой, рога завыли,
Сверкнули золотом щиты.

Я вызван был на поединок
Под звуки бубнов и литавр,
Среди смеющихся тропинок,
Как тигр в саду, — угрюмый мавр.

Ты — дева-воин песен давних.
Тобой гордятся короли.
Твое копье не знает равных
В пределах моря и земли.

Вот мы схватились и застыли,
И войско с трепетом глядит,
Кто побеждает: я ли, ты ли,
Иль гибкость стали, иль гранит.

Я пал, и, молнии победней,
Сверкнул и в тело впился нож.
Тебе восторг — мой стон последний,
Моя прерывистая дрожь.

И ты уходишь в славе ратной,
Толпа поет тебе хвалы,
Но ты воротишься обратно,
Одна, в плаще весенней мглы.

И над равниной дымно-белой
Мерцая шлемом золотым,
Найдешь мой труп окоченелый
И снова склонишься над ним:

[1] *Паладин* — рыцарь.

"Люблю! Ты слышишь, милый, милый?
Открой глаза, ответь мне: "Да".
За то, что я тебя убила,
Твоей я стану навсегда".

Еще не умер звук рыданий,
Еще шуршит твой белый шелк,
А уж ко мне ползет в тумане
Нетерпеливо-жадный волк.

ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ

Картина в Лувре работы неизвестного

Его глаза — подземные озера,
Покинутые царские чертоги.
Отмечен знаком высшего позора,
Он никогда не говорит о Боге.

Его уста — пурпуровая рана
От лезвия, пропитанного ядом;
Печальные, сомкнувшиеся рано,
Они зовут к непознанным усладам.

И руки — бледный мрамор полнолуний.
В них ужасы неснятого проклятья.
Они ласкали девушек-колдуний
И ведали кровавые распятья.

Ему в веках достался странный жребий —
Служить мечтой убийцы и поэта,
Быть может, как родился он, на небе
Кровавая растаяла комета.

В его душе столетние обиды,
В его душе печали без названья.
На все сады Мадонны и Киприды[1]
Не променяет он воспоминанья.

[1] *Киприда* (по о. Кипр) — одно из имен богини любви и красоты Афродиты *(греч. миф.)*.

Он злобен, но не злобой святотатца,
И нежен цвет его атласной кожи.
Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать... плакать больше он не может.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Ветер гонит тучу дыма,
Словно грузного коня.
Вслед за ним неутолимо
Встало зарево огня.

Только в редкие просветы
Темно-бурых тополей
Видно розовые светы
Обезумевших полей.

Ярко вспыхивает ма́ис[1],
С острым запахом смолы,
И, шипя и разгораясь,
В пламя падают стволы.

Резкий грохот, тяжкий топот,
Вой, мычанье, визг и рев,
И зловеще-тихий ропот
Закипающих ручьев.

Вон несется слон-пустынник,
Лев стремительно бежит,
Обезьяна держит финик
И пронзительно визжит.

С вепрем стиснутый бок о бок,
Легкий волк, душа ловитв[2],
Зубы белы, взор не робок —
Только время не для битв.

А за ними в дымных пущах
Льется новая волна

[1] *Маис* — кукуруза.
[2] *Ловитва* — ловля, охота.

Опаленных и ревущих...
Как назвать их имена?

Словно там, под сводом ада,
Дьявол щелкает бичом,
Чтобы грешников громада
Вышла бешеным смерчом.

Всё страшней в ночи бессонной,
Всё быстрее дикий бег,
И, огнями ослепленный,
Черной кровью обагренный,
Первым гибнет человек.

ЦАРИЦА

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры,
Тебе задумчивые бонзы[1]
В Тибете ставили костры.

Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мете,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.

И ты вступила в крепость Агры[2],
Светла, как древняя Лилит[3],
Твои веселые онагры[4]
Звенели золотом копыт.

Был вечер тих. Земля молчала,
Едва вздыхали цветники,
Да от зеленого канала,
Взлетая, реяли жуки.

---

[1] *Бонза* — буддийский монах.
[2] *Агра* — город в Индии.
[3] *Лилит (евр. миф.)* — первая жена Адама.
[4] *Онагры* — ослы.

И я следил в тени колонны
Черты алмазного лица
И ждал, коленопреклоненный,
В одежде розовой жреца.

Узорный лук в дугу был согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут
И острие найдет тебя.

Тогда бы вспыхнуло былое:
Князей торжественный приход,
И пляски в зарослях алоэ,
И дни веселые охот.

Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел бога
И робко выронил свой лук.

Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.

ТОВАРИЩ

Что-то проходит близко, верно,
Холод томящий в грудь проник.
Каждой ночью в тьме безмерной
Я вижу милый, странный лик.

Старый товарищ, древний ловчий,
Снова встаешь ты с ночного дна,
Тигра смелее, барса ловче,
Сильнее грузного слона.

Помню, всё помню; как забуду
Рыжие кудри, крепость рук,
Меч твой, вносивший гибель всюду,
Из рога турьего твой лук?

Помню и волка; с нами в мире
Вместе бродил он, вместе спал,
Вечером я играл на лире,
А он тихонько подвывал.

Что же случилось? Чьею властью
Вытоптан был наш дикий сад?
Раненый коршун, темной страстью
Товарищ дивный был объят.

Спутанно помню — кровь повсюду,
Душу гнетущий мертвый страх,
Ночь, и героев павших груду,
И труп товарища в волнах.

Что же теперь, сквозь ряд столетий,
Выступил ты из смертных чащ, —
В смуглых ладонях лук и сети
И на плечах багряный плащ?

Сладостной верю я надежде,
Лгать не умеют сердцу сны,
Скоро пройду с тобой, как прежде,
В полях неведомой страны.

В БИБЛИОТЕКЕ

М.Кузмину[1]

О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библио́тек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

Мне нынче труден мой урок.
Куда от странной грезы деться?

[1] Михаил Алексеевич Кузмин (1872 — 1936) — поэт, прозаик, музыкант..

Я отыскал сейчас цветок
В процессе древнем Жиль де Реца[1].

Изрезан сетью бледных жил,
Сухой, но тайно-благовонный...
Его, наверно, положил
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ
Его пылали жарко щеки,
Но взор очей уже был туп,
И мысли холодно жестоки.

И, верно, дьявольская страсть
В душе вставала, словно пенье,
Что дар любви, цветок, увясть
Был брошен в книге преступленья.

И после, там, в тени аркад,
В великолепье ночи дивной
Кого заметил тусклый взгляд,
Чей крик послышался призывный?

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу,
И бремя жизни — злое бремя...
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

Мои мечты... они чисты,
А ты, убийца дальний, кто ты?!
О пожелтевшие листы,
Шагреневые переплеты!

---

[1] Имеется в виду книга, посвященная маршалу Франции, участнику Столетней войны, осужденному и казненному по обвинению в магии и садистских преступлениях; Жиль де Рец считается одним из прототипов Синей бороды.

В ПУТИ

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез —
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Острый хребет его крут,
Вздох его — огненный смерч.
Люди его назовут
Сумрачным именем "Смерть".

Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?

Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора.
Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!

Вынем же меч-кладенец,
Дар благосклонных наяд[1],
Чтоб обрести наконец
Неотцветающий сад.

---

[1] *Наяда* (то же — ундина, русалка) — нимфа (божество) водных стихий.

СЕМИРАМИДА[1]

Светлой памяти И.Ф.Анненского[2]

Для первых властителей завиден мой жребий,
И боги не так горды.
Столпами из мрамора в пылающем небе
Укрепились мои сады.

Там рощи с цистернами для розовой влаги,
Голубые, нежные мхи,
Рабы, и танцовщицы, и мудрые маги,
Короли четырех стихий.

Всё манит и радует, всё ясно и близко,
Всё таит восторг вышины,
Но каждою полночью так страшно и низко
Наклоняется лик луны.

И в сумрачном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей,
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей[3].

СТАРЫЙ КОНКВИСТАДОР

Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор,
В дымном небе плавали кондоры,
Нависали снежные громады.

Восемь дней скитался он без пищи,
Конь издох, но под большим уступом

---

[1] *Семирамида* — царица Ассирии (810 — 806 до н.э.); в стихотворении речь идет о "садах Семирамиды" — одном из "семи чудес света".

[2] Иннокентий Федорович Анненский (1855 — 1909) — поэт, переводчик; директор Царскосельской гимназии (до января 1906 г.), в которой учился Гумилев.

[3] ***Локоть*** — старая русская мера длины (около 0,5 м).

Он нашел уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с милым трупом.

Там он жил в тени сухих смоковниц,
Песни пел о солнечной Кастилье,
Вспоминал сраженья и любовниц,
Видел то пищали, то мантильи.

Как всегда, был дерзок и спокоен
И не знал ни ужаса, ни злости,
Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости.

ВАРВАРЫ

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица нагою.

Трубили герольды[1]. По ветру стремились знамена,
Как листья осенние, прелые, бурые листья.
Роскошные груды восточных шелков и виссона[2]
С краев украшали литые из золота кисти.

Царица была — как пантера суровых безлюдий,
С глазами — провалами темного, дикого счастья.
Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди,
На смуглых руках и ногах трепетали запястья.

И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни:
"Спешите, герои, несущие луки и пращи!
Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней,
Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще.

Спешите, герои, окованы медью и сталью,
Пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди,
И бешенством ваши нальются сердца и печалью
И будут красней виноградных пурпуровых гроздий.

---

[1] *Герольд* — глашатай.
[2] *Виссон* — дорогая белая или пурпурная материя.

Давно я ждала вас, могучие, грубые люди,
Мечтала, любуясь на зарево ваших становищ.
Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди,
Герольд протрубит — не щадите заветных сокровищ".

Серебряный рог, изукрашенный костью слоновьей,
На бронзовом блюде рабы протянули герольду,
Но варвары севера хмурили гордые брови,
Они вспоминали скитанья по снегу и по льду.

Они вспоминали холодное небо и дюны,
В зеленых трущобах веселые щебеты птичьи,
И царственно синие женские взоры... и струны,
Которыми скальды[1] гремели о женском величье.

Кипела, сверкала народом широкая площадь,
И южное небо раскрыло свой огненный веер,
Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь,
С надменной усмешкой войска повернул он на север.

ВОИН АГАМЕМНОНА[2]

Смутную душу мою тяготит
Странный и страшный вопрос:
Можно ли жить, если умер Атрид,
Умер на ложе из роз?

Всё, что нам снилось всегда и везде,
Наше желанье и страх,
Всё отражалось, как в чистой воде,
В этих спокойных очах.

В мышцах жила несказанная мощь,
Нега — в изгибе колен,
Был он прекрасен, как облако, — вождь
Золотоносных Микен.

---

[1] *Скальды* — норвежские и исландские средневековые поэты.

[2] *Агамемнон* — (сын царя Атрея, *Атрид*) — один из героев "Илиады", предводитель греков в Троянской войне, царь *Микен*; убит своей женой Клитемнестрой.

Что я? Обломок старинных обид,
Дротик, упавший в траву.
Умер водитель народов Атрид,
Я же, ничтожный, живу.

Манит прозрачность глубоких озер,
Смотрит с укором заря.
Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши царя!

АНДРОГИН[1]

Тебе никогда не устанем молиться,
Немыслимо дивное бог-существо.
Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться,
Мы верим, мы верим в твое торжество.

Подруга, я вижу, ты жертвуешь много,
Ты в жертву приносишь себя самое,
Ты тело даешь для великого бога,
Изысканно-нежное тело свое.

Спеши же, подруга! Как духи, нагими
Должны мы исполнить старинный обет,
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя
И, вздрогнув, услышать желанный ответ.

Я вижу, ты медлишь, смущаешься... Что же?!
Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,
Чтоб странный и светлый с безумного ложа,
Как феникс из пламени, встал Андрогин.

И воздух — как роза, и мы — как виденья,
То близок к отчизне своей пилигрим...
И верь! Не коснется до нас наслажденье
Бичом оскорбительно жгучим своим.

---

[1] *Андрогин (греч. миф.)* — существо, соединяющее в себе мужское и женское начало и давшее жизнь человеческому роду.

ОРЕЛ

Орел летел всё выше и вперед
К Престолу Сил сквозь звездные преддверья,
И был прекрасен царственный полет,
И лоснились коричневые перья.

Где жил он прежде? Может быть, в плену,
В оковах королевского зверинца,
Кричал, встречая девушку-весну,
Влюбленную в задумчивого принца.

Иль, может быть, в берлоге колдуна,
Когда глядел он в узкое оконце,
Его зачаровала вышина
И властно превратила сердце в солнце.

Не всё ль равно?! Играя и маня,
Лазурное вскрывалось совершенство,
И он летел три ночи и три дня
И умер, задохнувшись от блаженства.

Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья.
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья.

Лучами был пронизан небосвод,
Божественно холодными лучами,
Не зная тленья, он летел вперед,
Смотрел на звезды мертвыми очами.

Не раз в бездонность рушились миры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

ПОКОРНОСТЬ

Только усталый достоин молиться богам,
Только влюбленный — ступать по весенним
лугам!

На небе звезды, и тихая грусть на земле,
Тихое "пусть" прозвучало и тает во мгле.

Это — покорность! Приди и склонись надо мной,
Бледная дева под траурно черной фатой!

Край мой печален, затерян в болотной глуши,
Нету прекраснее края для скорбной души.

Вон порыжевшие кочки и мокрый овраг,
Я для него отрекаюсь от призрачных благ.

Что я: влюблен или просто смертельно устал?
Так хорошо, что мой взор, наконец, отблистал!

Тихо смотрю, как степная колышется зыбь,
Тихо внимаю, как плачет болотная выпь.

РЫЦАРЬ С ЦЕПЬЮ

Слышу гул и завыванье призывающих рогов,
И я снова конквистадор, покоритель городов.

Словно раб, я был закован, жил, униженный, в плену,
И забыл, неблагодарный, про могучую весну.

А она пришла, ступая над рубинами цветов,
И, ревнивая, разбила сталь мучительных оков.

Я опять иду по скалам, пью студеные струи;
Под дыханьем океана раны зажили мои.

Но вступая, обновленный, в неизвестную страну,
Ничего я не забуду, ничего не прокляну.

И, чтоб помнить каждый подвиг — и возвышенность,
и степь, —
Я к серебряному шлему прикую стальную цепь.

ХРИСТОС

Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.

"Здравствуй, пастырь! Рыбарь,
здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.

Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши!

Ведь не домик в Галилее[1]
Вам награда за труды, —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.

Солнце близится к притину[2],
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца".

Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.

---

[1] *Галилея* — родина Христа.
[2] *Притин* — зенит.

МАРКИЗ ДЕ КАРАБАС

С.Ауслендеру[1]

Весенний лес певуч и светел,
Черны и радостны поля.
Сегодня я впервые встретил
За старой ригой журавля.

Смотрю на тающую глыбу,
На отблеск розовых зарниц,
А умный кот мой ловит рыбу
И в сеть заманивает птиц.

Он знает след хорька и зайца,
Лазейки сквозь камыш к реке,
И так вкусны сорочьи яйца,
Им испеченные в песке.

Когда же роща тьму прикличет,
Туман уронит капли рос
И задремлю я, он мурлычет,
Уткнув мне в руку влажный нос:

"Мне сладко вам служить. За вас
Я смело миру брошу вызов.

Ведь вы маркиз де Карабас,
Потомок самых древних рас,
Средь всех отличенный маркизов.

И дичь в лесу, и сосны гор,
Богатых золотом и медью,
И нив желтеющих простор,
И рыба в глубине озер
Принадлежит вам по наследью.

Зачем же спите вы в норе,
Всегда причудливый ребенок,
Зачем не жить вам при дворе,
Не есть и пить на серебре
Средь попугаев и болонок!"

---

[1] Сергей Абрамович Ауслендер (1886 – 1943) – прозаик.

Мой добрый кот, мой кот ученый
Печальный подавляет вздох
И лапкой белой и точеной,
Сердясь, вычесывает блох.

Наутро снова я под ивой
(В ее корнях такой уют)
Рукой рассеянно-ленивой
Бросаю камни в дымный пруд.

Как тяжелы они, как метки,
Как по воде они скользят!
...И в каждой травке, в каждой ветке
Я мой встречаю маркизат[1].

ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ

С.Судейкину[2]

Воздух над нами чист и звонок,
В житницу вол отвез зерно,
Отданный повару, пал ягненок,
В медных ковшах играет вино.

Что же тоска нам сердце гложет,
Что мы пытаем бытие?
Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее.

Все мы знавали злое горе,
Бросили все заветный рай,
Все мы, товарищи, верим в море,
Можем отплыть в далекий Китай.

Только не думать! Будет счастье
В самом крикливом какаду,
Душу исполнит нам жгучей страстью
Смуглый ребенок в чайном саду.

---

[1] *Маркизат* — наследственное владение.
[2] Сергей Юрьевич Судейкин (1883 — 1946) — театральный художник (группа "Мир искусства").

В розовой пене встретим даль мы,
Нас испугает медный лев.
Что нам пригрезится в ночь у пальмы,
Как опьянят нас соки дерев?

Праздником будут те недели,
Что проведем на корабле...
Ты ли не опытен в пьяном деле,
Вечно румяный, метр Рабле?

Грузный, как бочки вин токайских,
Мудрость свою прикрой плащом,
Ты будешь пугалом дев китайских,
Бедра обвив зеленым плющом.

Будь капитаном. Просим! Просим!
Вместо весла вручаем жердь...
Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!

ЗАВЕЩАНИЕ

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле,
Не хочу я вернуться к отчизне,
К усыпляющей, мертвой земле.

Пусть высоко на розовой влаге
Вечереющих горных озер
Молодые и строгие маги
Кипарисовый сложат костер

И покорно, склоняясь, положат
На него мой закутанный труп,
Чтоб смотрел я с последнего ложа
С затаенной усмешкою губ.

И когда заревое чуть тронет
Темным золотом мраморный мол,
Пусть задумчивый факел уронит
Благовонье пылающих смол.

И свирель тишину опечалит,
И серебряный гонг заревет
В час, когда задрожит и отчалит
Огневеющий траурный плот.

Словно демон в лесу волхвований,
Снова вспыхнет мое бытие,
От мучительных красных лобзаний
Зашевелится тело мое.

И пока к пустоте или раю
Необорный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
Упоительной жизнью огня.

ОЗЕРА

Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора,
Но каждою ночью так ясно мне снятся
Большие ночные озера.

На траурно-черных волнах ненюфары[1],
Как думы мои, молчаливы,
И будят забытые, грустные чары
Серебряно-белые ивы.

Луна освещает изгибы дороги,
И видит пустынное поле,
Как я задыхаюсь в тяжелой тревоге
И пальцы ломаю до боли.

Я вспомню, и что-то должно появиться,
Как в сумрачной драме развязка:
Печальная девушка, белая птица
Иль странная, нежная сказка.

И новое солнце заблещет в тумане,
И будут стрекозами тени,
И гордые лебеди древних сказаний
На белые выйдут ступени.

[1] *Ненюфары* — водяные лилии.

Но мне не припомнить. Я, слабый, бескрылый,
Смотрю на ночные озера
И слышу, как волны лепечут без силы
Слова рокового укора.

Проснусь, и, как прежде, уверенны губы.
Далеко и чуждо ночное,
И так по-земному прекрасны и грубы
Минуты труда и покоя.

СВИДАНИЕ

Сегодня ты придешь ко мне,
Сегодня я пойму,
Зачем так странно при луне
Остаться одному.

Ты остановишься, бледна,
И тихо сбросишь плащ.
Не так ли полная луна
Встает из темных чащ?

И, околдованный луной,
Окованный тобой,
Я буду счастлив тишиной,
И мраком, и судьбой.

Так зверь безрадостных лесов,
Почуявший весну,
Внимает шороху часов
И смотрит на луну,

И тихо крадется в овраг
Будить ночные сны,
И согласует легкий шаг
С движением луны.

Как он, и я хочу молчать,
Тоскуя и любя,
С тревогой древнею встречать
Мою луну, тебя.

Проходит миг, ты не со мной,
И снова день и мрак,
Но, обожженная луной,
Душа хранит твой знак.

Соединяющий тела
Их разлучает вновь,
Но, как луна, всегда светла
Полночная любовь.

*

Ты помнишь дворец великанов,
В бассейне серебряных рыб,
Аллеи высоких платанов
И башни из каменных глыб?

Как конь золотистый у башен,
Играя, вставал на дыбы
И белый чепрак[1] был украшен
Узорами тонкой резьбы?

Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звезды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз?

Теперь, о скажи, не бледнея,
Теперь мы с тобою не те,
Быть может, сильней и смелее,
Но только чужие мечте.

У нас как точеные руки,
Красивы у нас имена,
Но мертвой, томительной скуке
Душа навсегда отдана.

И мы до сих пор не забыли,
Хоть нам и дано забывать,
То время, когда мы любили,
Когда мы умели летать.

[1] *Чепрак* — нарядная покрышка к седлу.

СТАРИНА

Вот парк с пустынными опушками,
Где сонных трав печальна зыбь,
Где поздно вечером с лягушками
Перекликаться любит выпь.

Вот дом, старинный и некрашеный,
В нем словно плавает туман,
В нем залы гулкие украшены
Изображением пейзан[1].

Мне суждено одну тоску нести,
Где дед раскладывал пасьянс
И где влюблялись тетки в юности
И танцевали контреданс[2].

И сердце мучится бездомное,
Что им владеет лишь одна
Такая скучная и томная,
Незолотая старина.

...Теперь бы кручи необорные,
Снега серебряных вершин
Да тучи сизые и черные
Над гулким грохотом лавин!

*

Он поклялся в строгом храме
Перед статуей Мадонны,
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны.

И забыл о тайном браке,
Всюду ласки расточая.
Ночью был зарезан в драке
И пришел к преддверьям рая.

---

[1] *Пейзане (фр.)* — крестьяне.
[2] *Контреданс* — бальный танец XIX в. (кадриль).

"Ты ль в моем не клялся храме, —
Прозвучала речь Мадонны, —
Что ты будешь верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны?

Отойди, не эти жатвы
Собирает Царь Небесный.
Кто нарушил слово клятвы,
Гибнет, Богу неизвестный".

Но, печальный и упрямый,
Он припал к ногам Мадонны:
"Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны".

ВОРОТА РАЯ

Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный вход,
Он не манит блеском и соблазнами,
И его не ведает народ.

Это дверь в стене, давно заброшенной,
Камни, мох и больше ничего,
Возле — нищий, словно гость непрошеный,
И ключи у пояса его.

Мимо едут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Светлого апостола Петра.

Все мечтают: "Там, у гроба Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе[1], у подножия,
Прозвенит обетованный час".

Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкий рог,
И апостол Петр, в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог.

[1] *Фавор* — гора в 9 км от Назарета, на которой произошло Преображение Христа.

ЗАВОДИ

Н.В.Анненской[1]

Солнце скрылось на западе
За полями обетованными,
И стали тихие заводи
Синими и благоуханными.

Сонно дрогнул камыш,
Пролетела летучая мышь,
Рыба плеснулась в омуте...
...И направились к дому те,
У кого есть дом
С голубыми ставнями,
С креслами давними
И круглым чайным столом.
Я один остался на воздухе
Смотреть на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя, господи.

КЕНГУРУ

Утро девушки

Сон меня сегодня не разнежил,
Я проснулась рано поутру
И пошла, вдыхая воздух свежий,
Посмотреть ручного кенгуру.

Он срывал пучки смолистых игол,
Глупый, для чего-то их жевал.
И смешно, смешно ко мне запрыгал,
И еще смешнее закричал.

---

[1] Наталья Владимировна Анненская (1885 – 1975) – сестра поэта, переводчика, критика истории и литературы С.В. фон Штейна (1882 – 1955), женатого на старшей сестре Анны Ахматовой Инне Андреевне Горенко (1883 – 1905); в 1905 – 1915 гг. – жена В.И. Анненского-Кривича (сына И.Ф. Анненского).

У него так неуклюжи ласки,
Но и я люблю ласкать его,
Чтоб его коричневые глазки
Мигом осветило торжество.

А потом, охвачена истомой,
Я мечтать уселась на скамью;
Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,
Тот один, которого люблю!

Мысли так отчетливо ложатся,
Словно тени листьев поутру.
Я хочу к кому-нибудь ласкаться,
Как ко мне ласкался кенгуру.

МАЭСТРО

Н.Л.Сверчкову[1]

В красном фраке с галунами,
Надушённый, встал маэстро,
Он рассыпал перед нами
Звуки легкие оркестра.

Звуки мчались и кричали,
Как виденья, как гиганты,
И метались в гулкой зале,
И роняли бриллианты.

К золотым сбегали рыбкам,
Что плескались там, в бассейне,
И по девичьим улыбкам
Плыли тиши и лилейней.

Созидали башни храмам
Голубеющего рая
И ласкали плечи дамам,
Улыбаясь и играя.

[1] Николай Леонидович Сверчков (1895 — 1919) — племянник поэта (Коля-маленький), с которым он в 1913 г. путешествовал по Абиссинии.

А потом с веселой дрожью,
Закружившись вкруг оркестра,
Тихо падали к подножью
Надушённого маэстро.

ДОН ЖУАН

Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу в стремя
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новые уста.

А в старости принять завет Христа,
Потупить взор, посыпать пеплом темя
И взять на грудь спасающее бремя
Тяжелого железного креста!

И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,
Испуганный в тиши своих путей,

Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом.

ПОПУГАЙ

Я — попугай с Антильских островов,
Но я живу в квадратной келье мага.
Вокруг — реторты, глобусы, бумага,
И кашель старика, и бой часов.

Пусть в час заклятий, в вихре голосов
И в блеске глаз, мерцающих, как шпага,
Ерошат крылья ужас и отвага
И я сражаюсь с призраками сов...

Пусть! Но едва под этот свод унылый
Войдет гадать о картах иль о милой
Распутник в раззолоченном плаще —

Мне грезится корабль в тиши залива,
Я вспоминаю солнце... и вотще
Стремлюсь забыть, что тайна некрасива.

ЧИТАТЕЛЬ КНИГ

Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознанья,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером... О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!

*

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.

Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро — комочек из пуха...
Даже птицы здесь не живут.

Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.

Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым, и нищим...
...Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.

ЭТО БЫЛО НЕ РАЗ

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве, глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный темной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи — окрашены кровью.

МОЛИТВА

Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,
Лицо сумасшедшее,
Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!

*

Рощи пальм и заросли алоэ,
Серебристо-матовый ручей,
Небо бесконечно голубое,
Небо, золотое от лучей.

И чего еще ты хочешь, сердце?
Разве счастье — сказка или ложь?
Для чего ж соблазнам иноверца
Ты себя покорно отдаешь?

Разве снова хочешь ты отравы,
Хочешь биться в огненном бреду,
Разве ты не властно жить как травы
В этом упоительном саду?

ВЕЧЕР

Еще один ненужный день,
Великолепный и ненужный!
Приди, ласкающая тень,
И душу смутную одень
Своею ризою жемчужной.

И ты пришла... Ты гонишь прочь
Зловещих птиц — мои печали.
О повелительная ночь,
Никто не в силах превозмочь
Победный шаг твоих сандалий!

От звезд слетает тишина,
Блестит луна — твое запястье,
И мне во сне опять дана
Обетованная страна —
Давно оплаканное счастье.

БЕАТРИЧЕ

1

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте[1]
Или сыграйте на флейте.

Дальше, докучные фавны[2],
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче,

Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе...
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?

---

[1] *Данте* Алигьери (1265 — 1321) — великий итальянский поэт, в его наследии есть цикл сонетов, обращенных к возлюбленной *Беатриче*.

[2] *Фавн (греч. миф.)* — бог плодородия, предсказатель; лесной дух; считается родоначальником песни. (То же — Пан.)

Жил беспокойный художник.
В мире лукавых обличий —
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Тайные думы поэта
В сердце его прихотливом
Стали потоками света,
Стали шумящим приливом.

Музы, в сонете-брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти[1].

2

В моих садах — цветы, в твоих — печаль.
Приди ко мне, прекрасною печалью
Заворожи, как дымчатой вуалью,
Моих садов мучительную даль.

Ты — лепесток иранских белых роз.
Войди сюда, в сады моих томлений,
Чтоб не было порывистых движений,
Чтоб музыка была пластичных поз,

Чтоб пронеслось с уступа на уступ
Задумчивое имя Беатриче
И чтоб не хор менад[2], а хор девичий
Пел красоту твоих печальных губ.

3

Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Темной пытки отчаянья, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,
Усмиренный, покорный, я твой навсегда.

---

[1] *Россетти Габриел* (1828 — 1882) — английский поэт и художник, создатель картин, изображающих Данте и Беатриче; переводчик Данте.

[2] *Менады (римск., греч. миф.)* — спутницы бога виноградарства Диониса (Вакха).

Слишком долго мы были затеряны в безднах.
Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
Нас крутили и били в объятьях железных
И бросали на скалы, где пряталась скорбь.

Но теперь, словно белые кони от битвы,
Улетают клочки грозовых облаков.
Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы
На хрустящий песок золотых островов.

4

Я не буду тебя проклинать,
Я печален печалью разлуки,
Но хочу и теперь целовать
Я твои уводящие руки.

Всё свершилось, о чем я мечтал
Еще мальчиком странно-влюбленным,
Я увидел блестящий кинжал
В этих милых руках обнаженным.

Ты подаришь мне смертную дрожь,
А не бледную дрожь сладострастья,
И меня навсегда уведешь
К островам совершенного счастья.

Возвращение Одиссея[1]

У БЕРЕГА

Сердце — улей, полный сотами,
Золотыми, несравненными!
Я борюсь с водоворотами
И клокочущими пенами.

Я трирему[2] с грудью острою
В буре бешеной измучаю,

[1] Цикл — вариации на темы песен "Одиссеи" Гомера.
[2] *Трирема* (трирера) — боевое гребное судно.

Но домчусь к родному острову
С грозовою сизой тучею.

Я войду в дома просторные,
Сердце встречами обрадую
И забуду годы черные,
Проведенные с Палладою[1].

Так! Но кто, подобный коршуну,
Над моей душою носится,
Словно манит к року горшему,
С новой кручи в бездну броситься?

В корабле раскрылись трещины,
Море взрыто ураганами.
Берега, что мне обещаны,
Исчезают за туманами.

И шепчу я, робко слушая
Вой над водною пустынею:
"Нет, союза не нарушу я
С необорною богинею".

ИЗБИЕНИЕ ЖЕНИХОВ

Только над городом месяц двурогий
Остро прорезал вечернюю мглу,
Встал Одиссей на высоком пороге,
В грудь Антиноя он бросил стрелу.

Чаша упала из рук Антиноя,
Очи окутал кровавый туман,
Легкая дрожь... и не стало героя,
Лучшего юноши греческих стран.

Схвачены ужасом, встали другие,
Робко хватаясь за щит и за меч.
Тщетно! Уверенны стрелы стальные,
Злобно насмешлива царская речь:

[1] Афина *Паллада (греч. миф.)* — богиня мудрости, покровительница Одиссея, поддержала греков в Троянской войне.

"Что же, князья знаменитой Итаки,
Что не спешите вы встретить царя,
Жертвенной кровью священные знаки
Запечатлеть у его алтаря?

Вы истребляли под грохот тимпанов[1]
Всё, что мне было богами дано:
Тучных быков, круторогих баранов,
С кипрских холмов золотое вино.

Льстивые речи шептать Пенелопе,
Ночью ласкать похотливых рабынь —
Слаще, чем биться под музыку копий,
Плавать над ужасом водных пустынь!

Что обо мне говорить вы могли бы?
"Он никогда не вернется домой,
Труп его съели безглазые рыбы
В самой бездонной пучине морской".

Как? Вы хотите платить за обиды?
Ваши дворцы предлагаете мне?
Я бы не принял и всей Атлантиды,
Всех городов, погребенных на дне!

Звонко поют окрыленные стрелы,
Мерно блестит угрожающий меч,
Все вы, князья, и трусливый, и смелый,
Белою грудой готовитесь лечь.

Вот Евримах, низкорослый и тучный,
Бледен... Бледнее он мраморных стен.
В ужасе бьется, как овод докучный,
Юною девой захваченный в плен.

Вот Антином... Разъяренные взгляды...
Сам он громаден и грузен, как слон.
Был бы он первым героем Эллады,
Если бы с нами отплыл в Илион.

Падают, падают тигры и лани,
И никогда не поднимутся вновь.

[1] *Тимпаны* — ударные музыкальные инструменты; литавры.

Что это? Брошены красные ткани
Или, дымясь, растекается кровь?

Ну, собирайся со мною в дорогу,
Юноша светлый, мой сын Телемах!
Надо служить беспощадному богу,
Богу Тревоги на черных путях.

Снова полюбим влекущую даль мы
И золотой от луны горизонт,
Снова увидим священные пальмы
И опененный, клокочущий Понт[1].

Пусть не запятнано ложе царицы —
Грешные к ней прикасались мечты.
Чайки белей и невинней зарницы
Темной и страшной ее красоты".

ОДИССЕЙ У ЛАЭРТА[2]

Еще один старинный долг,
Мой рок, еще один священный!
Я не убийца, я не волк,
Я чести сторож неизменный.

Лица морщинистого черт
В уме не стерли вихри жизни.
Тебя приветствую, Лаэрт,
В твоей задумчивой отчизне.

Смотрю: украсили сады
Холмов утесистые скаты.
Какие спелые плоды,
Как сладок запах свежей мяты!

Я слезы кротости пролью,
Я сердце к счастью приневолю,
Я земно кланяюсь ручью,
И бедной хижине, и полю.

---

[1] *Понт* Эвксинский — древнегреческое название Черного моря.
[2] *Лаэрт* — отец Одиссея.

И сладко мне, и больно мне
Сидеть с тобой на козьей шкуре.
Я верю — боги в тишине,
А не в смятенье и не в буре.

Но что мне розовых харит
Неисчислимые услады?!
Над морем встал алмазный щит
Богини воинов, Паллады.

Старик, спеша отсюда прочь,
Последний раз тебя целую
И снова ринусь грудью в ночь
Увидеть бездну грозовую.

Но в час, как Зевсовой рукой
Мой черный жребий будет вынут,
Когда предсмертною тоской
Я буду навзничь опрокинут,

Припомню я не день войны,
Не праздник в пламени и дыме,
Не ласки знойные жены,
Увы, делимые с другими, —

Тебя, твой миртовый венец,
Глаза безоблачнее неба
И с нежным именем "отец"
Сойду в обители Эреба[1].

КАПИТАНЫ

1

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

[1] *Эреб (греч. миф.)* — царство мертвых.

Быстрокрылых ведут капитаны —
Открыватели новых земель.
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Пусть безмолствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?

2

Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным морем следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс[1],
О ваших победах гремят в дифирамбе
Седые валы, набегая на мыс!

А вы, королевские псы, флибустьеры,
Хранившие золото в темном порту,
Скитальцы-арабы, искатели веры
И первые люди на первом плоту!

И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостылели страны отцов,
Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,
Внимая заветам седых мудрецов!

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
Заветные ваши шептать имена
И вдруг догадаться, какие наркозы
Когда-то рождала для вас глубина!

И кажется, в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.

С деревьев стекают душистые смолы,
Узорные листья лепечут: "Скорей,
Здесь реют червонного золота пчелы,
Здесь розы краснее, чем пурпур царей!"

И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица...
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

3

Только глянет сквозь утесы
Королевский старый форт,
Как веселые матросы
Поспешат в знакомый порт.

[1] *Улисс* — Одиссей.

Там, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.

Темнокожие мулатки
И гадают, и поют,
И несется запах сладкий
От готовящихся блюд.

А в заплеванных тавернах
От заката до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Хорошо по докам порта
И слоняться, и лежать,
И с солдатами из форта
Ночью драки затевать.

Иль у знатных иностранок
Дерзко выклянчить два су,
Продавать им обезьянок
С медным обручем в носу.

А потом бледнеть от злости,
Амулет зажать в полу,
Всё проигрывая в кости
На затоптанном полу.

Но смолкает зов дурмана,
Пьяных слов бессвязный лёт,
Только рупор капитана
Их к отплытью призовет.

4

Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.

Там волны с блесками и всплесками
Непрекращаемого танца,

И там летит скачками резкими
Корабль Летучего Голландца[1].

Ни риф, ни мель ему не встретятся,
Но, знак печали и несчастий,
Огни святого Эльма[2] светятся,
Усеяв борт его и снасти.

Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою.
Окровавленной, но железною
В штурвал вцепляется — другою.

Как смерть, бледны его товарищи,
У всех одна и та же дума.
Так смотрят трупы на пожарище —
Невыразимо и угрюмо.

И если в час прозрачный, утренний
Пловцы в морях его встречали,
Их вечно мучил голос внутренний
Слепым предвестием печали.

Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всех страшней и всех таинственней
Для смелых пенителей моря —

О том, что где-то есть окраина —
Туда, за тропик Козерога! —
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.

СОН АДАМА

От плясок и песен усталый Адам
Заснул, неразумный, у Древа Познанья.
Над ним ослепительных звезд трепетанья,
Лиловые тени скользят по лугам,

---

[1] Легендарный образ капитана, обреченного вечно носиться на своем корабле по бурному морю; встреча с ним — предвестие гибели.

[2] Природное явление — сияние над предметами.

И дух его сонный летит над лугами,
Внезапно настигнут зловещими снами.

Он видит пылающий ангельский меч,
Что жалит нещадно его и подругу
И гонит из рая в суровую вьюгу,
Где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч...
Как звери, должны они строить жилище,
Пращой и дубиной искать себе пищи.

Обитель труда и болезней... Но здесь
Впервые постиг он с подругой единство.
Подруге — блаженство и боль материнства
И заступ — ему, чтобы вскапывать весь.
Служеньем Иному прекрасны и грубы,
Нахмурены брови и стиснуты губы.

Вот новые люди... Очерчен их рот,
Их взоры не блещут, и смех их случаен.
За вепрями сильный охотится Каин,
И Авель сбирает маслины и мед,
Но воле не служат они патриаршей:
Пал младший и в ужасе кроется старший.

И многое видит смущенный Адам:
Он тонет душою в распутстве и неге,
Он ищет спасенья в надежном ковчеге
И строится снова, суров и упрям,
Медлительный пахарь, и воин, и всадник...
Но Бог охраняет его виноградник.

На бурный поток наложил он узду,
Бессонною мыслью постиг равновесье,
Как ястреб, врезается он в поднебесье,
У косной земли отнимает руду.
Покорны и тихи, хранят ему книги
Напевы поэтов и тайны религий.

И в ночь волхвований[1] на пышные мхи
К нему для объятий нисходят сильфиды,
К услугам его, отомщать за обиды,
И звездные духи, и духи стихий,

[1] *Волхвованье* — колдовство, чародейство.

И к солнечным скалам из грозной пучины
Влекут его челн голубые дельфины.

Он любит забавы опасной игры —
Искать в океанах безвестные страны,
Ступать безрассудно на волчьи поляны
И видеть равнину с высокой горы,
Где с узких тропинок срываются козы
И душные, красные клонятся розы.

Он любит и скрежет стального резца,
Дробящего глыбистый мрамор для статуй,
И девственный холод зари розоватой,
И нежный овал молодого лица, —
Когда на холсте под ударами кисти
Ложатся они и светлей и лучистей.

Устанет — и к небу возводит свой взор,
Слепой и кощунственный взор человека:
Там, Богом раскинут от века до века,
Мерцает над ним многозвездный шатер.
Святыми ночами, спокойный и строгий,
Он клонит колена и грезит о Боге.

Он новые мысли, как светлых гостей,
Всегда ожидает из розовой дали,
А с ними, как новые звезды, печали
Еще неизведанных дум и страстей,
Провалы в мечтаньях и ужас в искусстве,
Чтоб сердце болело от тяжких предчувствий.

И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцанье ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.

Так золото манит и радует взгляд,
Но в золоте темные силы таятся,
Они управляют рукой святотатца
И в братские кубки вливают свой яд.
Не в силах насытить, смеются и сучат,
И стонам и крикам неистовым учат.

Он борется с нею. Коварный, как змей,
Ее он опутал сетями соблазна.
Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно,
Вот Ева — святая, с печалью очей.
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

И он наконец беспредельно устал,
Устал и смеяться и плакать без цели;
Как лебеди, стаи веков пролетели,
Играли и пели, он их не слыхал;
Спокойный и строгий, на мраморных скалах,
Он молится Смерти, богине усталых:

"Узнай, Благодатная, волю мою:
На степи земные, на море земное,
На скорбное сердце мое заревое
Пролей смертоносную влагу свою.
Довольно бороться с безумьем и страхом.
Рожденный из праха, да буду я прахом!"

И, медленно рея багровым хвостом,
Помчалась к земле голубая комета.
И страшно Адаму, и больно от света,
И рвет ему мозг нескончаемый гром.
Вот огненный смерч перед ним закрутился,
Он дрогнул и крикнул... и вдруг пробудился.

Направо — сверкает и пенится Тигр,
Налево — зеленые воды Евфрата,
Долина серебряным блеском объята,
Тенистые отмели манят для игр,
И Ева кричит из весеннего сада:
"Ты спал и проснулся... Я рада, я рада!"

ЧУЖОЕ НЕБО

1912 г.

I

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Он мне шепчет: "Своевольный,
Что ты так уныл?
Иль о жизни прежней, вольной
Тайно загрустил?

Полно! Разве всплески, речи
Сумрачных морей
Стоят самой краткой встречи
С госпожой твоей?

Так ли с сердца бремя снимет
Голубой простор,
Как она, когда поднимет
На тебя свой взор?

Ты волен предаться гневу,
Коль она молчит,
Но покинуть королеву
Для вассала — стыд".

Так и ночью молчаливой,
Днем и поутру
Он стоит, красноречивый,
За свою сестру.

ДВЕ РОЗЫ

Перед воротами Эдема
Две розы пышно расцвели,
Но роза — страстности эмблема,
А страстность — детище земли.

Одна так нежно розовеет,
Как дева, милым смущена,
Другая, пурпурная, рдеет,
Огнем любви обожжена.

А обе на Пороге Знанья...
Ужель всевышний так судил
И тайну страстного сгоранья
К небесным тайнам приобщил?!

ДЕВУШКЕ

Мне не нравится томность
Ваших скрещенных рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.

Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листы.

Никогда ничему не поверите,
Прежде чем не сочтете, не смерите,
Никогда никуда не пойдете,
Коль на карте путей не найдете.

И вам чужд тот безумный охотник,
Что, взойдя на нагую скалу,
В пьяном счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу.

НА МОРЕ

Закат. Как змеи, волны гнутся,
Уже без гневных гребешков,
Но не бегут они коснуться
Непобедимых берегов.

И только издали добредший
Бурун, поверивший во мглу,

Внесется, буйный сумасшедший,
На глянцевитую скалу.

И лопнет с гиканьем и ревом,
Подбросив к небу пенный клок...
Но весел в море бирюзовом
С латинским парусом[1] челнок;

И загорелый кормчий ловок,
Дыша волной растущей мглы
И — от натянутых веревок —
Бодрящим запахом смолы.

СОМНЕНИЕ

Вот я один в вечерний тихий час,
Я буду думать лишь о вас, о вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: "она",
И вновь душа пьяна и смятена.

Я брошусь на скрипучую кровать,
Подушка жжет... нет, мне не спать, а ждать.

И, крадучись, я подойду к окну,
На дымный луг взгляну и на луну.

Вон там, у клумб, вы мне сказали "да",
О, это "да" со мною навсегда.

И вдруг сознанье бросит мне в ответ,
Что вас, покорной, не было и нет.

Что ваше "да", ваш трепет, у сосны
Ваш поцелуй — лишь бред весны и сны.

---

[1] *Латинский парус* — разновидность косого паруса (форма прямоугольного треугольника).

СОН

Утренняя болтовня

Вы сегодня так красивы,
Что вы видели во сне?
— Берег, ивы
При луне.

А еще? К ночному склону
Не приходят, не любя.
— Дездемону
И себя.

Вы глядите так несмело:
Кто там был за купой ив?
— Был Отелло,
Он красив.

Был ли он вас двух достоин?
Был ли он как лунный свет?
— Да, он воин
И поэт.

О какой же пел он ныне
Неоткрытой красоте?
— О пустыне
И мечте.

И вы слушали влюбленно,
Нежной грусти не тая?
— Дездемона,
Но не я.

ОТРЫВОК

Христос сказал: "Убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвездные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных..."
Пусть! Я приму! Но как же те, другие,

Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
Чьи имена звучат нам как призывы?
Искупят чем они свое величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым — великий Вольфганг Гете
И Байрон — площадным шутом... О ужас!

ТОТ ДРУГОЙ

Я жду, исполненный укоров:
Но не веселую жену
Для задушевных разговоров
О том, что было в старину.

И не любовницу: мне скучен
Прерывный шепот, томный взгляд,
И к упоеньям я приучен,
И к мукам горше во сто крат.

Я жду товарища, от Бога
В веках дарованного мне
За то, что я томился много
По вышине и тишине.

И как преступен он, суровый,
Коль вечность променял на час,
Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас.

ВЕЧНОЕ

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот.

Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души...
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!

Я душу обрету иную,
Всё, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.

И тот, кто шел со мною рядом
В громах и кроткой тишине,
Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине,

Учил молчать, учил бороться,
Всей древней мудрости земли, —
Положит посох, обернется
И скажет просто: "Мы пришли".

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Еще близ порта орали хором
Матросы, требуя вина,
А над Стамбулом и над Босфором
Сверкнула полная луна.

Сегодня ночью на дно залива
Швырнут неверную жену,
Жену, что слишком была красива
И походила на луну.

Она любила свои мечтанья,
Беседку в чаще камыша,
Старух гадальщиц, и их гаданья,
И всё, что не любил паша[1].

Отец печален, но понимает
И шепчет мужу: "Что ж, пора?"
Но глаз упрямых не поднимает,
Мечтает младшая сестра:

"Так много, много в глухих заливах
Лежит любовников других,
Сплетенных, томных и молчаливых...
Какое счастье быть средь них!"

---

[1] *Паша* — титул высшего должностного лица (гражданского или военного) в Османской империи.

СОВРЕМЕННОСТЬ

Я закрыл "Илиаду" и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило — фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового.

Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров,
Одиссеев во мгле пароходных контор,
Агамемнонов между трактирных маркеров[1].

Так, в далекой Сибири, где плачет пурга,
Застывают в серебряных льдах мастодонты,
Их глухая тоска там колышет снега,
Красной кровью — ведь их — зажжены
горизонты.

Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя...
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и
Хлоя[2].

СОНЕТ

Я, верно, болен: на сердце туман,
Мне скучно всё — и люди, и рассказы.
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.

Мне чудится (и это не обман),
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн... Я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.

Молчу, томлюсь, и отступают стены:
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит,

---

[1] *Маркер* — служащий при биллиарде; ведет стчет в игре.
[2] *Дафнис и Хлоя* — юные герои одноименного романа греческого писателя Лонга (II-III вв.).

И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами,
Мы дрались там... Ах да! я был убит.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

В узких вазах томленье умирающих лилий.
Запад был медно-красный. Вечер был голубой.
О Леконте де Лиле[1] мы с тобой говорили,
О холодном поэте мы грустили с тобой.

Мы не раз открывали шелковистые томы
И читали спокойно и шептали: "Не тот!"
Но тогда нам сверкнули все слова, все истомы,
Как кочевницы звезды, что восходят раз в год.

Так певучи и странны, в наших душах
воскресли
Рифмы древнего солнца, мир нежданно
большой,
И сквозь сумрак вечерний запрокинутый в
кресле
Резкий профиль креола с лебединой душой[2].

ОНА

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно
Лишь мерной музыке стиха,
Пред жизнью, дольней и отрадной,
Высокомерна и глуха.

---

[1] *Леконт де Лиль* Шарль (1818 – 1894) – французский поэт, глава литературной группы "Парнас".

[2] Леконт де Лиль был сыном плантатора и простолюдинки-креолки.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней всё счастие мое.

Когда я жажду своеволий
И смел и горд — я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

ЖИЗНЬ

С тусклым взором, с мертвым сердцем в море
броситься со скалы,
В час, когда, как знамя, в небе дымно-розовая заря,
Иль в темнице стать свободным, как свободны одни
орлы,
Иль найти покой нежданный в дымной хижине
дикаря!

Да, я понял. Символ жизни — не поэт, что творит
слова,
И не воин с твердым сердцем, не работник, ведущий
плуг,
— С иронической усмешкой царь-ребенок на шкуре
льва,
Забывающий игрушки между белых усталых рук.

ИЗ ЛОГОВА ЗМИЕВА[1]

Из логова Змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

[1] По преданию, название города связано с легендарным Кием, победившим змея.

Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.

Твержу ей: "Крещеному,
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору.
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору"[1].

Молчит — только ежится,
И всё ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над очастью[2], Богом заклятою.

II

ПОСВЯЩАЕТСЯ АННЕ АХМАТОВОЙ

Я ВЕРИЛ, Я ДУМАЛ...

Сергею Маковскому[3]

Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель;
Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.

Летящей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,

---

[1] *Лысая гора* — возвышенность в окрестностях старого Киева.
[2] *Очасть* — бездна.
[3] Сергей Константинович Маковский (1877 — 1962) — поэт и художественный критик.

Иду... Но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора.
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.

И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны — поэт, чародей,
Властитель вселенной, — тем будет страшнее
паденье.

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой... Висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрят без мыслей и снов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.

ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучило "вчера"
И не томили цепи долга;

И в море врезавшийся мыс,
И одинокий кипарис,
И благосклонного Гуссейна,
И медленный его рассказ
В часы, когда не видит глаз
Ни кипариса, ни бассейна.

И снова властвует Багдад[1],
И снова странствует Синдбад,
Вступает с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору[2].

---

[1] Далее имеются в виду сюжеты и образы сказок "1001 ночи".
[2] *Бассора* (Басра) — город на юге Ирака.

Купцам и прибыль и почет.
Но нет; не прибыль их влечет
В нагих степях, над бездной водной;
О тайна тайн, о птица Рок,
Не твой ли дальний островок
Им был звездою путеводной?

Ты уводила моряков
В пещеры джинов и волков,
Хранящих древнюю обиду,
И на висячие мосты
Сквозь темно-красные кусты
На пир к Гаруну-аль-Рашиду.

И я когда-то был твоим.
Я плыл, покорный пилигрим,
За жизнью благостной и мирной,
Чтоб повстречал меня Гуссейн
В садах, где розы и бассейн,
На берегу за старой Смирной[1].

Когда же... Боже, как чисты
И как мучительны мечты!
Ну что же, раньте сердце, раньте.
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте[2].

---

[1] *Смирна* — Измир (Турция).

[2] *Левант* — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция и др.).

РОДОС[1]

Памяти М.А.Кузьминой-Караваевой[2]

На полях опаленных Родоса
Камни стен и в цвету тополя
Видит зоркое сердце матроса
В тихий вечер с кормы корабля.

Там был рыцарский орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты.

Не стремиться ни к славе, ни к счастью,
Все равны перед взором Отца,
И не дать покорить самовластью
Посвященные небу сердца!

Но в долинах старинных поместий,
Посреди кипарисов и роз,
Говорить о Небесной Невесте[3],
Охраняющей нежный Родос!

Наше бремя — тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба.

Нам брести в смертоносных равнинах,
Чтоб узнать, где родилась река,
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака.

В каждом взгляде тоска без просвета,
В каждом вздохе томительный крик, —

---

[1] *Родос* — греческий остров, где в начале XIV в. обосновались иоанниты (госпитальеры) — члены духовно-рыцарского ордена.

[2] Мария Александровна Кузьмина-Караваева — двоюродная племянница Гумилева, умерла в 1911 г. в возрасте 22 лет.

[3] *Небесная Невеста* — Дева Мария; считалась покровительницей ордена иоаннитов.

Высыхать в глубине кабинета
Перед пыльными грудами книг.

Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевывать древний Родос.

Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята тоскуя в гнезде:
"Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие — где?"

ПАЛОМНИК

Ахмет-Оглы берет свою клюку
И покидает город многолюдный.
Вот он идет по рыхлому песку,
Его движенья медленны и трудны.
"Ахмет, Ахмет, тебе ли, старику,
Пускаться в путь неведомый и чудный?
Твое добро враги возьмут сполна,
Тебе изменит глупая жена".

"Я этой ночью слышал зов Аллаха,
Аллах сказал мне: "Встань, Ахмет-Оглы,
Забудь про всё, иди, не зная страха,
Иди, провозглашая мне хвалы;
Где рыжий вихрь вздымает горы праха,
Где носятся хохлатые орлы,
Где лошадь ржет над трупом бедуина,
Туда иди: там Мекка, там Медина"[1].

"Ахмет-Оглы, ты лжешь! Один пророк[2]
Внимал Аллаху, бледный, вдохновенный,
Послом от мира горя и тревог
Он улетал к обители нетленной,

[1] *Мекка, Медина* — города в Саудовской Аравии; в VII в. — места паломничества мусульман.
[2] Магомет (Мухаммед, ок. 570 — 632) — основатель ислама.

Но он был юн, прекрасен и высок,
И конь его был конь благословенный,
А ты... Мы не слыхали о после
Плешивом, на задерганном осле".

Не слушает, упрям старик суровый,
Идет, кряхтит, и злость в его смешке,
На нем халат изодранный, а новый,
Лиловый, шитый золотом, в мешке;
Под мышкой посох кованый, дубовый,
Удобный даже старческой руке,
Чалма лежит, как требуют шииты[1],
И десять лир в сандалии зашиты.

Вчера шакалы выли под горой
И чья-то тень текла неуловимо,
Сегодня усмехались меж собой
Три оборванца, проходивших мимо.
Но ни шайтан[2], ни вор, ни зверь лесной
Смиренного не тронут пилигрима,
И в ночь его, должно быть от луны,
Слетают удивительные сны.

И каждый вечер кажется, что вскоре
Окончится терновник и волчцы[3],
Как в золотом Багдаде, как в Бассоре
Поднимутся узорные дворцы
И Красное пылающее море
Пред ним свои расстелет багрецы,
Волшебство синих и зеленых мелей...
И так идет неделя за неделей.

Он очень стар, Ахмет, а путь суров,
Пронзительны полночные туманы,
Он скоро упадет без сил и слов,
Закутавшись, дрожа, в халат свой рваный,
В одном из трех восточных городов,
Где вечерами шепчутся платаны,

---

[1] *Шииты* — приверженцы шиизма, одного из двух (наряду с суннизмом) основных направлений в исламской религии.
[2] *Шайтан (араб. миф.)* — злой дух, сатана.
[3] *Волчец* — колючий сорняк.

Пока чернобородый муэдзин[1]
Поет стихи про гурию долин.

Он упадет, но дух его бессонный
Аллах недаром дивно окрылил,
Его, как мальчик, страстный и
влюбленный,
В свои объятья примет Азраил[2]
И поведет тропою, разрешенной
Для демонов, пророков и светил.
Всё, что свершить возможно человеку,
Он совершил — и он увидит Мекку.

ЖЕСТОКОЙ

"Пленительная, злая, неужели
Для вас смешно святое слово "друг"?
Вам хочется на вашем лунном теле
Следить касанья только женских рук.

Прикосновенья губ стыдливо-страстных
И взгляды глаз нетребующих, да?
Ужели до сих пор в мечтах неясных
Вас детский смех не мучил никогда?

Любовь мужчины — пламень Прометея
И требует и, требуя, дарит.
Пред ней душа, волнуясь и слабея,
Как красный куст горит и говорит.

Я вас люблю, забудьте сны!" — В молчанье
Она, чуть дрогнув, веки подняла,
И я услышал звонких лир бряцанье
И громовые клекоты орла.

---

[1] *Муэдзин* (муэззин) — служитель мечети, призывающий с минарета мусульман к молитве.
[2] *Азраил* — ангел смерти у мусульман.

Орел Сафо[1] у белого утеса
Торжественно парил, и красота
Бестенных виноградников Лесбоса
Замкнула богохульные уста.

ЛЮБОВЬ

Надменный, как юноша, лирик
Вошел, не стучася, в мой дом
И просто заметил, что в мире
Я должен грустить лишь о нем.

С капризной ужимкой захлопнул
Открытую книгу мою,
Туфлей лакированной топнул,
Едва проронив: "Не люблю".

Как смел он так пахнуть духами!
Так дерзко перстнями играть!
Как смел он засыпать цветами
Мой письменный стол и кровать!

Я из дому вышел со злостью,
Но он увязался за мной.
Стучит изумительной тростью
По звонким камням мостовой.

И стал я с тех пор сумасшедшим,
Не смею вернуться в свой дом
И всё говорю о пришедшем
Бесстыдным его языком.

БАЛЛАДА

Влюбленные, чья грусть, как облака,
И нежные, задумчивые леди,
Какой дорогой вас ведет тоска,
К какой еще неслыханной победе

[1] *Сафо* (Сапфо, VII — VI вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса; родилась и жила на о. *Лесбос*.

Над чарой вам назначенных наследий?
Где вашей вечной грусти и слезам
Целительный предложится бальзам?
Где сердце запылает, не сгорая?
В какой пустыне явится глазам,
Блеснет сиянье розового рая?

Вот я нашел, и песнь моя легка,
Как память о давно прошедшем бреде,
Могучая взяла меня рука,
Уже слетел к дрожащей Андромеде[1]
Персей в кольчуге из горящей меди.
Пускай вдали пылает лживый храм,
Где я теням молился и словам,
Привет тебе, о родина святая!
Влюбленные, пытайте рок, и вам
Блеснет сиянье розового рая.

В моей стране спокойная река,
В полях и рощах много сладкой снеди,
Там аист ловит змей у тростника
И в полдень, пьяны запахом камеди[2],
Кувыркаются рыжие медведи.
И в юном мире юноша Адам,
Я улыбаюсь птицам и плодам,
И знаю я, что вечером, играя,
Пройдет Христос-младенец по водам,
Блеснет сиянье розового рая.

Посылка[3]

Тебе, подруга, эту песнь отдам.
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты, нежа и карая,
Ты знала всё, ты знала, что и нам
Блеснет сиянье розового рая.

---

[1] *Андромеда (греч. миф.)* – дочь царя Эфиопии, была отдана им в жертву морскому чудовищу ради спасения страны; освобождена *Персеем*.

[2] *Камедь* (камеди, гумми) – древесный сок; сок растений.

[3] *Посылка* – заключительная строфа (из 4 – 5) канонической формы баллады в позднем средневековье.

УКРОТИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ

...Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки.

Анна Ахматова

Снова заученно смелой походкой
Я приближаюсь к заветным дверям.
Звери меня дожидаются там,
Пестрые звери за крепкой решеткой.

Будут рычать и пугаться бича,
Будут сегодня еще вероломней
Или покорней... не все ли равно мне,
Если я молод и кровь горяча?

Только... я вижу всё чаще и чаще
(Вижу́ и знаю, что это лишь бред)
Странного зверя, которого нет,
Он — золотой, шестикрылый, молчащий.

Долго и зорко следит он за мною
И за движеньями всеми моими,
Он никогда не играет с другими
И никогда не придет за едой.

Если мне смерть суждена на арене,
Смерть укротителя, знаю теперь:
Этот, незримый для публики, зверь
Первым мои перекусит колени.

Фанни, завял вами данный цветок,
Вы ж, как всегда, веселы на канате.
Зверь мой, он дремлет у вашей кровати,
Смотрит в глаза вам, как преданный дог.

ОТРАВЛЕННЫЙ

"Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?"

Отвернулась печальной и гибкой...
Что я знаю, то знаю давно,
Но я выпью, и выпью с улыбкой,
Всё налитое ею вино.

А потом, когда свечи потушат
И кошмары придут на постель,
Те кошмары, что медленно душат,
Я смертельный почувствую хмель...

И приду к ней, скажу: "Дорогая,
Видел я удивительный сон.
Ах, мне снилась равнина без края
И совсем золотой небосклон.

Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним,
Я уеду далеким, далеким,
Я не буду печальным и злым.

Мне из рая, прохладного рая,
Видны белые отсветы дня...
И мне сладко — не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня".

У КАМИНА

Наплывала тень... Догорал камин.
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

"Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,

И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы,

Но трусливых душ не было меж нас.
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река,

И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны..."

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

МАРГАРИТА[1]

Валентин говорит о сестре в кабаке,
Выхваляет ее ум и лицо,
А у Маргариты на левой руке
Появилось дорогое кольцо.

А у Маргариты спрятан ларец
Под окном в зеленом плюще.
Ей приносит так много серег и колец
Злой насмешник в красном плаще[2].

Хоть высоко окно в Маргаритин приют,
У насмешника лестница есть;

[1] Сюжет стихотворения связан с оперой Ш. Гуно "Фауст".
[2] Здесь: Мефистофель.

Пусть звонко на улицах студенты поют,
Прославляя Маргаритину честь,

Слишком ярки рубины и томен апрель,
Чтоб забыть обо всем, не знать ничего...
Марта гладит любовно полный кошель,
Только... серой несет от него.

Валентин, Валентин, позабудь свой позор.
Ах, чего не бывает в летнюю ночь!
Уж на что Риголетто[1] был горбат и хитер,
И над тем насмеялась родная дочь.

Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вотще!
Его нет... его выдумал девичий стыд;
Лишь насмешника в красном и дырявом
плаще
Ты найдешь... и ты будешь убит.

ОБОРВАНЕЦ

Я пойду по гулким шпалам.
Думать и следить
В небе желтом, в небе алом
Рельс бегущих нить.

В залы пасмурные станций
Забреду, дрожа.
Коль не сгонят оборванца
С криком сторожа.

А потом мечтой упрямой
Вспомню в сотый раз
Быстрый взгляд красивой дамы,
Севшей в первый класс[2].

Что ей, гордой и далекой,
Вся моя любовь?

---

[1] *Риголетто* — шут; персонаж одноименной оперы Д. Верди и драмы В. Гюго "Король забавляется".

[2] До 1917 г. вагоны пассажирских поездов по комфортабельности делились на три класса.

Но такой голубокой
Мне не видеть вновь!

Расскажу я тайну другу,
Подтруню над ним
В теплый час, когда по лугу
Вечер стелет дым.

И с улыбкой безобразной
Он ответит: "Ишь!
Начитался дряни разной,
Вот и говоришь".

ТУРКЕСТАНСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ

Под смутный говор, стройный гам,
Сквозь мерное сверканье балов
Так странно видеть по стенам
Высоких старых генералов.

Приветный голос, ясный взгляд,
Бровей седеющих изгибы
Нам ничего не говорят
О том, о чем сказать могли бы.

И кажется, что в вихре дней,
Среди сановников и денди,
Они забыли о своей
Благоухающей легенде.

Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы: "к оружью!",
Унылые солончаки
И поступь мерную верблюжью;

Поля неведомой земли,
И гибель роты несчастливой,
И Уч-Кудук, и Киндерли[1],
И русский флаг над белой Хивой[2].

---

[1] *Уч-Кудук, Киндерли* – среднеазиатские населенные пункты, связанные с завоевательными походами царской армии.

[2] Имеется в виду Хивинский поход 1873 г.

Забыли? Нет! Ведь каждый час
Каким-то случаем прилежным
Туманит блеск спокойных глаз,
Напоминает им о прежнем.

"Что с вами?" — "Так, нога болит".
— "Подагра?" — "Нет, сквозная рана".
И сразу сердце защемит
Тоска по солнцу Туркестана.

И мне сказали, что никто
Из этих старых ветеранов
Средь копий Греза и Ватто[1],
Средь мягких кресел и диванов,

Не скроет ветхую кровать,
Ему служившую в походах,
Чтоб вечно сердце волновать
Воспоминаньем о невзгодах.

Абиссинские песни

ВОЕННАЯ

Носороги топчут наше дурро[2],
Обезьяны обрывают смоквы[3],
Хуже обезьян и носорогов
Белые бродяги итальянцы.

Первый флаг забился над Харраром,
Это город раса Маконена,
Вслед за ним проснулся древний Аксум
И в Тигрэ заухали гиены[4].

---

[1] *Грез* Жан Батист (1725 — 1805); *Ватто* Антуан (1684 — 1721) — французские художники.

[2] *Дурро* — злак рода сорго; из него получают муку, крупу.

[3] *Смоква* — инжир.

[4] Описывается итало-эфиопская война 1895 — 1896 гг.; *Тигрэ* — название провинции; *Харрар (Харар), Аксум* (место коронации негусов) — города в Эфиопии.

По лесам, горам и плоскогорьям
Бегают свирепые убийцы.
Вы, перерывающие горло,
Свежей крови вы напьетесь нынче.

От куста к кусту переползайте,
Как ползут к своей добыче змеи,
Прыгайте стремительно с утесов —
Вас прыжкам учили леопарды.

Кто добудет в битве больше ружей,
Кто зарежет больше итальянцев,
Люди назовут того ашкером[1]
Самой белой лошади негуса[2].

ПЯТЬ БЫКОВ

Я служил пять лет у богача,
Я стерег в полях его коней,
И за то мне подарил богач
Пять быков, приученных к ярму.

Одного из них зарезал лев,
Я нашел в траве его следы, —
Надо лучше охранять крааль[3],
Надо на ночь зажигать костер.

А второй взбесился и бежал,
Звонкою ужаленный осой.
Я блуждал по зарослям пять дней,
Но нигде не мог его найти.

Двум другим подсыпал мой сосед
В пойло ядовитой белены,
И они валялись на земле
С высунутым синим языком.

---

[1] *Ашкер* (аскер) — солдат.
[2] *Негус* — тутул абиссинского царя.
[3] *Крааль* — кольцеобразное поселение у народов Южной и Восточной Африки; внутреннее пространство, служащее загоном для скота.

Заколол последнего я сам,
Чтобы было чем попировать
В час, когда пылал соседский дом
И вопил в нем связанный сосед.

НЕВОЛЬНИЧЬЯ

По утрам просыпаются птицы,
Выбегают в поле газели
И выходит из шатра европеец,
Размахивая длинным бичом.

Он садится под тенью пальмы,
Обвернув лицо зеленой вуалью,
Ставит рядом с собой бутылку виски
И хлещет ленящихся рабов.

Мы должны чистить его вещи,
Мы должны стеречь его мулов,
А вечером есть солонину,
Которая испортилась днем.

Слава нашему хозяину-европейцу!
У него такие дальнобойные ружья,
У него такая острая сабля
И так больно хлещущий бич!

Слава нашему хозяину-европейцу!
Он храбр, но он недогадлив:
У него такое нежное тело,
Его сладко будет пронзить ножом!

ЗАНЗИБАРСКИЕ ДЕВУШКИ

Раз услышал бедный абиссинец,
Что далеко, на севере, в Каире,
Занзибарские девушки пляшут
И любовь продают за деньги.

А ему давно надоели
Жирные женщины Габеша[1],
Хитрые и злые сомалийки
И грязные поденщицы Каффы[2].

И отправился бедный абиссинец
На своем единственном муле
Через горы, леса и степи
Далеко-далеко на север.

На него нападали воры,
Он убил четверых и скрылся,
А в густых лесах Сенаара[3]
Слон-отшельник растоптал его мула.

Двадцать раз обновлялся месяц,
Пока он дошел до Каира
И вспомнил, что у него нет денег,
И пошел назад той же дорогой.

III

Из Теофиля Готье[4]

НА БЕРЕГУ МОРЯ

Уронила луна из ручек —
Так рассеянна до сих пор —
Веер самых розовых тучек
На морской голубой ковер.

Наклонилась... достать мечтает
Серебристой тонкой рукой,
Но напрасно! Он уплывает,
Уносимый быстрой волной.

---

[1] *Габеш* (Габес) — город и порт в Тунисе.
[2] *Каффа* (Гомара) — провинция на юге Эфиопии.
[3] *Сенаар* — провинция между Белым и Голубым Нилом.
[4] *Теофиль Готье* (1811 — 1972) — французский поэт, литературный критик.

Я б достать его взялся... Смело,
Луна, я б прыгнул в поток,
Если б ты спуститься хотела
Иль подняться к тебе я мог.

ИСКУССТВО

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней –
Стих, мрамор иль металл.

О светлая подруга,
Стеснения гони,
Но туго
Котурны затяни.

Прочь легкие приемы,
Башмак по всем ногам,
Знакомый
И нищим, и богам.

Скульпто́р, не мни покорной
И вялой глины ком,
Упорно
Мечтая о другом.

С паросским иль каррарским[1]
Борись обломком ты,
Как с царским
Жилищем красоты.

Прекрасная темница!
Сквозь бронзу Сиракуз[2]
Глядится
Надменный облик муз.

---

[1] *Парос* (греч. о-в), *Каррара* (Италия) – места, где добывался особо ценимый скульпторами белый мрамор.

[2] *Сиракузы* – итальянская провинция и город в юго-восточной части о-ва Сицилия.

Рукою нежной брата
Очерченный уклон
Агата —
И выйдет Аполлон.

Художник! Акварели
Тебе не будет жаль!
В купели
Расплавь свою эмаль.

Твори сирен зеленых
С усмешкой на губах,
Склоненных
Чудовищ на гербах.

В трехъярусном сиянье
Мадонну и Христа,
Пыланье
Латинского креста.

Всё прах. Одно, ликуя,
Искусство не умрет.
Статуя
Переживет народ.

И на простой медали,
Открытой средь камней,
Видали
Неведомых царей.

И сами боги тленны,
Но стих не кончит петь,
Надменный,
Властительней, чем медь.

Чеканить, гнуть, бороться —
И зыбкий сон мечты
Вольется
В бессмертные черты.

АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ[1] ПЕСЕНКА

Ты хочешь, чтоб была я смелой?
Так не пугай, поэт, тогда
Моей любви, голубки белой
На небе розовом стыда.

Идет голубка по аллее,
И в каждом чудится ей враг.
Моя любовь еще нежнее,
Бежит, коль к ней направить шаг.

Немой, как статуя Гермеса[2],
Остановись, и вздрогнет бук, –
Смотри, к тебе из чащи леса
Уже летит крылатый друг.

И ты почувствуешь дыханье
Какой-то ласковой волны
И легких, легких крыл дрожанье
В сверканье сладком белизны.

И на плечо твое голубка
Слетит, уже приручена,
Чтобы из розового кубка
Вкусил ты сладкого вина.

РОНДОЛЛА[3]

Ребенок с видом герцогини,
Голубка, сокола страшней, –
Меня не любишь ты, но ныне
Я буду у твоих дверей.

---

[1] *Анакреонт* (Анакреон, ок. 570 – 478 до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик, прославляющий наслаждение радостями жизни.

[2] *Гермес* (греч. миф.) (рим. Меркурий) – по одной из многочисленных функций покровитель путников; изображался с жезлом и с крылышками; статуи Гермеса создали Лисипп, Праксителъ и др.

[3] *Рондолла* (от рондо) – стихотворная форма.

И там стоять я буду, струны
Щипля и в дерево стуча,
Пока внезапно лоб твой юный
Не озарит в окне свеча.

Я запрещу другим гитарам
Поблизости меня звенеть.
Твой переулок — мне: недаром
Я говорю другим: "Не сметь".

И я отрежу оба уха
Нахалу, если только он
Куплет свой звонко или глухо
Придет запеть под твой балкон.

Мой нож шевелится как пьяный.
Ну что ж? Кто любит красный цвет?
Кто хочет краски на кафтаны,
Гранатов алых для манжет?

Ах, крови в жилах слишком скучно,
Не вечно ж ей томиться там,
А ночь темна, а ночь беззвучна:
Спешите, трусы, по домам.

Вперед, задиры! Вы без страха,
И нет для вас запретных мест,
На ваших лбах моя наваха[1]
Запечатлеет рваный крест.

Пускай идут, один иль десять,
Рыча, как бешеные псы, —
Я в честь твою хочу повесить
Себе на пояс их носы.

И чрез канаву, что обычно
Марает шелк чулок твоих,
Я мост устрою — и отличный,
Из тел красавцев молодых.

Ах, если саван мне обещан
Из двух простынь твоих — войну

[1] *Наваха* — длинный складной нож (Испания).

Я подниму средь адских трещин,
Я нападу на Сатану.

Глухая дверь, окно слепое,
Ты можешь слышать голос мой:
Так бык пронзенный, землю роя,
Ревет, а вкруг собачий вой.

О, хоть бы гвоздь был в этой дверце,
Чтоб муки прекратить мои...
К чему мне жить, скрывая в сердце
Томленье злобы и любви?

ГИППОПОТАМ

Гиппопотам с огромным брюхом
Живет в яванских тростниках,
Где в каждой яме стонут глухо
Чудовища, как в страшных снах.

Свистит боа[1], скользя над кручей,
Тигр угрожающе рычит,
И буйвол фыркает могучий,
А он пасется или спит.

Ни стрел, ни острых ассагаев[2] —
Он не боится ничего,
И пули меткие сипаев[3]
Скользят по панцирю его.

И я в родне гиппопотама:
Одет в броню моих святынь,
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.

---

[1] *Боа* — удав.
[2] *Ассагай* — копье у африканцев.
[3] *Сипаи* — наемные солдаты в Индии (с середины XVIII в. до 1947 г.).

IV

Поэмы

БЛУДНЫЙ СЫН

1

Нет дома, подобного этому дому!
В нем книги и ладан, цветы и молитвы!
Но видишь, отец, я томлюсь по иному:
Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы.

На то ли, отец, я родился и вырос,
Красивый, могучий и полный здоровья,
Чтоб счастье побед заменил мне твой клирос
И гул изумленной толпы — славословья.

Я больше не мальчик, не верю обманам,
Надменность и кротость — два взмаха кадила,
И Петр не унизится пред Иоанном[1],
И лев перед агнцем, как в сне Даниила[2].

Позволь, да твое приумножу богатство,
Ты плачешь над грешным, а я негодую,
Мечом укреплю я свободу и братство,
Свирепых огнем научу поцелую.

Весь мир для меня открывается внове,
И я буду князем во имя Господне...
О счастье! О пенье бунтующей крови!
Отец, отпусти меня... завтра... сегодня!..

2

Как розов за портиком[3] край небосклона!
Как веселы в пламенном Тибре галеры!

---

[1] См. эпизод Библии, где Петр в присутствии Иоанна отрекся от Христа.

[2] В Книге пророка Даниила в роли спасителя выступает не ягненок (агнец), а ангел.

[3] *Портик* — крытая галерея на колоннах перед входом в здание.

Пускай приведут мне танцовщиц Сидона,
И Тира, и Смирны[1]... во имя Венеры,

Цветов и вина, дорогих благовоний...
Я праздную день мой в веселой столице!
Но где же друзья мои, Цинна, Петроний?

А, вот они, вот они, salve, amici![2]
Идите скорей, ваше ложе готово,
И розы прекрасны, как женские щеки.
Вы помните верно отцовское слово,
Я послан сюда был исправить пороки...

Но в мире, которым владеет превратность,
Постигнув философов римских науку,
Я вижу один лишь порок — неопрятность,
Одну добродетель — изящную скуку.

Петроний, ты морщишься? Будь я повешен,
Коль ты недоволен моим сиракузским[3]!
Ты, Цинна, смеешься? Не правда ль, потешен
Тот раб косоглазый и с черепом узким?

3

Я падаль сволок к тростникам отдаленным
И пойло для мулов поставил в их стойла;
Хозяин, я голоден, будь благосклонным,
Позволь, мне так хочется этого пойла.

За ригой есть куча лежалого сена,
Быки не едят его, лошади тоже.
Хозяин, твои я целую колена,
Позволь из него приготовить мне ложе.

Усталость — работнику помощь плохая,
И слепнут глаза от соленого пота...

---

[1] *Сидон, Тир* — финикийские города-государства; *Смирна* — Измир (город в Турции).
[2] Привет, друзья! (*лат.*).
[3] *Сиракузское* — вино из Сиракуз.

О, день, только день провести, отдыхая...
Хозяин, не бей! Укажи, где работа.

Ах, в рощах отца моего апельсины —
Как красное золото полднем бездонным.
Их рвут, их бросают в большие корзины
Красивые девушки с пеньем влюбленным.

И с думой о сыне там бодрствует ночи
Старик величавый с седой бородою,
Он грустен... Пойду и скажу ему: "Отче,
Я грешен пред Господом и пред тобою".

4

И в горечи сердце находит усладу:
Вот сад, но к нему подойти я не смею.
Я помню... мне было три года... по саду
Я взапуски бегал с лисицей моею.

Я вырос! Мой опыт мне дорого стоит,
Томили предчувствия, грызла потеря...
Но целое море печали не смоет
Из памяти этого первого зверя.

За садом возносятся гордые своды,
Вот дом — это дедов моих пепелище.
Он, кажется, вырос за долгие годы,
Пока я блуждал, то распутник, то нищий.

Там празднество: звонко грохочет посуда,
Дымятся тельцы и румянится тесто,
Сестра моя вышла, с ней девушка-чудо,
Вся в белом и с розами, словно невеста.

За ними отец... Что скажу, что отвечу,
Иль снова блуждать мне без мысли и цели?
Узнал... догадался... идет мне навстречу...
И праздник, и эта невеста... не мне ли?!

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Песнь первая

Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: "Всё покинь!"
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь,
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.

Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги,
Мерный скрип колес и вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир, такой святой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске.

Ах, в одном божественном движенье,
Косным, нам дано преображенье,
В нем и мы — не только отраженье,
В нем живым становится, кто жил...
О пути земные, сетью жил,
Розой вен вас Бог расположил!

И струится, и поет по венам
Радостно бушующая кровь.
Нет конца обетам и изменам,
Нет конца веселым переменам,
И отсталых подгоняют вновь
Плетью боли Голод и Любовь.

Дикий зверь бежит из пущей в пущи,
Краб ползет на берег при луне,
И блуждает ястреб в вышине, —
Голодом и Страстью всемогущей
Все больны — летящий и бегущий,
Плавающий в черной глубине.

Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли;
Но всего прекрасней жажда славы;

Для нее родятся короли,
В океанах ходят корабли.

Что же, Муза, нам с тобою мало,
Хоть нежны мы, быть всегда вдвоем!
Скорбь о высшем в голосе твоем:
Хочешь, мы с тобою уплывем
В страны нарда[1], золота, коралла
В первой каравелле Адмирала?

Видишь? Город... веянье знамен...
Светит солнце, яркое, как в детстве,
С колоколен раздается звон,
Провозвестник радости, не бедствий,
И над портом, словно тяжкий стон,
Слышен гул восторга и приветствий.

Где ж Колумб? Прохожий, укажи!
"В келье разбирает чертежи
С нашим старым приором[2] Хуаном;
В этих прежних картах столько лжи,
А шутить не должно с океаном
Даже самым смелым капитанам".

Сыплется в узорное окно
Золото и пурпур повечерий.
Словно в зачарованной пещере,
Сон и явь сливаются в одно.
Время тихо, как веретено
Феи — сказки дедовских поверий.

В дорогой кольчуге Христофор,
Старый приор в праздничном убранстве,
А за ними поднимает взор
Та, чей дух — крылатый метеор,
Та, чей мир в святом непостоянстве,
Чье названье — Муза Дальних Странствий.

---

[1] *Нард* — приятно пахнущее растение, из корневища которого добывали благовонное масло.
[2] *Приор* — настоятель монастыря; здесь: священник.

Странны и горды обрывки фраз:
"Путь на юг? Там был уже Диас[1]!.." –
"Да, но кто слыхал его рассказ?.." –
"...У страны Великого Могола[2]
Острова..." – "Но где же? Море голо.
Путь на юг..." – "Сеньор! А Марко Поло[3]?"

Вот взвился над старой башней флаг,
Постучали в дверь – условный знак, –
Но друзья не слышат. В жарком споре –
Что для них отлив, растущий в море!...
Столько не разобрано бумаг,
Столько не досказано историй!

Лишь когда в сады спустилась мгла,
Стало тихо и прохладно стало,
Муза тайный долг свой угадала,
Подошла и властно адмирала,
Как ребенка, к славе увела
От его рабочего стола.

Песнь вторая

Двадцать дней, как плыли каравеллы,
Встречных волн проламывая грудь;
Двадцать дней, как компасные стрелы
Вместо карт указывали путь
И как самый бодрый, самый смелый
Без тревожных снов не мог заснуть.

И никто на корабле, бегущем
К дивным странам, заповедным кущам,
Не дерзал подумать о грядущем –
В мыслях было пусто и темно.
Хмуро измеряли лотом дно,
Парусов чинили полотно.

---

[1] *Диас* Бартоломео (1450 – 1500) – знаменитый португальский мореплаватель; открыл Южную Америку.
[2] *Страна Великого Могола* – Индия.
[3] *Марко Поло* (ок. 1254 – 1324) – итальянский путешественник; в 1271 – 1275 гг. совершил путешествие в Китай.

Астролóги в вечер их отплытья
Высчитали звездные событья,
Их слова гласили: "Всё обман".
Ветер слева вспенил океан,
И пугали ужасом наитья
Темные пророчества гитан[1].

И напрасно с кафедры прелаты
Столько обещали им наград,
Обещали рыцарские латы,
Царства обещали вместо платы,
И про золотой индийский сад
Столько станц[2] гремело и баллад...

Всё прошло как сон! А в настоящем —
Смутное предчувствие беды,
Вместо славы — тяжкие труды
И под вечер — призраком горящим,
Злобно ждущим и жестоко мстящим, —
Солнце в бездне огненной воды.

Хозе помешался и сначала
С топором пошел на адмирала,
А потом забился в дальний трюм
И рыдал... Команда не внимала,
И несчастный помутневший ум
Был один во власти страшных дум.

По ночам садились на канаты
И шептались — а хотелось выть:
"Если долго вслед за солнцем плыть,
То беды кровавой не избыть:
Солнце в бездне мóется проклятой,
Солнцу ненавистен соглядатай!"

Но Колумб забыл бунтовщиков,
Он молчит о лени их и пьянстве;
Целый день на мостике готов,
Как влюбленный, грезить о пространстве;
В шуме волн он слышит сладкий зов,
Уверенья Музы Дальних Странствий.

---

[1] *Гитаны (исп.)* — цыганки.
[2] *Станцы* (стансы) — стихотворная форма (октава).

И пред ним смирялись моряки.
Так над кручей злобные быки
Топчутся, их гонит пастырь горный,
В их сердцах отчаянье тоски,
В их мозгу гнездится ужас черный,
Взор свиреп... и всё ж они покорны!

Но не в город и не под копье
Смуглым и жестоким пикадорам
Адмирал холодным гонит взором
Стадо оробелое свое,
А туда, в иное бытие,
К новым, лучшим травам и озерам.

Если светел мудрый астролог,
Увидав безвестную комету,
Если, новый отыскав цветок,
Мальчик под собой не чует ног,
Если выше счастья нет поэту,
Чем придать нежданный блеск сонету.

Если как подарок нам дана
Мыслей неоткрытых глубина,
Своего не знающая дна,
Старше солнц и вечно молодая...
Если смертный видит отсвет рая,
Только неустанно открывая, —

То Колумб светлее, чем жених
На пороге радостей ночных:
Чудо он духовным видит оком,
Целый мир, неведомый пророкам,
Что залег в пучинах голубых,
Там, где запад сходится с востоком.

Эти воды богом прокляты!
Этим страшным рифам нет названья!
Но навстречу жадного мечтанья
Уж плывут, плывут, как обещанья,
В море ветви, травы и цветы,
В небе птицы странной красоты.

Песнь третья

"Берег, берег!.." И чинивший знамя
Замер, прикусив зубами нить,
А державший голову руками
Сразу не посмел их опустить.
Вольный ветер веял парусами,
Каравеллы продолжали плыть.

Кто он был, тот первый, светлоокий,
Что, завидев с палубы высокой
В диком море остров одинокий,
Закричал, как коршуны кричат?
Старый кормщик, рыцарь иль пират,
Ныне он Колумбу — младший брат!

Что один исчислил по таблицам,
Чертежам и вьщветшим страницам,
Ночью угадал по вещим снам,
То увидел в яркий полдень сам
Тот, другой, подобный зорким птицам,
Только птицам, Муза, им и нам.

Словно дети, прыгают матросы,
Я так счастлив... нет, я не могу...
Вон журавль, смешной и длинноносый,
Полетел на белые утесы,
В синем небе описав дугу.
Вот и берег... Мы на берегу.

Престарелый, в полном облаченье,
Патер совершил богослуженье,
Он молил: "О боже, не покинь
Грешных нас..." Кругом звучало пенье.
Медленная медная латынь
Породнилась с шумами пустынь.

И казалось, эти же поляны
Нам не раз мерещились в бреду...
Так же на змеистые лианы
С криками взбегали обезьяны,
Цвел волчец; как грешники в аду,
Звонко верещали какаду...

Так же сладко лился в наши груди
Аромат невиданных цветов,
Каждый шаг был так же странно нов,
Те же выходили из кустов,
Улыбаясь и крича о чуде,
Красные, как медь, нагие люди.

Ах! не грезил с нами лишь один,
Лишь один хранил в душе тревогу,
Хоть сперва, склонясь, как паладин
Набожный, и он молился Богу,
Хоть теперь целует прах долин,
Стебли трав и пыльную дорогу.

Как у всех матросов, грудь нага,
В левом ухе медная серьга
И на смуглой шее нить коралла,
Но уста (их тайна так строга),
Взор, где мысль гореть не перестала,
Выдали нам, Муза, адмирала.

Он печален, этот человек,
По морю прошедший, как по суше,
Словно шашки, двигающий души
От родных селений, мирных нег?
К диким устьям безымянных рек...
Что он шепчет!.. Муза, слушай, слушай!

"Мой высокий подвиг я свершил,
Но томится дух, как в темном склепе.
О Великий Боже, Боже Сил,
Если я награду заслужил,
Вместо славы и великолепий
Дай позор мне, Вышний, дай мне цепи!

Крепкий мех так горд своим вином!
Но когда вина не стало в нем,
Пусть хозяин бросит жалкий ком!
Раковина я, но без жемчужин,
Я поток, который был запружен:
Спущенный, теперь уже не нужен".

Да! Пробудит в черни площадной
Только смех бессмысленно-тупой,

Злость в монахах, ненависть в дворянстве
Гений, обвиненный в шарлатанстве!
Как любовник, для игры иной
Он покинут Музой Дальних Странствий...

Я молчал, закрыв глаза плащом.
Как струна, натянутая туго,
Сердце билось быстро и упруго,
Как сквозь сон я слышал, что подруга
Мне шепнула: "Не скорби о том,
Кто Колумбом назван... Отойдем!"

V

Дон Жуан в Египте

Одноактная пьеса в стихах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дон Жуан.
Лепорелло.
Американец.
Американка (его дочь).

Место действия — внутренность древнего храма на берегу Нила.
Время действия — наши дни.

Дон Жуан

(выходя из глубокой расселины между плит)

Как странно! Где я? Что за бред?
Ага! Я ставлю три червонца[1],
Что наконец я вижу свет
Земного ласкового солнца.
Но что же делалось с тех пор,

[1] *Червонец* — здесь: золотая монета.

Как я смеялся с донной Анной
И грозный мертвый командор
Мне руку сжал с улыбкой странной?
Да! Мы слетели в глубину,
Как две подстреленные птицы,
И я увидел сатану
Сквозь обагренные зарницы.
Мой командор лежал как пень,
Его схватили, жгли, терзали,
Но ловко я укрылся в тень
И выждал срок в подземной зале.
Когда ж загрезил сатана
С больной усмешкой, с томным взором,
Я подниматься стал со дна
По лестницам и коридорам.
Потел от серного огня,
Дрожал во льдах, и мчались годы,
И духи ада от меня
Бросались в темные проходы.
Ну, добрый старый Дон Жуан,
Теперь по опыту ты видишь,
Что прав был древний шарлатан,
Сказавший — знай, иди и выйдешь!

(Поворачивается к выходу).

Теперь на волю! Через вал
Я вижу парус чьей-то лодки;
Я так давно не целовал
Румянца ни одной красотки.
Есть лодка, есть и человек,
А у него сестра, невеста...
Привет, земля, любовных нег
Очаровательное место!

Входит Лепорелло, в костюме туриста, за ним Американец и Американка.

Ба, Лепорелло!

Л е п о р е л л о

Господин!
Вы здесь? Какая цепь событий!
Как счастлив я...

Д о н Ж у а н

Ты не один?

Л е п о р е л л о

(тихо)

Ах да, пожалуйста, молчите.

Д о н Ж у а н

Молчать? Зачем?

Л е п о р е л л о

(тихо)

Я объясню
Вам всё...

(обнимая его, громко)

Ах, друг мой!

Д о н Ж у а н

Прочь, невежа!

Л е п о р е л л о

Ты гонишь?

Д о н Ж у а н

Ясно, что гоню.

Л е п о р е л л о

(Американцу и Американке)

Все тот же он, манеры те же.

Д о н Ж у а н

Манеры? Хам!

Л е п о р е л л о

(продолжая его обнимать, тихо)

Молчите! О!
Не бейте...

(громко)

Ха-ха-ха, не страшно!

(К Американцу и Американке).

Не изменила жизнь его,
Все тот же милый, бесшабашный!

Американец

(тихо, Лепорелло)

Но кто он? Как его зовут?

Дон Жуан

(тихо, ему же)

Скажи, они дружны с тобою?

Американка

(тихо, ему же, указывая на Дон Жуана)

Как он красив! Зачем он тут?

Лепорелло

(тихо, то тем, то другим)

Сейчас, сейчас, я все устрою.

(Громко, становясь в позу).

Я был его секретарем,
Мы с ним скитались по Мадриду
И по Севилье, но потом
Я потерял его из виду.
О праздной молодости дни!
Они бегут, они неверны.
Так гаснут вечером огни
В окне приветливой таверны.

Дон Жуан

Ну, не для всех.

Лепорелло

(примиряюще)

Да, для меня.
Я стал студентом Саламанки[1]
И позабыл день ото дня
Вино и женские приманки.
Пил воду, ел засохший хлеб,

[1] Имеется в виду университет в испанском г. Саламанка (основан в 1259 г.; пользовался европейской известностью).

Спал на соломенном матраце,
Бывало, месяцами слеп
От едкой пыли диссертаций.
Мне повезло не так, как тем,
Каким-нибудь там Дон Жуанам!
Сперва профессором, затем
Я вскоре избран был деканом.

Американец

(почтительно)

Мы знаем, да.

Лепорелло

К студентам строг
И враг беспочвенных утопий,
Я, господа, египтолог,
Известнейший во всей Европе.

Американка

Так говорилось на балах
В Чикаго.

Дон Жуан

Стоило трудиться!

Лепорелло

И вот, когда я на ногах,
Я наконец могу жениться.

(Представляя Американку.)

Мисс Покэр[1], грации пример,
Она моя невеста, благо
Вот мистер Покэр, мильонер,
Торговец свиньями в Чикаго.

(Представляя Дон Жуана.)

Друзья мои, вот Дон Жуан,
Друг юности моей беспечной,
Он иногда бывает пьян
И малый грубый... но сердечный.

---

[1] По-видимому, от названия карточной игры — *покер*.

Американец

Что ж, мистер Дон Жуан, вы нас,
Сойдясь, полюбите наверно...
Скажите мне, который час
На ваших, у меня неверны.

(Указывая на Американку).

Моя единственная дочь,
Мать умерла, она на воле,
Но с нею я; она точь-в-точь
Моя скончавшаяся Полли.
Теперь уехал я на юг,
Но все не позабыть утраты!
Скажите мне, мой юный друг,
Ужель еще вы не женаты?

Дон Жуан

(подходя к Американке)

Сеньора!

Американка

(поправляя его)

Мисс.

Дон Жуан

(настаивая)

Сеньора!

Американка

(по-прежнему)

Мисс!
Я не желаю быть сеньорой![1]

Дон Жуан

Сойдемте три ступеньки вниз.

Американка

Вы Дон Жуан? Ну, тот, который?..

---

[1] *Сеньора* — обращение к замужней женщине, "мисс" — к незамужней.

Дон Жуан

Да, тот, который!

Американка

И с тех пор
Вы в мире первый раз явились?

Дон Жуан

Да, в первый... старый командор
Вцепился крепко... Вы мне снились.

Американка

Не верю вам.

Дон Жуан

(мечтательно)

Земля во мгле;
Задумчивое устье Нила,
И я плыву на корабле,
Где вы сидите у ветрила.
Иль чуть заметный свет зари,
Застывший город, звон фонтана,
И вы мне шепчете: — Смотри,
Вот здесь могила Дон Жуана.

Лепорелло

(подозрительно)

О чем здесь речь?

Дон Жуан

О том, что ты
Давно оставил.

Американка

Не мешайте.

Американец

(рассматривая памятник)

Какие странные листы!

Лепорелло отходит к нему.

Американка

(Дон Жуану)

Как верить вам? Но продолжайте.

Дон Жуан

Я лгу? Не верите вы мне?
Но знаю я, что ваши плечи —
Я целовал уж их во сне —
Нежны, как восковые свечи.
А эта грудь! Ее хранят
Теперь завистливые ткани,
На ней есть синих жилок ряд
Капризных, милых очертаний.
Поверьте! Мне б хотелось лгать
И быть холодным, быть коварным,
Но только б, только б не страдать
Пред вашим взглядом лучезарным.

Американка

И мне так родственен ваш вид:
Я все бывала на Моцáрте[1]
И любовалась на Мадрид
По старенькой учебной карте.

Американец

(Лепорелло, указывая на саркофаг)

Скажите, мой ученый друг,
Кто здесь положен?

Лепорелло

Сети Третий[2].

(Про себя, глядя на Дон Жуана и Американку.)

Они ну прямо вон из рук!

Американец

Как вы его назвали?

Лепорелло

Сети.

---

[1] Подразумевается опера Моцарта "Дон Жуан".

[2] Намек на невежество Лепорелло: реально существовали Сети Первый и Сети Второй.

Американец

Гм, гм!

Лепорелло

(хочет отойти)

Сейчас.

Американец

Скажите, как
Вы знаете его названье?

Лепорелло

Ах, Боже мой, а этот знак!
Забавно было бы незнанье.

Американец

Да, да, еще бы! Ну, а тот,
На пьедестале с мордой мопса?

Лепорелло

А, это сын луны, бог Тот
И, кажется, времен Хеопса.
Конечно! Сделан лоб горбом,
А темя плоским и покатым.
Таких не делали потом,
Хотя б при Псаметихе пятом.
А вот четвертый Псаметих[1],
На Сети Первого похожий...
А вот еще...

(Отходит с Американцем.)

Дон Жуан

(Американке)

Он ваш жених?

Американка

Кто?

Дон Жуан

Лепорелло.

---

[1] *Псаметих пятый, четвертый* — вымышленные имена, как Сети Третий.

Американка

Ну так что же?
С приданым я, он знаменит
Как самый знающий ученый,
Он никого не удивит,
Причесанный и прирученный.
Пусть для него я молода,
Но сила, юность и отвага
Не посещают никогда
Салонов нашего Чикаго.

Дон Жуан

Но он лакей, всегда лакей,
В сукне ливрейного кафтана
И в гордой мантии своей,
В пурпурной мантии декана.
Страшась чего-нибудь не знать,
Грызясь за почести с другими,
Как пес, он должен защищать
Годами созданное имя.
К природе глух и к жизни слеп,
Моль библиотек позабытых,
Он заключит вас в темный склеп
Крикливых слов и чувств изжитых.
Нет, есть огонь у вас в крови,
Вы перемените причуду...

Американка

Не говорите о любви!

Дон Жуан

Не говорить? Нет, буду, буду!
Таких, как вы, на свете нет,
Вы — ангел неги и печали...

Американка

Не говорите так, нет, нет.

Пауза.

Ну вот, уж вы и замолчали?

Дон Жуан

(схватывая ее за руку)

Я вас люблю!

Лепорелло

(Американцу, косясь на Дон Жуана)

Пройдем сюда.
Я вам скажу про Дон Жуана;
Мне кажется, на путь труда
Он вступит поздно или рано.
Охотно водится с ним знать,
Как свой он принят в высшем свете.
Ну почему б ему не стать
Адъюнктом[1] в университете?
Но он едва ль не слишком жив,
Чтоб быть в святилище науки.
Так мысль о высшем отложив,
Дадим ему мы дело в руки.
Быть может, пригодится он
Как управляющий в саваннах,
Всегда верхом, вооружен,
В разъездах, в стычках беспрестанных.
Окажется полезен вам
И может сделать положенье.
Ему я это передам
И как прямое предложенье.

Американец бормочет что-то несвязное.

Дон Жуан

(Американке)

Я вас люблю! Уйдем! Уйдем!
Вы знаете ль, как пахнут розы,
Когда их нюхают вдвоем
И в небесах звенят стрекозы.
Вы знаете ль, как странен луг,
Как призрачен туман молочный,
Когда в него вас вводит друг
Для наслаждений, в час урочный.
Победоносная любовь
Нас коронует без короны
И превращает в пламя кровь
И в песню — лепет исступленный
Мой конь — удача из удач,
Он белоснежный, величавый,

[1] *Адъюнкт* — помощник заведующего кафедрой.

Когда пускается он вскачь,
То гул копыт зовется славой.
Я был в аду, я Сатане
Смотрел в лицо, и вновь я в мире,
И стало только слаще мне,
Мои глаза открылись шире.
И вот теперь я встретил вас,
Единственную во Вселенной,
Чтоб стали вы — о сладкий час! —
Моей царицею и пленной.
Я опьянен, я вас люблю,
Так только боги были пьяны,
Как будет сладко кораблю
Нас уносить в иные страны.
Идем, идем!

Американка

Я не хочу!..
Нет, я хочу! О милый, милый!

Дон Жуан

(обнимая ее)

Тебя я счастью научу
И над твоей умру могилой.

Уходят.

Лепорелло

(оглядываясь)

Но где мисс Покэр, где Жуан?

Американец

Наверное, в соседней зале.

Лепорелло

(хватаясь за голову)

Ах, я разиня, ах болван,
Все прозевал, они бежали.

Американец

Куда?

Лепорелло

Да, верно, на лужок
Иль на тенистую опушку.
Тю-тю! Теперь уж пастушок
Ласкает милую пастушку.

Американец

Да вы с ума сошли!

Лепорелло

Ничуть!

Американец

Идем.

Лепорелло

А шпаги не хотите ль?
Ведь Дон Жуан не кто-нибудь,
Он сам севильский соблазнитель.

Американец

Но я их видел здесь, минут
Ну пять тому назад, не боле...

(Закрывает лицо руками.)

Когда настанет Страшный Суд,
Что я моей отвечу Полли?
Идем, идем скорей.

Лепорелло

Ей-ей,
Я твердо помню: Лепорелло,
Желаешь — спи, желаешь — пей,
А не в свое не суйся дело.
И был я счастлив, сыт и пьян,
И умирать казалось рано...
О, как хотел бы я, декан,
Опять служить у Дон Жуана!

КОЛЧАН

1916 г.

Татиане Викторовне Адамович[1]

ПАМЯТИ АННЕНСКОГО

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний — слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Еврипида[2]
Слепил горящие глаза.

---

[1] Татьяна Викторовна Адамович (1892 — 1970) — педагог, сестра поэта и критика Г.В. Адамовича.

[2] И.Ф. Анненский переводил трагедии древнегреческого драматурга; по воспоминаниям мемуаристов, в его кабинете стоял большой бюст Еврипида.

...Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей.

Там вечером и страшно и красиво,
В тумане светит мрамор плит
И женщина, как серна боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.

Она глядит, она поет и плачет,
И снова плачет и поет,
Не понимая, что всё это значит,
Но только чувствуя — не тот.

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села.

ВОЙНА

М.М.Чичагову[1]

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А "ура" вдали — как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

[1] Михаил Михайлович Чичагов — очевидно, армейский сослуживец Гумилева; он же "поручик Ч." в "Записках кавалериста".

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: "Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!"

ВЕНЕЦИЯ[1]

Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три.
Сердце ночами бесстрашней.
Путник, молчи и смотри.

Город, как голос наяды,
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорней аркады,
Воды застыли стеклом.

Верно, скрывают колдуний
Завесы черных гондол
Там, где огни на лагуне —
Тысячи огненных пчел.

Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.

А на высотах собора,
Где от мозаики блеск,
Чу, голубиного хора
Вздох, воркованье и плеск.

[1] В стихотворении изображена площадь Пьяцетта с собором Святого Марка.

Может быть, это лишь шутка,
Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг... никого, ничего?

Крикнул. Его не слыхали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских зеркал.

СТАРЫЕ УСАДЬБЫ

Дома косые, двухэтажные
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.

В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси, —
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

Порою в полдень льется по лесу
Неясный гул, невнятный крик,
И угадать нельзя по голосу,
То человек иль лесовик.

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, — то значит — по течению
В село икона приплыла.

Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...
Они ж покорно верят знаменьям,
Любя свое, живя своим.

Вот, гордый новою поддевкою,
Идет в гостиную сосед.
Поникнув русою головкою,
С ним дочка — восемнадцать лет.

"Моя Наташа бесприданница,
Но не отдам за бедняка".
И ясный взор ее туманится,
Дрожа, сжимается рука.

"Отец не хочет... нам со свадьбою
Опять придется погодить".
Да что! В пруду перед усадьбою
Русалкам бледным плохо ль жить?

В часы весеннего томления
И пляски белых облаков
Бывают головокружения
У девушек и стариков.

Но старикам — золотоглавые,
Святые, белые скиты,
А девушкам — одни лукавые
Увещеванья пустоты.

О Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?

И не расстаться с амулетами.
Фортуна катит колесо.
На полке, рядом с пистолетами,
Барон Брамбеус[1] и Руссо.

---

[1] Имеются в виду "Фантастические повести и рассказы *"барона Брамбеуса"* (1840); псевдоним О.И. Сенковского (1800 — 1858).

ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО[1]

В стране, где гиппогриф[2] веселый льва
Крылатого зовет играть в лазури,
Где выпускает ночь из рукава
Хрустальных нимф и венценосных фурий;

В стране, где тихи гробы мертвецов,
Но где жива их воля, власть и сила,
Средь многих знаменитых мастеров,
Ах, одного лишь сердце полюбило.

Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал Буонарроти[3],
Да Винчи[4], колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.

Но Рафаэль не греет, а слепит,
В Буонарроти страшно совершенство,
И хмель да Винчи душу замутит,
Ту душу, что поверила в блаженство.

На Фьезоле[5], средь тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке[6], —

На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не всё умел он рисовать,
Но то, что рисовал он, — совершенно.

---

[1] *Фра Беато Анджелико* (ок. 1400 – 1455) – флорентийский живописец, монах-доминиканец.

[2] *Гиппогриф* – мифологическое существо (полулошадь-полугриф).

[3] *Рафаэль* Санти (1483 – 1520) – великий итальянский живописец, архитектор; Микеланджело *Буонарроти* (1475 – 1564) – великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

[4] Леонардо *да Винчи* (1452 – 1519) – выдающийся итальянский живописец, скульптор, зодчий, ученый, инженер-изобретатель.

[5] *Фьезоле* – город в Тоскане (Италия), расположенный на крутом холме; Фра Анджелико жил в монастыре Сан-Доменико близ Фьезоле.

[6] *Рака* – каменный гроб-усыпальница; хранилище мощей.

Вот скалы, рощи, рыцарь на коне...
Куда он едет, в церковь иль к невесте?
Горит заря на городской стене,
Идут стада по улицам предместий;

Мария держит Сына Своего,
Кудрявого, с румянцем благородным.
Такие дети в ночь под Рождество,
Наверно, снятся женщинам бесплодным.

И так нестрашен связанным святым
Палач, в рубашку синюю одетый.
Им хорошо под нимбом золотым:
И здесь есть свет, и там — иные светы.

А краски, краски — ярки и чисты.
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.

И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал, и состязался с ним
В его искусстве дивном... но напрасно.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей — мгновенна и убога.
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

РАЗГОВОР

Георгию Иванову[1]

Когда зеленый луч, последний на закате,
Блеснет и скроется, мы не узнаем где,
Тогда встает душа и бродит, как лунатик,
В садах заброшенных, в безлюдье площадей.

[1] Георгий Владимирович Ива́нов (1894 – 1958) — поэт, участник "Цеха поэтов".

Весь мир теперь ее, ни ангелам, ни птицам
Не позавидует она в тиши аллей.
А тело тащится вослед и тайно злится,
Угрюмо жалуясь на боль свою земле.

"Как хорошо теперь сидеть в кафе счастливом.
Где над людской толпой потрескивает газ,
И слушать, светлое потягивая пиво,
Как женщина поет "La petite Tonkinoise"[1]

Уж карты весело порхают над столами,
Целят скучающих, миря их с бытием.
Ты знаешь, я люблю горячими руками
Касаться золота, когда оно мое.

Подумай, каково мне с этой бесноватой,
Воображаемым внимая голосам,
Смотреть на мелочь звезд; ведь очень небогато
И просто разубрал Всевышний небеса".

Земля по временам сочувственно взыхает,
И пахнет смолами, и пылью, и травой,
И нудно думает, но все-таки не знает,
Как усмирить души мятежной торжество.

"Вернись в меня, дитя, стань снова грязным илом,
Там, в глубине болот, холодным, скользким дном.
Ты можешь выбирать между Невой и Нилом
Отдохновению благоприятный дом.

Пускай ушей и глаз навек сомкнутся двери,
И пусть истлеет мозг, предавшийся врагу,
А после станешь ты растеньем или зверем...
Знай, úначе помочь тебе я не могу".

И всё идет душа, горда своим уделом,
К несуществующим, но золотым полям[2],
И всё спешит за ней, изнемогая, тело,
И пахнет тлением заманчиво земля.

[1] "Крошка из Тонкина" *(фр.)*.

[2] *Золотые поля* — то же, что Елисейские поля; в античной мифологии — светлая часть загробного мира, где обитают души праведников.

РИМ

Волчица с пастью кровавой[1]
На белом, белом столбе,
Тебе, увенчанной славой,
По праву привет тебе.

С тобой младенцы, два брата,
К сосцам стремятся припасть.
Они не люди — волчата,
У них звериная масть.

Не правда ль, ты их любила,
Как маленьких, встарь, когда,
Рыча от бранного пыла,
Сжигали они города?

Когда же в царство покоя
Они умчались, как вздох,
Ты, долго и страшно воя,
Могилу рыла для трех.

Волчица, твой город тот же,
У той же быстрой реки.
Что мрамор высоких лоджий,
Колонн его завитки,

И лик мадонн вдохновенный,
И храм святого Петра,
Покуда здесь неизменно
Зияет твоя нора,

Покуда жесткие травы
Растут из дряхлых камней
И смотрит месяц кровавый
Железных римских ночей?!

---

[1] *"Капитолийская волчица"* — памятник легендарным основателям Рима — Ромулу и Рему (V в. до н. э.).

И город цезарей дивных,
Святых и великих пап,
Он крепок следом призывных,
Косматых звериных лап.

1912
Италия

ПЯТИСТОПНЫЕ ЯМБЫ

М.Л.Лозинскому[1]

Я помню ночь, как черную наяду,
В морях под знаком Южного Креста.
Я плыл на юг, могучих волн громаду
Взрывали мощно лопасти винта,
И встречные суда, очей отраду,
Брала почти мгновенно темнота.

О, как я их жалел, как было странно
Мне думать, что они идут назад
И не остались в бухте необманной,
Что Дон Жуан не встретил донны Анны,
Что гор алмазных не нашел Синдбад
И Вечный Жид несчастней во сто крат.

Но проходили месяцы... Обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер — мне нравились их пятна —
И то, что прежде было непонятно, —
Презренье к миру и усталость снов.

Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась... И ты,

[1] Михаил Леонидович Лозинский (1886 – 1955) – поэт, переводчик.

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль[1].
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчивая, строго:
"Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя".

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.

То лето было грозами полно,
Жарой и духотою небывалой,
Такой, что сразу делалось темно
И сердце биться вдруг переставало.
В полях колосья сыпали зерно,
И солнце даже в полдень было ало.

И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: "Буди, буди"[2].

---

[1] *Наль* — герой индийского эпоса; проиграв в кости царство, нищим бродил по пустыне со своей женой *Дамаянти*.

[2] "*Буди, буди*" — то же, что "аминь, аминь," ("да будет истинно, верно").

Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило:
"Скорей вперед! Могила, так могила!
Нам ложем будет свежая трава,
А пологом — зеленая листва,
Союзником — архангельская сила".

Так сладко эта песнь лилась, маня,
Что я пошел, и приняли меня,
И дали мне винтовку и коня,
И поле, полное врагов могучих,
Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
И небо в молнийных и рдяных тучах.

И счастием душа обожжена
С тех самых пор; веселием полна,
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.

Честнейшую честнейших херувим,
Славнейшую славнейших серафим,
Земных надежд небесное Свершенье
Она величит каждое мгновенье
И чувствует к простым словам своим
Вниманье, милость и благоволенье.

Есть на море пустынном монастырь
Из камня белого, золотоглавый,
Он озарен немеркнущею славой.
Туда б уйти, покинув мир лукавый,
Смотреть на ширь воды и неба ширь...
В тот золотой и белый монастырь!

1912–1915

ПИЗА

Солнце жжет высокие стены,
Крыши, площади и базары.
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый Каррары!

Все спокойно под небом ясным;
Вот, окончив псалом последний,
Возвращаются дети в красном
По домам от поздней обедни.

Где ж они, суровые громы
Золотой тосканской равнины,
Ненасытная страсть Содомы
И голодный вопль Уголино?[1]

Ах, и мукам счет и усладам
Не веками ведут — годами!
Гибеллины и гвельфы[2] рядом
Задремали в гробах с гербами.

Всё проходит, как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, темное бремя
Продолжает жить в настоящем.

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

1912

Италия

---

[1] *Содома* (Джованни Антонио Бацци, 1477 — 1549) — итальянский художник. *Уголино* — правитель Пизы; был свергнут и заточен в башню вместе с двумя сыновьями и двумя внуками, где умер от голода (см. "Божественную комедию" Данте: "Ад", песни 32—33).

[2] *Гибеллины и гвельфы* — две враждующие партии в средневековой Италии; видным гибеллином был Данте.

ЮДИФЬ[1]

Какой мудрейшею из мудрых пифий[2]
Поведан будет нам нелицемерный
Рассказ об иудéянке Юдифи,
О вавилонянине Олоферне?

Ведь много дней томилась Иудея,
Опалена горячими ветрами,
Ни спорить, ни покорствовать не смея,
Пред красными, как зарево, шатрами.

Сатрап был мощен и прекрасен телом,
Был голос у него, как гул сраженья,
И всё же девушкой не овладело
Томительное головокруженье.

Но, верно, в час блаженный и проклятый,
Когда, как омут, приняло их ложе,
Поднялся ассирийский бык крылатый,
Так странно с ангелом любви несхожий.

Иль, может быть, в дыму кадильниц рея
И вскрикивая в грохоте тимпана[3],
Из мрака будущего Саломея
Кичилась головой Иоканаана[4].

---

[1] В основе стихотворения – эпизод библейской Книги Юдифи. *Юдифь*, коварно обольстив вавилонского полководца *Олоферна*, отрезала ему голову его же мечом; армия Олоферна отступила.

[2] *Пифия* – прорицательница.

[3] *Тимпан* – ударный музыкальный инструмент.

[4] Сюжет драмы О. Уайльда "Саломея" (1893); восходит к евангельской истории о Саломее и Иоанне Крестителе.

СТАНСЫ

Над этим островом какие выси,
Какой туман!
И Апокалипсис был здесь написан,
И умер Пан[1].

А есть другие — с пальмами, с дворцами,
Где весел жнец
И где позванивают бубенцами
Стада овец.

И скрипку, дивно выгнутую, в руки,
Едва дыша,
Я взял и слушал, как бежала в звуки
Ее душа.

Да! Это только чары, что судьбою
Я побежден,
Что ночью звездный дождь над головою,
И звон, и стон.

Я вольный, снова верящий удачам,
Весь мир мне дом,
Целую девушку с лицом горячим
И с жадным ртом.

Но лишь на миг к моей стране от Вашей
Опущен мост.
Его сожгут мечи, кресты и чаши
Огромных звезд.

---

[1] *Апокалипсис* (Откровение Иоанна Богослова) связывают с о. Патмос; "умер Пан" (*Пан* — греч. бог лесов) — относится к о. Паксос (по преданию, изложенному Плутархом, эти слова крикнул египетский кормчий Тамус, в ответ раздались стенания множества голосов).

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Анне Ахматовой

Я из дому вышел, когда все спали,
Мой спутник скрывался у рва в кустах.
Наверно, наутро меня искали,
Но было поздно, мы шли в полях.

Мой спутник был желтый, худой, раскосый.
О, как я безумно его любил!
Под пестрой хламидой[1] он прятал косу,
Глазами гадюки смотрел и ныл.

О старом, о странном, о безбольном,
О вечном слагалось его нытье,
Звучало мне звоном колокольным,
Ввергало в истому, в забытье.

Мы видели горы, лес и воды,
Мы спали в кибитках чужих равнин,
Порою казалось — идем мы годы,
Казалось порою — лишь день один.

Когда ж мы достигли стены Китая,
Мой спутник сказал мне: "Теперь прощай,
Нам разны дороги: твоя — святая,
А мне, мне сеять мой рис и чай".

На белом пригорке, над полем чайным,
У пагоды ветхой сидел Будда́.
Пред ним я склонился в восторге тайном,
И было сладко, как никогда.

Так тихо, так тихо над миром дольным,
С глазами гадюки, он пел и пел
О старом, о странном, о безбольном,
О вечном, и воздух вокруг светлел.

---

[1] *Хламида* — здесь: верхняя мужская одежда.

ЛЕОНАРД

Три года чума и голод
Разоряли большую страну,
И народ сказал Леонарду:
"Спаси нас, ты добр и мудр".

Старинных, заветных свитков
Все тайны знал Леонард.
В одно короткое лето
Страна была спасена.

Случились распри и войны,
Когда скончался король.
Народ сказал Леонарду:
"Отныне король наш ты".

Была Леонарду знакома
Война — искусство царей.
Поэты победные оды
Не успевали писать.

Когда же страна усмирилась
И пахарь взялся за плуг,
Народ сказал Леонарду:
"Ты молод, возьми жену".

Спокойный, ясный и грустный,
В ответ молчал Леонард,
А ночью скрылся из замка,
Куда — не узнал никто.

Лишь мальчик-пастух, дремавший
В ту ночь в угрюмых горах,
Говорил, что явственно слышал
Согласный гул голосов.

Как будто орел парящий,
Овен, человек и лев
Вопияли, пели, взывали,
Говорили зараз во тьме.

ПТИЦА

Я не смею больше молиться,
Я забыл слова литаний[1].
Надо мною грозящая птица,
И глаза у нее — огни.

Вот я слышу сдержанный клекот,
Словно звон истлевших цимбал,
Словно моря дальнего рокот,
Моря, бьющего в груди скал.

Вот я вижу: когти стальные
Наклоняются надо мной,
Словно струи дрожат речные,
Озаряемые луной.

Я пугаюсь. Чего ей надо?
Я не юноша Ганимед[2],
Надо мною небо Эллады[3]
Не струило свой нежный свет.

Если ж это голубь Господень
Прилетел сказать: "Ты готов!" —
То зачем же он так несходен
С голубями наших садов?

КАНЦОНЫ[4]

1

Словно ветер страны счастливой,
Носятся жалобы влюбленных.
Как колосья созревшей нивы,
Клонятся головы непреклонных.

---

[1] *Литания* — молитва.
[2] *Ганимед (греч. миф.)* — сын царя Трои; похищен Зевсом.
[3] *Эллада* — Древняя Греция.
[4] *Канцона* (*итал.*, букв.: песня) — стихотворение о любви.

Запевает араб в пустыне:
"Душу мне вырвали из тела".
Стонет грек над пучиной синей:
"Чайкою в сердце ты мне влетела".

Красота ли им непокорна!
Теплит гречанка в ночь лампадки,
А подруга араба зерна
Благовонные жжет в палатке.

Зов один от края до края,
Шире, всё шире и чудесней,
Угадали ли вы, дорогая,
В этой бессвязной и бедной песне?

Дорогая с улыбкой летней,
С узкими, слабыми руками
И, как мед двухтысячелетний,
Душными, черными волосами.

2

Об Адони́се с лунной красотой,
О Гиацинте тонком, о Нарциссе,
И о Данае, туче золотой[1],
Еще грустят аттические выси[2].

Грустят валы ямбических морей,
И журавлей кочующие стаи,
И пальма, о которой Одиссей
Рассказывал смущенной Навзикае[3].

Печальный мир не очаруют вновь
Ни ку́дри душные, ни взор призывный,
Ни лепестки горячих губ, ни кровь,
Стучавшая торжественно и дивно.

---

[1] Образы восходят к древнегреческим мифам.
[2] *Аттика* — юго-восточная часть Греции, где находятся Афины.
[3] *Навзикая* — персонаж "Одиссеи".

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь...
И ты, о нежная, чье имя — пенье,
Чье тело — музыка, и ты идешь
На беспощадное исчезновенье.

Но мне, увы, неведомы слова —
Землетрясенья, громы, водопады,
Чтоб и по смерти ты была жива,
Как юноши и девушки Эллады.

14 апреля 1915

ПЕРСЕЙ

Скульптура Кановы[1]

Его издавна любят музы.
Он юный, светлый, он герой.
Он поднял голову Медузы
Стальной, стремительной рукой.

И не увидит он, конечно,
Он, в чьей душе всегда гроза,
Как хороши, как человечны
Когда-то страшные глаза,

Черты измученного болью,
Теперь прекрасного лица... —
Мальчишескому своеволью
Нет ни преграды, ни конца.

Вот ждет нагая Андромеда,
Пред ней свивается дракон.
Туда, туда, за ним Победа
Летит, крылатая, как он.

---

[1] *Персей (греч. миф.)* — герой, одержавший победу над Горгонами (богинями тьмы); одной из Горгон — *Медузе*, он отрубил голову и с ее помощью обратил в камень морское чудовище, стерегшее *Андромеду*. "Персей с головой медузы" — скульптура выдающегося итальянского скульптора Антонио *Кановы* (1755 — 1822); находится в Ватиканском музее.

СОЛНЦЕ ДУХА

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы... но еще не поздно.
Солнце духа наклонилось к нам.
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

В дикой прелести степных раздолий,
В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли
И мучительного для души.

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Прошел патруль, стуча мечами.
Дурной монах прокрался к милой.
Над островерхими домами
Неведомое опочило.

Но мы спокойны, мы поспорим
Со стражами Господня гнева,
И пахнет звездами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева[1].

Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,

[1] Святая *Женевьева* — покровительница Парижа.

Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.

Торжественный, гранитокрылый,
Он охранял наш город сонный,
В нем пели молоты и пилы,
В ночи работали масоны[1].

Слова их скупы и случайны,
Но взоры ясны и упрямы.
Им древние открыты тайны,
Как строить каменные храмы.

Поцеловав порог узорный,
Свершив коленопреклоненье,
Мы попросили так покорно
Тебе и мне благословенья.

Великий Мастер с нивелиром[2]
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: "Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула"[3].

Пока они живут на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева.

ПАДУАНСКИЙ СОБОР

Да, этот храм и дивен, и печален,
Он — искушенье, радость и гроза.
Горят в окошечках исповедален
Желаньем истомленные глаза.

---

[1] *Масоны* (букв. "вольные каменщики") — участники религиозно-нравственной тайной организации (ритуальная символика заимствована у средневековых цеховых каменщиков).

[2] *Великий Мастер* — высшая степень в масонской ложе. *Нивелир* — прибор для выравнивания.

[3] *Вельзевул* — сатана, дьявол.

Растет и падает напев органа
И вновь растет, полнее и страшней,
Как будто кровь, бунтующая пьяно
В гранитных венах сумрачных церквей.

От пурпура, от мучеников томных,
От белизны их обнаженных тел
Бежать бы из-под этих сводов темных,
Пока соблазн душой не овладел.

В глухой таверне старого квартала
Сесть на террасе и спросить вина,
Там от воды приморского канала
Совсем зеленой кажется стена.

Скорей! Одно последнее усилье!
Но вдруг слабеешь, выходя на двор:
Готические башни, словно крылья,
Католицизм в лазури распростер.

ОТЪЕЗЖАЮЩЕМУ

Нет, я не в том тебе завидую
С такой мучительной обидою,
Что уезжаешь ты и вскоре
На Средиземном будешь море.

И Рим увидишь, и Сицилию,
Места, любезные Вергилию,
В благоухающей, лимонной
Трущобе сложишь стих влюбленный.

Я это сам не раз испытывал,
Я солью моря грудь пропитывал,
Над Арно[1], Данте чтя обычай,
Слагал сонеты Беатриче.

Что до природы мне, до древности,
Когда я полон жгучей ревности,
Ведь ты во всем ее убранстве
Увидел Музу Дальних Странствий.

[1] *Арно* — река, на которой стоят города Пиза и Флоренция.

Ведь для тебя в руках изменницы
В хрустальном кубке нектар пенится,
И огнедышащей беседы
Ты знаешь молнии и бреды.

А я, как некими гигантами,
Торжественными фолиантами
От вольной жизни заперт в нишу,
Ее не вижу и не слышу.

СНОВА МОРЕ

Я сегодня опять услышал,
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход.
Оттого-то и солнце дышит,
А земля говорит, поет.

Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне иль червь в норе,
Хоть один беззубый и лысый
И помешанный на добре,
Что не слышат песен Улисса,
Призывающего к игре?

Ах, к игре с трезубцем Нептуна,
С косами диких нереид
В час, когда буруны, как струны,
Звонко лопаются и дрожит
Пена в них или груди юной,
Самой нежной из Афродит.

Вот и я выхожу из дома
Повстречаться с иной судьбой,
Целый мир, чужой и знакомый,
Породниться готов со мной:
Берегов изгибы, изломы,
И вода, и ветер морской.

Солнце духа, ах, беззакатно.
Не земле его побороть.

Никогда не вернусь обратно,
Усмирю усталую плоть,
Если Лето благоприятно[1],
Если любит меня Господь.

АФРИКАНСКАЯ НОЧЬ

Полночь сошла, непроглядная темень,
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры, шумит.

Завтра мы встретимся и узнаем,
Кому быть властителем этих мест;
Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест.

Вновь обхожу бугры и ямы,
Здесь будут вещи, мулы — тут.
В этой унылой стране Сидамо[2]
Даже деревья не растут.

Весело думать: если мы одолеем —
Многих уже одолели мы, —
Снова дорога желтым змеем
Будет вести с холмов на холмы.

Если же завтра волны Уэби
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
Мертвый, увижу, как в бледном небе
С огненным черный борется бог.

1913

Восточная Африка

[1] Парафраз библейского текста (Матф. 26 : 48).
[2] *Сидамо* — народность в юго-западной Эфиопии.

НАСТУПЛЕНИЕ

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

СМЕРТЬ

Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть.
Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне, твердь.

И за это знаешь так ясно,
Что в единственный, строгий час,

В час, когда, словно облак красный,
Милый день уплывет из глаз,

Свод небесный будет раздвинут
Пред душою и душу ту
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.

Там Начальник в ярком доспехе[1],
В грозном шлеме звездных лучей,
И к старинной, бранной потехе
Огнекрылых зов трубачей.

Но и здесь, на земле, не хуже
Та же смерть — ясна и проста:
Здесь товарищ над павшим тужит
И целует его в уста.

Здесь священник в рясе дырявой
Умиленно поет псалом.
Здесь играют марш величавый
Над едва заметным холмом.

ВИДЕНИЕ

Лежал истомленный на ложе болезни
(Что горше, что тягостней ложа болезни?),
И вдруг загорелись усталые очи:
Он видит, он слышит в священном восторге —
Выходят из мрака, выходят из ночи
Святой Пантелéймон и воин Георгий[2].

Вот речь начинает святой Пантелеймон
(Так сладко, когда говорит Пантелеймон):
"Бессонны твои покрасневшие вежды,
Пылает и душит твое изголовье,

---

[1] Имеется в виду Михаил Архистратиг — один из семи архангелов, предводитель "небесного воинства" в борьбе с силами зла.

[2] *Святой Пантелеймон* — реальное историческое лицо; исцелял страждущих, больных; канонизирован Православной Церковью. *Воин Георгий* — Георгий Победоносец.

Но я прикоснусь к тебе краем одежды
И в жилы пролью золотое здоровье".

И другу вослед выступает Георгий
(Как трубы победы, вещает Георгий):
"От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
Но сильного слезы пред Богом неправы,
И Бог не слыхал твоего отреченья,
Ты встанешь заутра, и встанешь для славы".

И скрылись, как два исчезающих света
(Средь мрака ночного два яркие света),
Растущего дня надвигается шорох,
Вот солнце сверкнуло, и встал истомленный
С надменной улыбкой, с весельем во взорах
И с сердцем, открытым для жизни бездонной.

*

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда —
Всё, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Всегда ненужно и непрошено
В мой дом спокойствие входило;
Я клялся быть стрелою, брошенной
Рукой Немврода иль Ахилла.

Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Грозу в лесах, объятых дрожью.

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

1913

*

Какая странная нега
В ранних сумерках утра,
В таянье вешнего снега,
Во всем, что гибнет и мудро.

Золотоглазой ночью
Мы вместе читали Данта,
Сереброкудрой зимою
Нам снились розы Леванта.

Утром вставай, тоскуя,
Грусти и радуйся скупо,
Весной проси поцелуя
У женщины милой и глупой.

Цветы, что я рвал ребенком
В зеленом драконьем болоте,
Живые на стебле тонком,
О, где вы теперь цветете!

Ведь есть же мир лучезарней,
Что недоступен обидам
Краснощеких афинских парней,
Хохотавших над Еврипидом.

*

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;

Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.

Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.

СЧАСТЬЕ

1

Больные верят в розы майские,
И нежны сказки нищеты.
Заснув в тюрьме, виденья райские
Наверняка увидишь ты.

Но нет тревожней и заброшенней —
Печали посреди шелков,
И я принцессе на горошине
Всю кровь мою отдать готов.

2

"Хочешь, горбун, поменяться
Своею судьбой с моей,
Хочешь шутить и смеяться,
Быть вольной птицей морей?"
Он подозрительным взглядом
Смерил меня всего:

"Уходи, не стой со мной рядом,
Не хочу от тебя ничего!"

3

У муки столько струн на лютне,
У счастья нету ни одной,
Взлетевший в небо бесприютней,
Чем опустившийся на дно.
И Заклинающий проказу,
Сказавший деве: "Талифа!.."[1] –
...Ему дороже нищий Лазарь[2]
Великолепного волхва.

4

Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же
Тебя не видит мой взор?
Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!

5

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

---

[1] Имеется в виду евангельский рассказ о воскрешении Христом дочери Иаира (Марк. 5 : 41 – 42).
[2] См. притчу о бедном Лазаре (Лука. 16 : 20 – 31).

ВОСЬМИСТИШИЕ

Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять.
И, символ горнего величья,
Как некий благостный завет, —
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.

ДОЖДЬ

Сквозь дождем забрызганные стекла
Мир мне кажется рябым;
Я гляжу: ничто в нем не поблекло
И не сделалось чужим.

Только зелень стала чуть зловещей,
Словно пролит купорос,
Но зато рисуется в ней резче
Круглый куст кровавых роз.

Капли в лужах плещутся размерней
И бормочут свой псалом,
Как монашенки в часы вечерни
Торопливым голоском.

Слава, слава небу в тучах черных!
То — река весною, где
Вместо рыб стволы деревьев горных
В мутной мечутся воде.

В гиблых омутах волшебных мельниц
Ржанье бешеных коней,
И душе, несчастнейшей из пленниц,
Так и легче и вольней.

ВЕЧЕР

Как этот ветер грузен, не крылат!
С надтреснутою дыней схож закат,

И хочется подталкивать слегка
Катящиеся вяло облака.

В такие медленные вечера
Коней карьером гонят кучера,

Сильней веслом рвут воду рыбаки,
Ожесточенней рубят лесники

Огромные, кудрявые дубы...
А те, кому доверены судьбы

Вселенского движения и в ком
Всех ритмов бывших и небывших дом,

Слагают окрыленные стихи,
Расковывая косный сон стихий.

ГЕНУЯ

В Генуе, в палаццо дожей[1],
Есть старинные картины,
На которых странно схожи
С лебедями бригантины.

Возле них, сойдясь гурьбою,
Моряки и арматоры[2]
Все ведут между собою
Вековые разговоры,

С блеском глаз, с усмешкой важной,
Как живые, неживые...

---

[1] *Палаццо дожей* — Дворец дожей (музей).
[2] *Арматор* — частное лицо, на средства которого снаряжалось военное судно.

От залива ветер влажный
Спутал бороды седые.

Миг один, и будет чудо;
Вот один из них, смелея,
Спросит: "Вы, синьор, откуда,
Из Ливорно иль Пирея?

Если будете в Брабанте,
Там мой брат торгует летом,
Отвезите бочку кьянти[1]
От меня ему с приветом".

1912

Италия

КИТАЙСКАЯ ДЕВУШКА

Голубая беседка
Посредине реки,
Как плетеная клетка,
Где живут мотыльки.

И из этой беседки
Я смотрю на зарю,
Как качаются ветки,
Иногда я смотрю;

Как качаются ветки,
Как скользят челноки,
Огибая беседки
Посредине реки.

У меня же в темнице
Куст фарфоровых роз,
Металлической птицы
Блещет золотом хвост.

И, не веря в приманки,
Я пишу на шелку

[1] *Кьянти* — марка вина.

Безмятежные танки[1]
Про любовь и тоску.

Мой жених всё влюбленней;
Пусть он лыс и устал,
Он недавно в Кантоне[2]
Все экзамены сдал.

РАЙ

Апостол Петр, бери свои ключи,
Достойный рая в дверь Его стучит.

Коллоквиум с отцами церкви там
Покажет, что я в дóгматах был прям.

Георгий пусть поведает о том,
Как в дни войны сражался я с врагом[3].

Святой Антоний[4] может подтвердить,
Что плоти я никак не мог смирить.

Но и святой Цецилии[5] уста
Прошепчут, что душа моя чиста.

Мне часто снились райские сады,
Среди ветвей румяные плоды,

Лучи и ангельские голоса,
Внемировой природы чудеса.

И знаешь ты, что утренние сны
Как предзнаменованья нам даны.

Апостол Петр, ведь если я уйду
Отвергнутым, что делать мне в аду?

---

[1] *Танка* — в японской поэзии нерифмованное пятистишие.
[2] *Кантон* (Гуанчжоу) — город в Китае.
[3] За личную храбрость Гумилев был награжден (в 1914 и 1915 гг.) Георгиевскими крестами.
[4] *Святой Антоний* — родоначальник монашества.
[5] *Святая Цецилия* — святая Католической Церкви; дала обет девственности.

Моя любовь растопит адский лед,
И адский огнь слеза моя зальет.

Перед тобою темный серафим
Появится ходатаем моим.

Не медли более, бери ключи,
Достойный рая в дверь Его стучит.

ИСЛАМ

О.Н.Высотской[1]

В ночном кафе мы молча пили кьянти,
Когда вошел, спросивши шерри-бренди,
Высокий и седеющий эффенди[2],
Враг злейший христиан на всем Леванте.

И я ему заметил: "Перестаньте,
Мой друг, презрительного корчить денди,
В тот час, когда, быть может, по легенде
В зеленый сумрак входит Дамаянти".

Но он, ногою топнув, крикнул: "Бабы!
Вы знаете ль, что Черный Камень Кабы[3]
Поддельным признан был на той неделе?"

Потом вздохнул, задумавшись глубоко,
И прошептал с печалью: "Мыши съели
Три волоска из бороды Пророка".

БОЛОНЬЯ

Нет воды вкуснее, чем в Романье,
Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,
В лунной мгле разносятся признанья,
От цветов струится благовонье.

---

[1] Ольга Николаевна Высоцкая (1885 – 1966) – актриса; мать второго сына Гумилева – Ореста Николаевича (1913 – 1993).

[2] *Эффенди (турец.)* – господин.

[3] *Черный Камень Кабы* – главная святыня Каабы (мусульманского храма в Мекке).

Лишь фонарь идущего вельможи
На мгновенье выхватит из мрака
Между кружев розоватость кожи,
Длинный ус, что крутит забияка.

И его скорей проносят мимо,
А любовь глядит и торжествует.
О, как пахнут волосы любимой,
Как дрожит она, когда целует.

Но вино чем слаще, тем хмельнее,
Дама чем красивей, тем лукавей.
Вот уже уходят ротозеи
В тишине мечтать о высшей славе.

И они придут, придут до света
С мудрой думой о Юстиниане[1]
К темной двери университета,
Векового логовища знаний.

Старый доктор сгорблен в красной тоге,
Он законов ищет в беззаконье,
Но и он порой волочит ноги
По веселым улицам Болоньи.

СКАЗКА

Тэффи[2]

На скале, у самого края,
Где река Елизабет, протекая,
Скалит камни, как зубы, был замок.

На его зубцы и бойницы
Прилетали тощие птицы,
Глухо каркали, предвещая.

---

[1] *Юстиниан Великий* (527 – 565) – византийский император, прославившийся законодательными реформами.

[2] *Тэффи* – псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой-Бучинской (1872 – 1952), поэтессы, автора юмористических рассказов.

А внизу, у самого склона,
Залегала берлога дракона,
Шестиногого, с рыжей шерстью.

Сам хозяин был черен, как в дегте,
У него были длинные когти,
Гибкий хвост под плащом он прятал.

Жил он скромно, хотя не медведем,
И известно было соседям,
Что он просто-напросто дьявол.

Но соседи его были тоже
Подозрительной масти и кожи:
Ворон, оборотень и гиена.

Собирались они и до света
Выли у реки Елизабета,
А потом в домино играли.

И так быстро летело время,
Что простое крапивное семя
Успевало взойти крапивой.

Это было еще до Адама,
В небесах жил не Бог, а Брама,
И на всё он смотрел сквозь пальцы.

Жить да жить бы им без печали!
Но однажды в ночь переспали
Вместе оборотень и гиена.

И родился у них ребенок,
Не то птица, не то котенок,
Он радушно был взят в компанью.

Вот собрались они, как обычно,
И, повыв над рекой отлично,
Как всегда, за игру засели.

И играли, играли, играли,
Как играть приходилось едва ли
Им, до одури, до одышки.

Только выиграл всё ребенок:
И бездонный пивной бочонок,
И поля, и угодья, и замок.

Закричал, раздувшись, как груда:
"Уходите вы все отсюда,
Я ни с кем не стану делиться!

Только добрую старую маму
Посажу я в ту самую яму,
Где была берлога дракона".

Вечером по берегу Елизабета
Ехала черная карета,
А в карете сидел старый дьявол.

Позади тащились другие,
Озабоченные, больные,
Глухо кашляя, подвывая.

Кто храбрился, кто ныл, кто сердился...
А тогда уж Адам родился.
Бог, спаси Адама и Еву!

НЕАПОЛЬ

Как эмаль, сверкает море,
И багряные закаты
На готическом соборе,
Словно гарпии[1], крылаты.
Но какой античной грязью
Полон город, и не вдруг
К золотому безобразью
Нас приучит буйный юг.

Пахнет рыбой и лимоном,
И духами парижанки,
Что под зонтиком зеленым

[1] *Гарпии (греч. миф.)* — богини вихря, птицы-чудовища с женскими головами.

И несет креветок в банке;
А за кучею навоза
Два косматых старика
Режут хлеб... Сальва́тор Роза[1]
Их провидел сквозь века.

Здесь не жарко, с моря веют
Белобрысые туманы,
Все хотят и все не смеют
Выйти в полночь на поляны,
Где седые, грозовые
Скалы высятся венцом,
Где засела малярия
С желтым бешеным лицом.

И, как птица с трубкой в клюве,
Поднимает острый гребень,
Сладко нежится Везувий,
Расплескавшись в сонном небе.
Бьются облачные кони,
Поднимаясь на зенит,
Но, как истый лаццарони[2],
Всё дымит он и храпит.

СТАРАЯ ДЕВА

Жизнь печальна, жизнь пустынна,
И не сжалится никто;
Те же вазочки в гостиной,
Те же рамки и плато[3].

Томик пыльный, томик серый
Я беру, тоску кляня,
Но и в книгах кавалеры
Влюблены, да не в меня.

А меня совсем иною
Отражают зеркала:

---

[1] *Роза Сальватор* (1615 – 1673) – итальянский живописец.
[2] *Лаццарони (итал.)* – нищий, босяк.
[3] *Плато* – здесь: настенные тарелки.

Я наяда под луною
В зыби водного стекла.

В глубине средневековья
Я принцесса, что, дрожа,
Принимает славословья
От красивого пажа.

Иль на празднике Версаля
В час, когда заснет земля,
Взоры юношей печаля,
Я пленяю короля.

Иль влюблен в мои романсы
Весь парижский полусвет
Так, что мне слагает стансы
С львиной гривою поэт.

Выйду замуж, буду дамой,
Злой и верною женой,
Но мечте моей упрямой
Никогда не стать иной.

И зато за мной, усталой,
Смерть прискачет на коне,
Словно рыцарь, с розой алой
На чешуйчатой броне.

ПОЧТОВЫЙ ЧИНОВНИК

Ушла... Завяли ветки
Сирени голубой,
И даже чижик в клетке
Заплакал надо мной.

Что пользы, глупый чижик,
Что пользы нам грустить,
Она теперь в Париже,
В Берлине, может быть.

Страшнее страшных пугал
Красивым честный путь,

И нам в наш тихий угол
Беглянки не вернуть.

От Знаменья[1] псаломщик,
В цилиндре набоку,
Большой, костлявый, тощий,
Зайдет попить чайку.

На днях его подруга
Ушла в веселый дом,
И мы теперь друг друга,
Наверное, поймем.

Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему,
Весь мир необитаем,
Неясен он уму.

А песню вырвет мука,
Так старая она:
"Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!"

БОЛЬНОЙ

В моем бреду одна меня томит
Каких-то острых линий бесконечность,
И непрерывно колокол звонит,
Как бой часов отзванивал бы вечность.

Мне кажется, что после смерти так
С мучительной надеждой воскресенья
Глаза вперяются в окрестный мрак,
Ища давно знакомые виденья.

Но в океане первозданной мглы
Нет голосов и нет травы зеленой,
А только кубы, ромбы, да углы,
Да злые нескончаемые звоны.

[1] Знаменская церковь в Петербурге.

О, хоть бы сон настиг меня скорей!
Уйти бы, как на праздник примиренья,
На желтые пески седых морей
Считать большие бурые каменья.

ОДА Д'АННУНЦИО[1]

К его выступлению в Генуе

Опять волчица на столбе
Рычит в огне багряных светов...
Судьба Италии — в судьбе
Ее торжественных поэтов.

Был Августов высокий век[2],
И золотые строки были;
Спокойней величавых рек
С ней разговаривал Вергилий.

Был век печали; и тогда,
Как враг в ее стучался двери,
Бежал от мирного труда
Изгнанник бедный, Алигьери.

Униженная до конца,
Страна, веселием объята,
Короновала мертвеца
В короновании Торквата[3].

И в дни прекраснейшей войны,
Которой кланяюсь я земно,
К которой завистью полны
И Александр[4] и Агамемнон,

---

[1] *Д'Аннунцио* Габриэль (1863 — 1938) — итальянский писатель; 5 мая 1915 г. выступил с призывом к Италии вступить в войну против Германии.

[2] Время правления римского императора *Августа* (63 до н. э. — 14 н. э.), когда творили поэты Гораций, *Вергилий*, Овидий; покровительствовал литературе, искусству, наукам, зодчеству.

[3] *Торквато* Тассо (1544 — 1595) — итальянский поэт; был увенчан лавровым венком на смертном одре.

[4] Македонский.

Когда всё лучшее, что в нас
Таилось скупо и сурово,
Вся сила духа, доблесть рас,
Свои разрушило оковы —

Слова: "Встает великий Рим,
Берите ружья, дети горя..."
Грозней громов; внимая им,
Толпа взволнованнее моря.

А море синей пеленой
Легло вокруг, как мощь и слава
Италии, как щит святой
Ее стариннейшего права.

А горы стынут в небесах,
Загадочны и незнакомы,
Там зреют молнии в лесах,
Там чутко притаились громы.

И, конь, встающий на дыбы,
Народ поверил в правду света,
Вручая страшные судьбы
Рукам изнеженным поэта.

И всё поют, поют стихи
О том, что вольные народы
Живут, как образы стихий,
Ветра, и пламени, и воды.

КОСТЕР

1918 г.

ДЕРЕВЬЯ

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни:
На ласковой земле, сестре звездáм,
Мы — на чужбине, а они — в отчизне.

Глубокой осенью в полях пустых
Закаты медно-красные, восходы
Янтарные окраске учат их —
Свободные, зеленые народы.

Есть Моисеи[1] посреди дубов,
Марии между пальм... Их души, верно,
Друг другу посылают тихий зов
С водой, струящейся во тьме безмерной.

И в глубине земли, точа алмаз,
Дробя гранит, ключи лепечут скоро,
Ключи поют, кричат — где сломан вяз,
Где листьями оделась сикомора.

О, если бы и мне найти страну,
В которой мог не плакать и не петь я,
Безмолвно поднимаясь в вышину
Неисчислимые тысячелетья!

[1] Библейский *Моисей* прожил 120 лет.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.

Нос — это древа ствол высокий;
Две тонкие дуги бровей
Над ним раскинулись, широки,
Изгибом пальмовых ветвей.

Два вещих сирина, два глаза,
Под ними сладостно поют,
Велеречивостью рассказа
Все тайны духа выдают.

Открытый лоб — как свод небесный,
И кудри — облака над ним,
Их, верно, с робостью прелестной
Касался нежный серафим.

И тут же, у подножья древа,
Уста — как некий райский цвет,
Из-за какого матерь Ева
Благой нарушила завет.

Всё это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал,
И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божьим стал.

ОСЕНЬ

Оранжево-красное небо...
Порывистый ветер качает
Кровавую гроздь рябины.
Догоняю бежавшую лошадь
Мимо стекол оранжереи,
Решетки старого парка
И лебединого пруда.
Косматая, рыжая, рядом

Несется моя собака,
Которая мне милее
Даже родного брата,
Которую буду помнить,
Если она издохнет.
Стук копыт участился,
Пыль всё выше.
Трудно преследовать лошадь
Чистой арабской крови.
Придется присесть, пожалуй,
Задохнувшись, на камень
Широкий и плоский,
И удивляться тупо
Оранжево-красному небу,
И тупо слушать
Кричащий пронзительно ветер.

ДЕТСТВО

Я ребенком любил большие,
Медом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный
Мне кричал: "Я шучу с тобой,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой!"

Только дикий ветер осенний,
Прошумев, прекращал игру.
Сердце билось еще блаженней,
И я верил, что я умру

Не один — с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом,
И за дальними небесами
Догадаюсь вдруг обо всем.

Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.

ГОРОДОК

Над широкой рекой,
Пояском-мостом перетянутой,
Городок стоит небольшой,
Летописцем не раз помянутый.

Знаю, в этом городке –
Человечья жизнь настоящая,
Словно лодочка на реке,
К цели ведомой уходящая.

Полосатые столбы
У гауптвахты, где солдатики
Под пронзительный вой трубы
Маршируют, совсем лунатики.

На базаре всякий люд –
Мужики, цыгане, прохожие –
Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие.

В крепко слаженных домах
Ждут хозяйки, белые, скромные,
В самаркандских цветных платках,
А глаза всё такие темные.

Губернаторский дворец
Пышет светом в часы вечерние.
Предводителев жеребец –
Удивление всей губернии.

А весной идут, таясь,
На кладбище девушки с милыми,
Шепчут, ластясь: "Мой яхонт-князь!" –
И целуются над могилами.

Крест над церковью взнесен,
Символ власти ясной, Отеческой,
И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой.

ЛЕДОХОД

Уж одевались острова
Весенней зеленью прозрачной,
Но нет, изменчива Нева,
Ей так легко стать снова мрачной.

Взойди на мост, склони свой взгляд:
Там льдины прыгают по льдинам,
Зеленые, как медный яд,
С ужасным шелестом змеиным.

Географу, в час трудных снов,
Такие тяготят сознанье —
Неведомых материков
Мучительные очертанья.

Так пахнут сыростью гриба
И неуверенно, и слабо
Те потайные погреба,
Где труп зарыт и бродят жабы.

Река больна, река в бреду.
Одни, уверены в победе,
В зоологическом саду
Довольны белые медведи.

И знают, что один обман —
Их тягостное заточенье:
Сам Ледовитый океан
Идет на их освобожденье.

ПРИРОДА

Так вот и вся она, природа,
Которой дух не признает:
Вот луг, где сладкий запах меда
Смешался с запахом болот;

Да ветра дикая заплачка,
Как отдаленный вой волков;
Да над сосной курчавой скачка
Каких-то пегих облаков.

Я вижу тени и обличья,
Я вижу, гневом обуян,
Лишь скудное многоразличье
Творцом просыпанных семян.

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездою,
Огнем пронизанной насквозь!

Я И ВЫ

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: "Вставай!"[1]

[1] Последние два стиха связаны с евангельскими сюжетами (Лука. 23 : 43; Иоанн. 8 : 3–11). *Мытарь* — сборщик податей.

ЗМЕЙ

Ах, иначе в былые года
Колдовала земля с небесами,
Дива дивные зрелись тогда,
Чуда чудные деялись сами...

Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской,
Змей крылатый в пустынном саду
Часто прятался полночью майской.

Только девушки видеть луну
Выходили походкою статной –
Он подхватывал быстро одну,
И взмывал, и стремился обратно.

Как сверкал, как слепил и горел
Медный панцирь под хищной луною,
Как серебряным звоном летел
Мерный клекот над Русью лесною:

"Я красавиц таких, лебедей
С белизною такою молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной.

Но еще ни одна не была
Во дворце моем пышном, в Лагоре[1]:
Умирают в пути, и тела
Я бросаю в Каспийское море.

Спать на дне, средь чудовищ морских,
Почему им, безумным, дороже,
Чем в могучих объятьях моих
На торжественном княжеском ложе?

И порой мне завидна судьба
Парня с белой пастушечьей дудкой
На лугу, где девичья гурьба
Так довольна его прибауткой".

[1] *Лагор* (Лахор) – город в Пакистане.

Эти крики заслыша, Вольга[1]
Выходил и поглядывал хмуро,
Надевал тетиву на рога
Беловежского старого тура.

МУЖИК

В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи[2],
Чуя старинную быль.

С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег...
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.

Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.

Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу
Входит он[3] — Боже, спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси

---

[1] *Вольга* Святославович (Волх Всеславьевич) — один из главных героев русских былин; сын Змея и княжны Марфы Всеславьевны.
[2] *Стрибог (вост.-слав. миф.)* — властелин небесных стихий.
[3] Имеется в виду Г.Е. Распутин (1872 — 1916).

Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.

Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?

Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.

"Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?

В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов".

РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной[1],
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

ШВЕЦИЯ

Страна живительной прохлады,
Лесов и гор гудящих, где
Всклокоченные водопады
Ревут, как будто быть беде;

Для нас священная навеки
Страна, ты помнишь ли, скажи,
Тот день, как из Варягов в Греки
Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,
Чтоб был, свидетель злых обид,
У золотых ворот Царьграда
Забыт Олегов медный щит?

Чтобы в томительные бреды
Опять поникла, как вчера,
Для славы, силы и победы
Тобой подъятая сестра?

[1] Полк, в котором служил Гумилев, дислоцировался на берегу Двины.

И неужель твой ветер свежий
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежьей
Вотще твой Рюрик приходил?

НОРВЕЖСКИЕ ГОРЫ

Я ничего не понимаю, горы:
Ваш гимн поет кощунство иль псалом
И вы, смотрясь в холодные озера,
Молитвой заняты иль колдовством?

Здесь с криками чудовищных глумлений,
Как сатана на огненном коне,
Пер Гюнт[1] летал на бешеном олене
По самой неприступной крутизне.

И, царств земных непризнанный наследник,
Единый побежденный до конца,
Не здесь ли Бранд, суровый проповедник,
Сдвигал лавины именем Творца?

А вечный снег и синяя, как чаша
Сапфирная, сокровищница льда!
Страшна земля, такая же, как наша,
Но не рождающая никогда.

И дивны эти неземные лица,
Чьи кудри — снег, чьи очи — дыры в ад,
С чьих щек, изрытых бурями, струится,
Как борода седая, водопад.

[1] *Пер Гюнт* и далее *Бранд* — главные герои одноименных драм-поэм норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828 — 1906).

НА СЕВЕРНОМ МОРЕ

О да, мы из расы
Завоевателей древних,
Взносивших над Северным морем
Широкий крашеный парус
И прыгавших с длинных стругов
На плоский берег нормандский –
В пределы старинных княжеств
Пожары вносить и смерть.

Уже не одно столетье
Вот так мы бродим по миру,
Мы бродим и трубим в трубы,
Мы бродим и бьем в барабаны:
"Не нужны ль крепкие руки,
Не нужно ль твердое сердце
И красная кровь не нужна ли
Республике иль королю?"

Эй, мальчик, неси нам
Вина скорее,
Малаги, портвейну,
А главное – виски!
Ну, что там такое:
Подводная лодка,
Плавучая мина?
На это есть моряки!

О да, мы из расы
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах
И буйною кровью своею
Поить ненасытных пьяниц –
Железо, сталь и свинец.

Но все-таки песни слагают
Поэты на разных наречьях,
И западных, и восточных;
Но все-таки молят монахи

В Мадриде и на Афоне,
Как свечи горя перед Богом,
Но все-таки женщины грезят —
О нас, и только о нас.

СТОКГОЛЬМ

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный,
Рожденный из глуби не наших времен,
Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,
Такой уж почти и не радостный сон...

Быть может, был праздник, не знаю наверно,
Но только всё колокол, колокол звал.
Как мощный орган, потрясенный безмерно,
Весь город молился, гудел, грохотал...

Стоял на горе я, как будто народу
О чем-то хотел проповедовать я,
И видел прозрачную тихую воду,
Окрестные рощи, леса и поля.

"О Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если
Страна эта — истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?"

И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен.
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

ТВОРЧЕСТВО

Моим рожденные словом,
Гиганты пили вино
Всю ночь, и было багровым,
И было страшным оно.

О, если б кровь мою пили,
Я меньше бы изнемог,

И пальцы зари бродили
По мне, когда я прилег.

Проснулся, когда был вечер,
Вставал туман от болот,
Тревожный и теплый ветер
Дышал из южных ворот.

И стало мне вдруг так больно,
Так жалко стало дня,
Своею дорогой вольной
Прошедшего без меня...

Умчаться б вдогонку свету!
Но я не в силах порвать
Мою зловещую эту
Ночных видений тетрадь.

УТЕШЕНИЕ

Кто лежит в могиле —
Слышит дивный звон,
Самых белых лилий
Чует запах он.

Кто лежит в могиле —
Видит вечный свет,
Серафимских крылий
Переливный снег.

Да, ты умираешь,
Руки холодны,
И сама не знаешь
Неземной весны.

Но идешь ты к раю
По моей мольбе.
Это так, я знаю,
Я клянусь тебе.

ПРАПАМЯТЬ

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.

Бушует пламя, трубят трубы,
И кони рыжие летят.
Потом волнующие губы
О счастье, кажется, твердят.

И вот опять восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда,
Седою гривой машет море,
Встают пустыни, города.

Когда же наконец, восставши
От сна, я буду снова я —
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья?

КАНЦОНА ПЕРВАЯ

В скольких земных океанах я плыл,
Древних, веселых и пенных,
Сколько в степях караваны водил
Дней и ночей несравненных...

Как мы смеялись в былые года
С вольною Музой моею...
Рифмы, как птицы, слетались тогда,
Сколько — и вспомнить не смею.

Только любовь мне досталась, струной
Ангельской арфы взывая,
Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.

Ты мне осталась одна. Наяву
Видевший солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.

Да, ты в моей беспокойной судьбе —
Ерусалим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе
На языке серафимов.

КАНЦОНА ВТОРАЯ

Храм Твой, Господи, в небесах,
Но земля тоже Твой приют.
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют.

Точно благовест Твой, весна
По веселым идет полям,
А весною на крыльях сна
Прилетают ангелы к нам.

Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я волю понял Твою.

Перед той, что сейчас грустна,
Появись, как Незримый Свет,
И на все, что спросит она,
Ослепительный дай ответ.

Ведь отрадней пения птиц,
Благодатней ангельских труб
Нам дрожанье милых ресниц
И улыбка любимых губ.

КАНЦОНА ТРЕТЬЯ

Как тихо стало в природе!
Вся — зренье она, вся — слух.
К последней страшной свободе
Склонился уже наш дух.

Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,

И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов.

И будут, как встарь, друиды
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.

Тогда я воскликну: "Где же
Ты, созданная из огня?
Ты видишь, взоры всё те же,
Всё та же песнь у меня.

Делюсь я с тобою властью,
Слуга твоей красоты,
За то, что полное счастье,
Последнее счастье — ты!"

САМОФРАКИЙСКАЯ ПОБЕДА

В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами —
Самофракийская Победа[1]
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.

В твоем безумно-светлом взгляде
Смеется что-то, пламенея,
И наши тени мчатся сзади,
Поспеть за нами не умея.

---

[1] Ника *Самофракийская* (Самотрасская) — мраморная статуя (IV — II вв. до н. э.), обнаруженная при раскопках на о. Самотраки (Самофракия); находится в Лувре ("крылатая Победа").

РОЗА

Цветов и песен благодатный хмель
Нам запрещен, как ветхие мечтанья.
Лишь девственные наименованья
Поэтам разрешаются отсель.

Но роза, принесенная в отель,
Забытая нарочно в час прощанья
На томике старинного изданья
Канцон, которые слагал Рюдель[1], —

Ее ведь смею я почтить сонетом:
Мне книга скажет, что любовь одна
В тринадцатом столетии, как в этом,

Печальней смерти и пьяней вина,
И, бархатные лепестки целуя,
Быть может, преступленья не свершу я?

ТЕЛЕФОН

Неожиданный и смелый
Женский голос в телефоне...
Сколько сладостных гармоний
В этом голосе без тела!

Счастье, шаг твой благосклонный
Не всегда проходит мимо:
Звонче лютни серафима
Ты и в трубке телефонной!

ЮГ

За то, что я теперь спокойный
И умерла моя свобода,
О самой светлой, о самой стройной
Со мной беседует природа.

---

[1] Джауфре *Рюдель* — провансальский трубадур (поэт-певец) XII в.

В дали, от зноя помертвелой,
Себе и солнцу буйно рада,
О самой стройной, о самой белой
Звенит немолчная цикада.

Увижу ль пены побережной
Серебряное колыханье —
О самой белой, о самой нежной
Поет мое воспоминанье.

Вот ставит ночь свои ветрила
И тихо по небу струится,
О самой нежной, о самой милой
Мне пестрокрылый сон приснится.

РАССЫПАЮЩАЯ ЗВЕЗДЫ

Не всегда чужда ты и горда
И меня не хочешь не всегда,

Тихо-тихо, нежно, как во сне,
Иногда приходишь ты ко мне.

Надо лбом твоим густая прядь.
Мне нельзя ее поцеловать.

И глаза большие зажжены
Светами магической луны.

Нежный друг мой, беспощадный враг,
Так благословен твой каждый шаг,

Словно по сердцу ступаешь ты,
Рассыпая звезды и цветы.

Я не знаю, где ты их взяла,
Только отчего ты так светла

И тому, кто мог с тобой побыть,
На земле уж нечего любить?

О ТЕБЕ

О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!
В человеческой темной судьбе
Ты — крылатый призыв к вышине.

Благородное сердце твое —
Словно герб отошедших времен.
Освящается им бытие
Всех земных, всех бескрылых племен.

Если звезды, ясны и горды,
Отвернутся от нашей земли,
У нее есть две лучших звезды:
Это смелые очи твои.

И когда золотой серафим
Протрубит, что исполнился срок,
Мы поднимем тогда перед ним,
Как защиту, твой белый платок.

Звук замрет в задрожавшей трубе,
Серафим пропадет в вышине...
...О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!

СОН

Застонал я от сна дурного
И проснулся, тяжко скорбя;
Снилось мне — ты любишь другого
И что он обидел тебя.

Я бежал от моей постели,
Как убийца от плахи своей,
И смотрел, как тускло блестели
Фонари глазами зверей.

Ах, наверно, таким бездомным
Не блуждал ни один человек

В эту ночь по улицам темным,
Как по руслам высохших рек.

Вот стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути,
Хоть и знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.

Он обидел тебя, я знаю,
Хоть и было это лишь сном,
Но я все-таки умираю
Пред твоим закрытым окном.

ЭЗБЕКИЕ[1]

Как странно — ровно десять лет прошло
С тех пор, как я увидел Эзбекие,
Большой каирский сад, луною полной
Торжественно в тот вечер освещенный.

Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря,
Ни грохот экзотических базаров —
Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу
И сам ее приблизить был готов.

Но этот сад, он был во всем подобен
Священным рощам молодого мира:
Там пальмы тонкие взносили ветви,
Как девушки, к которым Бог нисходит;
На холмах, словно вещие друиды,
Толпились величавые платаны,

И водопад белел во мраке, точно
Встающий на дыбы единорог;
Ночные бабочки перелетали
Среди цветов, поднявшихся высоко,
Иль между звезд — так низко были звезды,
Похожие на спелый барбарис.

---

[1] *Эзбекие* (Узбекие) — огромный сад в Измаилии (европейской части Каира).

И, помню, я воскликнул: "Выше горя
И глубже смерти — жизнь! Прими, Господь,
Обет мой вольный: что бы ни случилось,
Какие бы печали, униженья
Ни выпали на долю мне, не раньше
Задумаюсь о легкой смерти я,
Чем вновь войду такой же лунной ночью
Под пальмы и платаны Эзбекие".

Как странно — ровно десять лет прошло,
И не могу не думать я о пальмах,
И о платанах, и о водопаде,
Во мгле белевшем, как единорог.
И вдруг оглядываюсь я, заслыша
В гуденье ветра, в шуме дальней речи
И в ужасающем молчанье ночи
Таинственное слово — Эзбекие.

Да, только десять лет, но, хмурый странник,
Я снова должен ехать, должен видеть
Моря, и тучи, и чужие лица —
Всё, что меня уже не обольщает,
Войти в тот сад и повторить обет
Или сказать, что я его исполнил
И что теперь свободен...

ФАРФОРОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Китайские стихи
1918 г.

Китай

ФАРФОРОВЫЙ ПАВИЛЬОН[1]

Среди искусственного озера
Поднялся павильон фарфоровый,
Тигриною спиною выгнутый,
Мост яшмовый к нему ведет.

И в этом павильоне несколько
Друзей, одетых в платья светлые,
Из чаш, расписанных драконами,
Пьют подогретое вино.

То разговаривают весело,
А то стихи свои записывают,
Заламывая шляпы желтые,
Засучивая рукава.

И ясно видно в чистом озере —
Мост вогнутый, как месяц яшмовый,
И несколько друзей за чашами,
Повернутых вниз головой.

[1] Перевод стихотворения *Ли Бо* (701 — 762).

ЛУНА НА МОРЕ[1]

Луна уже покинула утесы,
Прозрачным море золотом полно,
И пьют друзья на лодке остроносой,
Не торопясь, горячее вино.

Смотря, как тучи легкие проходят
Сквозь лунный столб, что в море отражен,
Одни из них мечтательно находят,
Что это поезд богдыханских жен.

Другие верят — это к рощам рая
Уходят тени набожных людей;
А третьи с ними спорят, утверждая,
Что это караваны лебедей.

*

Сердце радостно, сердце крылато.
В легкой, маленькой лодке моей
Я скитаюсь по воле зыбей
От восхода весь день до заката
И люблю отражения гор
На поверхности чистых озер.

Прежде тысячи были печалей,
Сердце билось, как загнанный зверь,
И хотело неведомых далей,
И хотело еще... Но теперь
Я люблю отражения гор
На поверхности чистых озер[2].

---

[1] Перевод стихотворения *Лю Вэя* (810 — ?).
[2] Перевод стихотворения *Чжан Цзи* (725? — 780?).

ПРИРОДА[1]

Спокойно маленькое озеро,
Как чашка, полная водой.

Бамбук совсем похож на хижины,
Деревья — словно море крыш.

А скалы острые, как пагоды,
Возносятся среди цветов.

Мне думать весело, что вечная
Природа учится у нас.

ДОРОГА[2]

Я видел пред собой дорогу
В тени раскидистых дубов,
Такую милую дорогу
Вдоль изгороди из цветов.

Смотрел я в тягостной тревоге,
Как плыл по ней вечерний дым.
И каждый камень на дороге
Казался близким и родным.

Но для чего идти мне ею?
Она меня не приведет
Туда, где я дышать не смею,
Где милая моя живет.

Когда она родилась, ноги
В железо заковали ей,
И стали чужды ей дороги
В тени склонившихся ветвей.

---

[1] Перевод стихотворения *Юань Цзе* (719 — 772).
[2] Автор — *Тзе Тие* (транскрипция Н. Гумилева).

Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей,
И та, которую люблю я,
Не будет никогда моей.

ТРИ ЖЕНЫ МАНДАРИНА[1]

Законная жена

Есть еще вино в глубокой чашке,
И на блюде ласточкины гнезда,
От начала мира уважает
Мандарин законную супругу.

Наложница

Есть еще вино в глубокой чашке,
И на блюде гусь большой и жирный.
Если нет детей у мандарина,
Мандарин наложницу заводит.

Служанка

Есть еще вино в глубокой чашке,
И на блюде разное варенье.
Для чего вы обе мандарину,
Каждый вечер новую он хочет.

Мандарин

Больше нет вина в глубокой чашке,
И на блюде только красный перец.
Замолчите, глупые болтушки,
И не смейтесь над несчастным старцем.

[1] Перевод стихотворения *Цзяо Жаня*.

СЧАСТЬЕ[1]

Из красного дерева лодка моя,
И флейта моя из яшмы.

Водою выводят пятно на шелку,
Вином — тревогу из сердца.

И если владеешь ты легкой ладьей,
Вином и женщиной милой,

Чего тебе надо еще? Ты во всем
Подобен гениям неба.

СОЕДИНЕНИЕ[2]

Луна восходит на ночное небо
И, светлая, покоится влюбленно.

По озеру вечерний ветер бродит,
Целуя осчастливленную воду.

О, как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга!

Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко.

СТРАННИК[3]

Странник, далеко от родины,
И без денег и без друзей,
Ты не слышишь сладкой музыки
Материнского языка.

---

[1] Перевод стихотворения *Ли Бо*.
[2] Перевод стихотворения *Цзяо Жаня*.
[3] Перевод стихотворения *Ду Фу* (712 — 770).

Но природа так ослепительна,
Что не вовсе несчастен ты.
Пенье птиц, в ветвях гнездящихся,
Разве чуждый язык тебе?

Лишь услыша флейту осени,
Переливчатый звон цикад,
Лишь увидя в небе облако,
Распластавшееся, как дракон,

Ты поймешь всю бесконечную
Скорбь, доставшуюся тебе,
И умчишься мыслью к родине,
Заслоняя рукой глаза.

ПОЭТ[1]

Я слышал из сада, как женщина пела,
Но я, я смотрел на луну.

И я никогда о певице не думал,
Луну в облаках полюбив.

Не вовсе чужой я прекрасной богине:
Ответный я чувствую взгляд.

Ни ветви дерев, ни летучие мыши
Не скроют меня от него.

Во взоры поэтов, забывших про женщин,
Отрадно смотреться луне,

Как в полные блеска чешуи драконов,
Священных поэтов морей.

[1] Перевод стихотворения *Чжан Жо-Сюя*.

ДОМ[1]

Тот дом, где играл я ребенком,
Пожрал беспощадный огонь.

Я сел на корабль золоченый,
Чтоб горе мое позабыть.

На дивно украшенной флейте
Играл я высокой луне.

Но облаком легким прикрылась
Луна, опечалена мной.

Тогда я к горе обернулся,
Но песни не шли мне на ум.

Казалось, все радости детства
Сгорели в погибшем дому.

И мне умереть захотелось,
И я наклонился к воде.

Но женщина в лодке скользнула
Вторым отраженьем луны.

И если она пожелает,
И если позволит луна,

Я дом себе новый построю
В неведомом сердце ее.

---

[1] Перевод стихотворения *Ду Фу*.

Индокитай

АННА́М[1]

Месяц стоит посредине
Дивно огромного неба,
Ветер в бамбуковой чаще,
Благоухающий воздух,
Благословенна семья.

Старшие в роще за чаем,
Пьют и стихи повторяют,
Из дому слышно гуденье,
Там занимаются дети,
Новорожденный кричит.

Тот, кто живет этой жизнью,
Полное знает блаженство.
Что ему деньги и слава,
Если он верит, что детям
Должно его пережить?

ДЕВУШКИ

Нравятся девушкам рупии
С изображением птицы,
Они покидают родителей,
Чтобы идти за французами.

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА

Что это так красен рот у жабы,
Не жевала ль эта жаба бетель?[2]
Пусть скорей приходит та, что хочет
Моего отца женой стать милой!

---

[1] *Аннам* — название Центрального Вьетнама в 1884 — 1945 гг.
[2] *Бетель* — смесь листьев, употребляемых для жевания; при этом рот окрашивается в кроваво-красный цвет.

Мой отец ее приветно встретит,
Рисом угостит и не ударит,
Только мать моя глаза ей вырвет,
Вырвет внутренности из брюха.

ЛАОС

Девушка, твои так нежны щеки,
Грудь твоя — как холмик невысокий.

Полюби меня, и мы отныне
Никогда друг друга не покинем.

Ты взойдешь на легкую пирогу,
Я возьмусь отыскивать дорогу.

На слона ты сядешь, и повсюду
Я твоим карнаком верным буду.

Если сделаешься ты луною,
Стану тучкой, чтоб играть с тобою.

Если сделаешься ты лианой,
Стану птицею иль обезьяной.

Если будешь ты на горном пике
Перед пастью пропасти великой,

Пусть мне ноги закуют в железо,
Я на пик твой все-таки долезу.

Но напрасно всё мое уменье,
Суждено мне горькое мученье,

Ты меня не любишь, и умру я,
Как бычок, травы лишенный свежей,

Без единственного поцелуя
В щеку, где румянец нежен, свежий.

КХА[1]

Где вы, красивые девушки,
Вы, что ответить не можете,
Вы, что меня оставляете
Ослабевающим голосом
Звонкое эхо будить?

Или вы съедены тиграми,
Или вас держат любовники?
Да отвечайте же, девушки.
Я полюбил вас и встретиться
С вами спустился в леса.

С гор я увидел вас голыми
Около чистого озера
И прибежал, не подумавши,
Что все вы — дочери месяца,
Черной вороны я сын.

---

[1] *Кха* — название народностей в горном Индокитае.

ШАТЕР

1921 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

И твое раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.

Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.

Обреченный тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят полчища воинов хмурых;

О деревнях с кумирами древними,
Что смеются улыбкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями
И хвостом ударяют о ребра.

Дай за это дорогу мне торную,
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.

И последняя милость, с которою
Отойду я в селенья святые, —
Дай скончаться под той сикоморою[1],
Где с Христом отдыхала Мария.

КРАСНОЕ МОРЕ

Здравствуй, Красное море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утесах твоих, вместо влажного мха,
Известняк, словно каменный кактус,
расцвел.

На твоих островах в раскаленном песке,
Позабыты приливом, растущим в ночи,
Издыхают чудовища моря в тоске:
Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

С африканского берега сотни пирог
Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
И стараются их отогнать на восток
С аравийского берега сотни фелук.

Если негр будет пойман, его уведут
На невольничий рынок Ходейды[2] в цепях,
Но араб несчастливый находит приют
В грязно-рыжих твоих и горячих волнах.

Как учитель среди шалунов, иногда
Океанский проходит средь них пароход,
Под винтом снеговая клокочет вода,
А на палубе — красные розы и лед.

Ты бессильно над ним; пусть ревет ураган,
Пусть волна как хрустальная встанет гора,
Закурив папиросу, вздохнет капитан:
"Слава Богу, свежо! Надоела жара!"

---

[1] *Сикомора* (Сикомор) — дерево из рода фикус (явор) со съедобными плодами.

[2] *Ходейда* — город и порт на Красном море.

Целый день над водой, словно стая стрекоз,
Золотые летучие рыбы видны,
У песчаных, серпами изогнутых кос
Мели, точно цветы, зелены и красны.

Блещет воздух, налитый прозрачным огнем,
Солнце сказочной птицей глядит с высоты:
"Море, Красное море, ты царственно днем,
По ночам вдвойне ослепительно ты!

Только тучкой скользнут водяные пары,
Тени черных русалок мелькнут на волнах,
Нам чужие созвездья, кресты, топоры
Над тобой загорятся в небесных садах.

И огнями бенгальскими сразу мерцать
Начинают твои колдовские струи,
Искры в них и лучи, словно хочешь создать,
Позавидовав небу, ты звезды свои.

И когда выплывает луна на зенит,
Ветр проносится, запахи леса тая,
От Суэца до Баб-эль-Мандеба[1] звенит,
Как эолова арфа[2], поверхность твоя.

На обрывистый берег выходят слоны,
Чутко слушая волн набегающих шум,
Обожать отраженье ущербной луны,
Подступают к воде и боятся акул.

И ты помнишь, как, только одно из морей,
Ты исполнило некогда Божий закон —
Разорвало могучие сплавы зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон"[3].

---

[1] *Баб-эль-Мандеб (араб.* "ворота плакальщиц") — пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном.

[2] *Эолова арфа* — древний музыкальный инструмент (ящик с натянутыми струнами, которые звенят под ветром).

[3] *Библейский сюжет (Исход. 14 : 21 – 23, 27).*

ЕГИПЕТ

Как картинка из книжки старинной,
Услаждавшей мои вечера,
Изумрудные эти равнины
И раскидистых пальм веера.

И каналы, каналы, каналы,
Что несутся вдоль глиняных стен,
Орошая Дамьетские скалы[1]
Розоватыми брызгами пен.

И такие смешные верблюды,
С телом рыб и с головками змей,
Как огромные, древние чуда
Из глубин пышноцветных морей.

И вот каким ты увидишь Египет
В час божественный трижды, когда
Солнцем день человеческий выпит
И, колдуя, дымится вода.

К отдаленным платанам цветущим
Ты приходишь, как шел до тебя
Здесь мудрец, говоря с Присносущим,
Птиц и звезды навек полюбя.

То вода ли шумит безмятежно
Между мельничных тяжких колес
Или Апис[2] мычит белоснежный,
Окровавленный цепью из роз?

Это взор благосклонный Изиды[3]
Иль мерцанье встающей луны?
Но опомнись! Растут пирамиды
Пред тобою, черны и страшны.

На седые от мха их уступы
Ночевать прилетают орлы,

---

[1] Скалы у города-порта *Дамьетт* (Думьят) на р. Нил при впадении в Средиземное море.
[2] *Апис* — имя священного быка.
[3] *Изида (егип. миф.)* — богиня плодородия и культуры.

А в глубинах покоятся трупы,
Не знакомые с тленьем, средь мглы.

Сфинкс улегся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты.

Но Египта властитель единый,
Уж колышется нильский разлив
Над чертогами Елефантины[1],
Над садами Мемфиса и Фив[2].

Там, взглянув на пустынную реку,
Ты воскликнешь: "Ведь это же сон!
Не прикован я к нашему веку,
Если вижу сквозь бездну времен.

Исполняя царевы веленья,
Не при мне ли нагие рабы
По пустыням таскали каменья,
Воздвигали вот эти столбы?

И столетья затем не при мне ли
Хороводы танцующих жриц
Крокодилу хваления пели,
Перед Ибисом[3] падали ниц?

И томясь по Антонии милом,
Поднимая большие глаза,
Клеопатра[4] считала над Нилом
Пробегающие паруса".

---

[1] *Елефантина* — остров на Ниле.
[2] *Мемфис, Фивы* — древнеегипетские города.
[3] *Ибис* — священная птица древних египтян, которой поклонялись как божеству.
[4] *Клеопатра* (69 — 30 до н. э.) — последняя царица Египта, прославившаяся умом и красотой; после поражения в войне с Римом кончила жизнь самоубийством (вслед за *Антонием*), не желая украсить своим присутствием триумф Августа (Октавиана).

Но довольно! Ужели ты хочешь
Вечно жить средь минувших отрад?
И не рад ты сегодняшней ночи
И сегодняшним травам не рад?

Не обломок старинного крипта[1],
Под твоей зазвеневший ногой,
Есть другая душа у Египта
И торжественный праздник другой.

Точно дивная фата-моргана[2],
Виден город у ночи в плену,
Над мечетью султана Гассана
Минарет протыкает луну.

На прохладных открытых террасах
Чешут женщины золото кос,
Угощают подруг темноглазых
Имбирем и вареньем из роз.

Шейхи молятся, строги и хмуры,
И лежит перед ними Коран,
Где персидские миниатюры —
Словно бабочки сказочных стран.

А поэты скандируют строфы,
Развалившись на мягкой софе,
Пред кальяном и огненным кофе
Вечерами в прохладных кафе.

Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
"Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир".

Пусть хозяева здесь — англичане,
Пьют вино и играют в футбол,
И хедива[3] в высоком диване[4]
Уж не властен святой произвол!

---

[1] *Крипт* (крипта) — подземное помещение; место погребения и убежища первых христиан; подземная часовня в церкви.
[2] *Фата-моргана* — мираж.
[3] *Хедив* — титул правителя Египта (до 1914 г.).
[4] *Диван* — здесь: правительственное учреждение.

Пусть! Но истинный царь над страною
Не араб и не белый, а тот,
Кто с сохою или с бороною
Черных буйволов в поле ведет.

Хоть ютится он в доме из ила,
Умирает, как звери, в лесах,
Он любимец священного Нила
И его современник — феллах[1].

Для него ежегодно разливы
Этих рыжих всклокоченных вод
Затопляют богатые нивы,
Где тройную он жатву берет.

И его ограждают пороги
Полосой острогрудых камней
От нежданной полночной тревоги,
От коротких нубийских[2] мечей.

А ведь знает и коршун бессонный:
Вся страна — это только река,
Окаймленная рамкой зеленой
И другой, золотой, из песка.

Если аист задумчивый близко
Поселится на поле твоем,
Напиши по-английски записку
И ему привяжи под крылом.

И весной на листе эвкалипта,
Если аист вернется назад,
Ты получишь привет из Египта
От веселых феллашских ребят.

---

[1] *Феллах* — крестьянин, земледелец.

[2] *Нубия* — страна, расположенная в средней части Нила (до XIV в.).

САХАРА

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби –
Это лишь затиханье сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Плещет Красное море. Персидский залив,
И глубóки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив
До зеленой доходит Сибири.

Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей,
Ты в одной лишь пустыне на свете
Не захочешь людей и не встретишь людей,
А полюбишь лишь солнце да ветер.

Солнце клонит лицо с голубой вышины,
И лицо это девственно юно,
И, как струи пролитого солнца, ровны
Золотые песчаные дюны.

Всюду башни, дворцы из порфировых скал,
Вкруг фонтаны и пальмы на страже,
Это солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи.

Живописец небесный вечерней порой
У подножия скал и растений
На песке, как на гладкой доске золотой,
Расстилает лиловые тени.

И, небесный певец, лишь подаст оно знак,
Прозвучат гармоничные звоны,
Это лопнет налитый огнем известняк
И рассыплется пылью червленой.

Блещут скалы, темнеют под ними внизу
Древних рек каменистые ложа,
На покрытое волнами море в грозу,
Ты промолвишь, Сахара похожа.

Но вглядись: эта вечная слава песка –
Только горнего отсвет пожара,

С небесами, где легкие спят облака,
Бродят радуги, схожа Сахара.

Буйный ветер в пустыне второй властелин.
Вот он мчится порывами, точно
Средь высоких холмов и широких долин
Дорогой иноходец восточный.

И звенит и поет, поднимаясь, песок,
Он узнал своего господина,
Воздух меркнет, становится солнца зрачок,
Как гранатовая сердцевина.

И чудовищных пальм вековые стволы,
Вихри пыли взметнулись и пухнут,
Выгибаясь, качаясь, проходят средь мглы,
Тайно веришь — вовеки не рухнут.

Так и будут бродить до скончанья веков,
Каждый час всё грозней и грознее,
Головой пропадая среди облаков,
Эти страшные серые змеи.

Но мгновенье... отстанет и дрогнет одна,
И осядет песчаная груда,
Это значит — в пути спотыкнулась она
О ревущего в страхе верблюда.

И когда на проясневшей глади равнин
Все полягут, как новые горы,
В Средиземное море уходит хамсин[1]
Кровь дурманить и сеять раздоры.

И стоит караван, и его проводник
Всюду посохом шарит в тревоге,
Где-то около плещет знакомый родник,
Но к нему он не знает дороги.

А в оазисах слышится ржанье коня
И под пальмами веянье нарда,
Хоть редки острова в океане огня,
Точно пятна на шкуре гепарда.

---

[1] *Хамсин* — песчаный ветер на северо-востоке Африки.

Но здесь часто звучит оглушающий вой,
Блещут копья и веют бурнусы.
Туарегов, что западной правят страной,
На востоке не любят тиббусы[1].

И пока они бьются за пальмовый лес,
За верблюда иль взоры рабыни,
Их родную Тибести, Мурзук, Гадамес[2]
Заметают пески из пустыни.

Потому что пустынные ветры горды
И не знают преград своеволью,
Рушат стены, сады засыпают, пруды
Отравляют белеющей солью.

И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.

И когда, наконец, корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.

СУЭЦКИЙ КАНАЛ

Стаи дней и ночей
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале,

Где идут корабли
Не по морю, по лужам,

---

[1] *Туареги, тиббусы* — представители одноименных племен.
[2] *Тибести* — плоскогорье в Центральной Сахаре; *Мурзук, Гадамес* — города в Ливии.

Посредине земли
Караваном верблюжьим.

Сколько птиц, сколько птиц
Здесь на каменных скатах,
Голубых небылиц,
Голенастых, зобатых!

Виден ящериц рой
Золотисто-зеленых,
Словно влаги морской
Стынут брызги на склонах.

Мы кидаем плоды
На ходу арапчатам,
Что сидят у воды,
Подражая пиратам.

Арапчата орут
Так задорно и звонко,
И шипит марабут[1]
Нам проклятья вдогонку.

А когда на пески
Ночь, как коршун, посядет,
Задрожат огоньки
Впереди нас и сзади;

Те красней, чем коралл,
Эти зелены, сини...
Водяной карнавал
В африканской пустыне.

С отдаленных холмов,
Легким ветром гонимы,
Бедуинских костров
К нам доносятся дымы.

С обвалившихся стен
И изгибов канала
Слышен хохот гиен,
Завыванья шакала.

---

[1] *Марабут* — мусульманин-аскет, хранитель ритуала.

И в ответ пароход,
Звезды ночи печаля,
Спящей Африке шлет
Переливы рояля.

СУДАН

Ах, наверно, сегодняшним утром
Слишком громко звучат барабаны,
Крокодильей обтянуты кожей,
Слишком звонко взывают колдуньи
На утесах Нубийского Нила,
Потому что сжимается сердце,
Лоб горяч и глаза потемнели
И в мечтах оживленная пристань,
Голоса смуглолицых матросов,
В пенных клочьях веселое море,
А за морем ущелье Дарфура,
Галереи-леса Кордофана
И великие воды Борну[1].

Города, озаренные солнцем,
Словно склады в зеленых трущобах,
А из них, как грозящие руки,
Минареты возносятся к небу.
А на тронах из кости слоновой
Восседают, как древние бреды,
Короли и владыки Судана,
Рядом с каждым, прикованный цепью,
Лев прищурился, голову поднял
И с усов лижет кровь человечью,
Рядом с каждым играет секирой
Толстогубый, с лоснящейся кожей,
Черный, словно душа властелина,
В ярко-красной рубашке палач.

Перед ними торговцы рабами
Свой товар горделиво проводят,

[1] *Нубия, Дарфур, Кордофан, Борну* — государства на территории Судана.

Стонут люди в тяжелых колодках,
И белки их сверкают на солнце,
Проезжают вожди из пустыни,
В их тюрбанах жемчужные нити,
Перья длинные страуса вьются
Над затылком играющих коней,
И надменно проходят французы,
Гладко выбриты, в белой одежде,
В их карманах бумаги с печатью,
Их завидя, владыки Судана
Поднимаются с тронов своих.

А кругом на широких равнинах,
Где трава укрывает жирафа,
Садовод Всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акаций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провел многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.

А потом, улыбнувшись, как мальчик,
Что придумал забавную шутку,
Он собрал здесь совсем небывалых,
Удивительных птиц и животных.
Краски взяв у пустынных закатов,
Попугаям он перья раскрасил,
Дал слону он клыки, что белее
Облаков африканского неба,
Льва одел золотою одеждой
И пятнистой одел леопарда,
Сделал рог, как янтарь, носорогу,
Дал газели девичьи глаза.

И ушел на далекие звезды —
Может быть, их раскрашивать тоже.
Бродят звери, как Бог им назначил,
К водопою сбираются вместе
И не знают, что дивно прекрасны,

Что таких, как они, не отыщешь,
И не знает об этом охотник,
Что в пылающий полдень таится
За кустом с ядовитой стрелою
И кричит над поверженным зверем,
Исполняя охотничью пляску,
И уносит владыкам Судана
Дорогую добычу свою.

Но роднят обитателей степи
Иногда луговые пожары.
День, когда затмевается солнце
От летящего по ветру пепла
И невиданным зверем багровым
На равнинах шевелится пламя,
Этот день — оглушительный праздник,
Что приветливый Дьявол устроил
Даме Смерти и Ужасу брату!
В этот день не узнать человека
Средь толпы опаленных, ревущих,
Всюду бьющих клыками, рогами,
Сознающих одно лишь: огонь!

Вечер. Глаз различить не умеет
Ярких нитей на поясе белом;
Это знак, что должны мусульмане
Пред Аллахом свершить омовенье,
Тот водой, кто в лесу над рекою,
Тот песком, кто в безводной пустыне.
И от голых песчаных утесов
Беспокойного Красного моря
До зеленых валов многопенных
Атлантического океана
Люди молятся. Тихо в Судане,
И над ним, над огромным ребенком,
Верю, верю, склоняется Бог.

АБИССИНИЯ

Между берегом буйного Красного моря
И суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырех плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа, страна.

Север — это болота без дна и без края,
Змеи черные подступы к ним стерегут,
Их сестер-лихорадок зловещая стая,
Желтолицая, здесь обрела свой приют.

А над ними насупились мрачные горы,
Вековая обитель разбоя — Тигре[1],
Где оскалены бездны, взъерошены боры
И вершины стоят в снеговом серебре.

В плодоносной Амхаре и сеют и косят,
Зебры любят мешаться в домашний табун,
И под вечер прохладные ветры разносят
Звуки песен гортанных и рокоты струн.

Абиссинец поет, и рыдает багана[2],
Воскрешая минувшее, полное чар;
Было время, когда перед озером Тана
Королевской столицей взносился Гондар.

Под платанами спорил о Боге ученый,
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом,
Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом

Но, поверив шоанской изысканной лести,
Из старинной отчизны поэтов и роз
Мудрый слон Абиссинии, негус Негести,
В каменистую Шоа свой трон перенес.

В Шоа воины хитры, жестоки и грубы,
Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж,
Любят слушать одни барабаны да трубы,
Мазать маслом ружье да оттачивать меч.

Хараритов, галла, сомали, данакилей[3],
Людоедов и карликов в чаще лесов
Своему Менелику они покорили,
Устелили дворец его шкурами львов.

---

[1] *Тигре* и далее *Амхара, Шоа* — области Абиссинии.
[2] *Багана* — род арфы.
[3] Названия народов Эфиопии (Абиссинии).

И, смотря на потоки у горных подножий,
На дубы и полдневных лучей торжество,
Европеец дивится, как странно похожи
Друг на друга народ и отчизна его.

Колдовская страна! Ты на дне котловины
Задыхаешься, льется огонь с высоты,
Над тобою разносится крик ястребиный,
Но в сиянье заметишь ли ястреба ты?

Пальмы, кактусы, в рост человеческий трáвы,
Слишком много здесь этой паленой травы...
Осторожнее! В ней притаились удавы,
Притаились пантеры и рыжие львы.

По обрывам и кручам дорогой тяжелой
Поднимись, и нежданно увидишь вокруг
Сикоморы и розы, веселые села
И зеленый, народом пестреющий луг.

Там колдун совершает привычное чудо,
Тут, покорна напеву, танцует змея,
Кто сто талеров взял за больного верблюда,
Сев на камень в тени, разбирает судья.

Поднимись еще выше! Какая прохлада!
Точно позднею осенью, пусты поля.
На рассвете ручьи замерзают, и стадо
Собирается кучей под кровлей жилья.

Павианы рычат средь кустов молочая,
Перепачкавшись в белом и липком соку,
Мчатся всадники, длинные копья бросая,
Из винтовок стреляя на полном скаку.

Выше только утесы, нагие стремнины,
Где кочуют ветра да ликуют орлы,
Человек не взбирался туда, и вершины
Под тропическим солнцем от снега белы.

И повсюду, вверху и внизу, караваны
Видят солнце и пьют неоглядный простор,
Уходя в до сих пор неизвестные страны
За слоновою костью и золотом гор.

Как любил я бродить по таким же дорогам,
Видеть вечером звезды, как крупный горох,
Выбегать на холмы за козлом длиннорогим,
На ночлег зарываться в седеющий мох!

Есть Музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чуять запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползет на врага
И как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

ГАЛЛА

Восемь дней от Харара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

На девятую ночь я увидел с горы —
Этот миг никогда не забуду —
Там, внизу, в отдаленной равнине, костры,
Точно красные звезды, повсюду.

И помчались одни за другими они,
Точно тучи в сияющей сини,
Ночи трижды святые и странные дни
На широкой галлаской равнине.

Всё, к чему приближался навстречу я тут,
Было больше, чем видел я раньше:
Я смотрел, как огромных верблюдов пасут
У широких прудов великанши.

Как саженного роста галласы, скача
В леопардовых шкурах и львиных,
Убегающих страусов рубят сплеча
На горячих конях-исполинах.

И как поят парным молоком старики
Умирающих змей престарелых...
И, мыча, от меня убегали быки,
Никогда не видавшие белых.

Временами я слышал у входа пещер
Звуки песен и бой барабанов,
И тогда мне казалось, что я Гулливер,
Позабытый в стране великанов.

И таинственный город, тропический Рим,
Шейх-Гуссейн[1] я увидел высокий,
Поклонился мечети и пальмам святым,
Был допущен пред очи пророка.

Жирный негр восседал на персидских коврах
В полутемной неубранной зале,
Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях,
Лишь глаза его дивно сверкали.

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Всё расспрашивал он, много ль знают о нем
В отдалённой и дикой России...
Вплоть до моря он славен своим колдовством,
И дела его точно благие.

Если мула в лесу ты не можешь найти
Или раб убежал беспокойный,
Всё получишь ты вдруг, обещав принести
Шейх-Гуссейну подарок пристойный.

---

[1] *Шейх-Гуссейн* — город в восточной части Эфиопии.

СОМАЛИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Помню ночь и песчаную помню страну
И на небе так низко луну.

И я помню, что глаз я не мог отвести
От ее золотого пути.

Там светло и, наверное, птицы поют
И цветы над прудами цветут,

Там не слышно, как бродят свирепые львы,
Наполняя рыканием рвы.

Не хватают мимозы колючей рукой
Проходящего в бездне ночной!

В этот вечер, лишь тени кустов поползли,
Подходили ко мне сомали,

Вождь их с рыжею шапкой косматых волос
Смертный мне приговор произнес,

И насмешливый взор из-под спущенных век
Видел, сколько со мной человек.

Завтра бой, беспощадный, томительный бой
С завывающей черной толпой,

Под ногами верблюдов сплетение тел,
Дождь отравленных копий и стрел,

И до боли я думал, что там, на луне,
Враг не мог бы подкрасться ко мне.

Ровно в полночь я мой разбудил караван,
За холмом грохотал океан,

Люди гибли в пучине, и мы на земле
Тоже гибели ждали во мгле.

Мы пустились в дорогу. Дышала трава,
Точно шкура вспотевшего льва.

И белели средь черных, священных камней
Вороха черепов и костей.

В целой Африке нету грозней сомали,
Безотраднее нет их земли,

Сколько белых пронзило во мраке копье
У песчаных колодцев ее,

Чтоб о подвигах их говорил Огаден[1]
Голосами голодных гиен.

И, когда перед утром склонилась луна,
Уж не та, а страшна и красна,

Понял я, что она, точно рыцарский щит,
Вечной славой героям горит,

И верблюдов велел положить, и ружью
Вверил вольную душу мою.

МАДАГАСКАР

Сердце билось, смертно тоскуя,
Целый день я бродил в тоске,
И мне снилось ночью: плыву я
По какой-то большой реке.

С каждым мигом всё шире, шире
И светлей, и светлей река,
Я в совсем неведомом мире,
И ладья моя так легка.

Красный идол на белом камне
Мне поведал разгадку чар,
Красный идол на белом камне
Громко крикнул: "Мадагаскар!"

[1] *Огаден* — полупустынная область на востоке Эфиопии.

В раззолоченных паланкинах,
В дивно вырезанных ладьях,
На широких воловьих спинах
И на звонко ржущих конях,

Там, где пели и трепетали
Легких тысячи лебедей,
Друг за другом вслед выступали
Смуглолицых толпы людей.

И о том, как рукú принцессы
Домогался старый жених,
Сочиняли смешные пьесы
И сейчас же играли их.

А в роскошной форме гусарской
Благосклонно на них взирал
Королевы мадагаскарской
Самый преданный генерал.

Между них быки Томатавы,
Схожи с грудою темных камней,
Пожирали жирные травы
Благовоньем полных полей.

И вздыхал я, зачем плыву я,
Не останусь я здесь зачем:
Неужель и здесь не спою я
Самых лучших моих поэм?

Только голос мой был не слышен,
И никто мне не мог помочь,
А на крыльях летучей мыши
Опускалась теплая ночь.

Небеса и лес потемнели,
Смолкли лебеди в забытье...
...Я лежал на моей постели
И грустил о моей ладье.

ЗАМБЕЗИ

Точно медь в самородном железе,
Иглы пламени врезаны в ночь,
Напухают валы на Замбези
И уносятся с гиканьем прочь.

Сквозь неистовство молнии белой
Что-то видно над влажной скалой,
Там могучее черное тело
Налегло на топор боевой.

Раздается гортанное пенье
Шар земной облетающих муз
Непреложны повсюду веленья!.
Он поет, этот воин-зулус:

"Я дремал в заповедном краале
И услышал рычание льва,
Сердце сжалось от сладкой печали,
Закружилась моя голова.

Меч метнулся мне в руку, сверкая,
Распахнулась таинственно дверь,
И лежал предо мной издыхая
Золотой и рыкающий зверь.

И запели мне духи тумана:
"Твой навек да прославится гнев!
Ты достойный потомок Дингана,
Разрушитель, убийца и лев!"

С той поры я всегда наготове,
По ночам мне не хочется спать,
Много, много мне надобно крови,
Чтобы жажду мою утолять.

За большими, как тучи, горами,
По болотам близ устья реки
Я арабам, торговцам рабами,
Выпускал ассагаем кишки.

И спускался я к бурам в равнины
Принести на просторы лесов

Восемь ран, украшений мужчины,
И одиннадцать вражьих голов.

Тридцать лет я по лесу блуждаю,
Не боюсь ни людей, ни огня,
Ни богов... но что знаю, то знаю:
Есть один, кто сильнее меня.

Это слон в неизведанных чащах,
Он, как я, одинок и велик
И вонзает во всех проходящих
Пожелтевший изломанный клык.

Я мечтаю о нем беспрестанно,
Я всегда его вижу во сне,
Потому что мне духи тумана
Рассказали об этом слоне.

С ним борьба для меня бесполезна,
Сердце знает, что буду убит,
Распахнется небесная бездна
И Динган, мой отец, закричит:

"Да, ты не был трусливой собакой,
Львом ты был между яростных львов,
Так садись между мною и Чакой
На скамье из людских черепов!"

ДАМАРА[1]

Готтентотская космогония[2]

Человеку грешно гордиться,
Человека ничтожная сила:
Над землею когда-то птица
Человека сильней царила.

---

[1] *Дамара* (Дамараленд) — пустынное нагорье в центральной части современной Намибии.

[2] *Готтентоты* — древнейший народ в Южной Африке; *космогония* — здесь: миф о происхождении.

По утрам выходила рано
К берегам крутым океана
И глотала целые скалы,
Острова целиком глотала.

А священными вечерами
Над высокими облаками,
Поднимая голову, пела,
Пела Богу про Божье дело.

А ногами чертила знаки,
Те, что знают в подземном мраке,
Всё, что будет, и всё, что было,
На песке ногами чертила.

И была она так прекрасна,
Так чертила, пела согласно,
Что решила с Богом сравниться
Неразумная эта птица.

Бог, который весь мир расчислил,
Угадал ее злые мысли
И обрек ее на несчастье,
Разорвал ее на две части.

И из верхней части, что пела,
Пела Богу про Божье дело,
Родились на свет готтентоты
И поют, поют без заботы.

А из нижней, чертившей знаки,
Те, что знают в подземном мраке,
Появились на свет бушмены[1],
Украшают знаками стены.

А вот перья, что улетели
Далеко в океан, доселе
Всё плывут, как белые люди;
И когда их довольно будет,

[1] *Бушмены* — готтентотское племя.

Вновь срастутся былые части
И опять изведают счастье.
В белых перьях большая птица
На своей земле поселится.

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС

Я поставил палатку на каменном склоне
Абиссинских, сбегающих к западу гор
И беспечно смотрел, как пылают закаты
Над зеленою крышей далеких лесов.

Прилетали оттуда какие-то птицы
С изумрудными перьями в длинных хвостах,
По ночам выбегали веселые зебры,
Мне был слышен их храп и удары копыт.

И однажды закат был особенно красен,
И особенный запах летел от лесов,
И к палатке моей подошел европеец,
Исхудалый, небритый, и есть попросил.

Вплоть до ночи он ел неумело и жадно,
Клал сардинки на мяса сухого ломоть,
Как пилюли проглатывал кубики магги[1]
И в абсент добавлять отказался воды.

Я спросил, почему он так мертвенно бледен,
Почему его руки сухие дрожат,
Как листы... "Лихорадка великого леса", —
Он ответил и с ужасом глянул назад.

Я спросил про большую открытую рану,
Что сквозь тряпки чернела на впалой груди,
Что с ним было? "Горилла великого леса", —
Он сказал и не смел оглянуться назад.

Был с ним карлик, мне по пояс, голый и
черный,
Мне казалось, что он не умел говорить,

[1] *Магги* — сгущенный мясной бульон.

Точно пес он сидел за своим господином,
Положив на колени бульдожье лицо.

Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку,
Он оскалил ужасные зубы свои
И потом целый день волновался и фыркал
И раскрашенным дротиком бил по земле.

Я постель предоставил усталому гостю,
Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
Жадно слушая длинную дикую повесть,
Лихорадочный бред пришлеца из лесов.

Он вздыхал: "Как темно... этот лес бесконечен...
Не увидеть нам солнца уже никогда...
Пьер, дневник у тебя? На груди под рубашкой?..
Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник!

Почему нас покинули черные люди?
Горе, компасы наши они унесли...
Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы,
Только посвист и шорох вверху и внизу!

Пьер, заметил костры? Там, наверное, люди...
Неужели же мы наконец спасены?
Это карлики... сколько их, сколько их
собралось...
Пьер, стреляй! На костре — человечья нога!

В рукопашную! Помни, отравлены стрелы...
Бей того, кто на пне... он кричит, он их вождь...
Горе мне! На куски разлетелась винтовка...
Ничего не могу... повалили меня...

Нет, я жив, только связан... злодеи, злодеи,
Отпустите меня, я не в силах смотреть!..
Жарят Пьера... а мы с ним играли в Марселе,
На утесе у моря играли детьми.

Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени?
Я плюю на тебя, омерзительный зверь!
Но ты лижешь мне руки? Ты рвешь мои путы?
Да, я понял, ты богом считаешь меня...

Ну, бежим! Не бери человечьего мяса,
Всемогущие боги его не едят...
Лес... о, лес бесконечный... я голоден, Акка,
Излови, если можешь, большую змею!"

Он стонал и хрипел, он хватался за сердце
И наутро, почудилось мне, задремал;
Но когда я его разбудить попытался,
Я увидел, что мухи ползли по глазам.

Я его закопал у подножия пальмы,
Крест поставил над грудой тяжелых камней
И простые слова написал на дощечке:
"Христианин зарыт здесь, молитесь о нем".

Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно,
Но, когда я закончил печальный обряд,
Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону,
Как олень, убегая в родные леса.

Через год я прочел во французских газетах,
Я прочел и печально поник головой:
"Из большой экспедиции к Верхнему Конго
До сих пор ни один не вернулся назад".

ДАГОМЕЯ

Царь сказал своему полководцу: "Могучий,
Ты высок, точно слон дагомейских лесов,
Но ты все-таки ниже торжественной кучи
Отсеченных тобой человечьих голов.

И, как доблесть твоя, о испытанный воин,
Так и милость моя не имеет конца.
Видишь солнце над морем? Ступай! Ты
достоин
Быть слугой моего золотого отца".

Барабаны забили, защелкали бубны,
Преклоненные лица завыли вокруг,
Амазонки запели протяжно, и трубный
Прокатился по морю от берега звук.

Полководец царю поклонился в молчанье
И с утеса в бурливую воду прыгнул,
И тонул он в воде, а казалось, в сиянье
Золотого закатного солнца тонул.

Оглушали его барабаны и клики,
Ослепляли соленые брызги волны,
Он исчез. И блистало лицо у владыки,
Точно черное солнце подземной страны.

НИГЕР

Я на карте моей под ненужною сеткой
Сочиненных для скуки долгот и широт
Замечаю, как что-то чернеющей веткой,
Виноградной оброненной веткой ползет.

А вокруг города, точно горсть виноградин,
Это — Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту,
Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден,
Точно бой барабанов, он будит мечту.

Но не верю, не верю я, справлюсь по книге,
Ведь должна же граница и тупости быть!
Да, написано Нигер... О царственный Нигер,
Вот как люди посмели тебя оскорбить!

Ты торжественным морем течешь по Судану,
Ты сражаешься с хищною стаей песков,
И, когда приближаешься ты к океану,
С середины твоей не видать берегов.

Бегемотов твоих розоватые рыла
Точно сваи незримого чуда-моста,
И винты пароходов твои крокодилы
Разбивают могучим ударом хвоста.

Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую,
Небывалую карту, отраду для глаз,
Я широкою лентой парчу золотую
Положу на зеленый и нежный атлас.

Снизу слева кровавые лягут рубины —
Это край металлических странных богов.
Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины
Меж слоновьих клыков и людских черепов?

Дальше справа, где рощи густые Сокото,
На атлас положу я большой изумруд, —
Здесь богаты деревни, привольна охота,
Здесь свободные люди, как птицы, поют.

Дальше бледный опал, прихотливо мерцая
Затаенным в нем красным и синим огнем,
Мне так сладко напомнит равнины Сонгаи
И султана сонгайского глиняный дом.

И жемчужиной дивной, конечно, означен
Будет город сияющих крыш, Тимбукту,
Над которым и коршун кричит, озадачен,
Видя в сердце пустыни мимозы в цвету,

Видя девушек смуглых и гибких, как лозы,
Чье дыханье пьяней бальзамических смол,
И фонтаны в садах и кровавые розы,
Что венчают вождей поэтических школ.

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!

ОГНЕННЫЙ СТОЛП

1921 г.

Анне Николаевне Гумилевой[1]

ПАМЯТЬ

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака —
Вот кого он взял себе в друзья.
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,

[1] Анна Николаевна Гумилева (урожд. Энгельгардт, 1895 – 1942) – вторая жена Гумилева.

Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка.
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет:
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник[1], скрыв лицо; но всё пойму,

[1] *Путник* — Христос.

Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему[1].

Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

ЛЕС

В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы.

Из земли за корнем корень выходил,
Точно руки обитателей могил.

Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,

И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой руки.

Никогда сюда тропа не завела
Пэра Франции иль Круглого Стола,

И разбойник не гнездился здесь в кустах,
И пещерки не выкапывал монах.

Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,

Но в короне из литого серебра,
И вздыхала и стонала до утра,

И скончалась тихой смертью на заре,
Перед тем как дал причастье ей кюре.

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,

[1] *Лев, орел* — символы евангелистов Марка и Иоанна.

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.

Я придумал это, глядя на твои
Косы — кольца огневеющей змеи,

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,

Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

ДУША И ТЕЛО

1

Над городом плывет ночная тишь
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты все-таки молчишь,
Помилуй, Боже, мраморные души.

И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
"Зачем открыла я для бытия
Глаза в презренном человечьем теле?

Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью.
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.

Ах, я возненавидела любовь —
Болезнь, которой все у вас подвластны,
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.

И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
Холодное презрительное горе".

2

Закат из золотого стал как медь,
Покрылись облака зеленой ржою,
И телу я сказал тогда: "Ответь
На всё провозглашенное душою".

И тело мне ответило мое,
Простое тело, но с горячей кровью:

"Не знаю я, что значит бытие,
Хотя и знаю, что зовут любовью.

Люблю в соленой плéскаться волне,
Прислушиваться к крикам ястребиным,
Люблю на необъезженном коне
Нестись по лугу, пахнущему тмином.

И женщину люблю... Когда глаза
Ее потупленные я целую,
Я пьяно, будто близится гроза,
Иль будто пью я воду ключевую.

Но я за всё, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней".

3

Когда же Слово Бога с высоты
Большой Медведицею заблестело,
С вопросом: "Кто же, вопрошатель, ты?" —
Душа предстала предо мной и тело.

На них я взоры медленно вознес
И милостиво дерзостным ответил:
"Скажите мне, ужель разумен пес,
Который воет, если месяц светел?

Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье —
Весь срок от первого земного дня
До огненного светопреставленья?

Меня, кто словно древо Игдразиль[1],
Пророс главою семью семь вселенных
И для очей которого, как пыль,
Поля земные и поля блаженных?

[1] *Древо Игдразиль (сканд. миф.)* — мировое древо, центр мироздания; Игдразиль пропитан священным медом поэзии.

Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье,
А вы — вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья!"

КАНЦОНА ПЕРВАЯ

Закричал громогласно
В сине-черную сонь
На дворе моем красный
И пернатый огонь.

Ветер милый и вольный,
Прилетевший с луны,
Хлещет дерзко и больно
По щекам тишины.

И, вступая на кручи,
Молодая заря
Кормит жадные тучи
Ячменем янтаря.

В этот час я родился,
В этот час и умру,
И зато мне не снился
Путь, ведущий к добру.

И уста мои рады
Целовать лишь одну,
Ту, с которой не надо
Улетать в вышину.

КАНЦОНА ВТОРАЯ

И совсем не в мире мы, а где-то
На задворках мира средь теней.
Сонно перелистывает лето
Синие страницы ясных дней.

Маятник, старательный и грубый,
Времени непризнанный жених,

Заговорщицам секундам рубит
Головы хорошенькие их.

Так пыльна здесь каждая дорога,
Каждый куст так хочет быть сухим,
Что не приведет единорога
Под уздцы к нам белый серафим.

И в твоей лишь сокровенной грусти,
Милая, есть огненный дурман,
Что в проклятом этом захолустье —
Точно ветер из далеких стран.

Там, где всё сверканье, всё движенье,
Пенье всё, — мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.

ПОДРАЖАНЬЕ ПЕРСИДСКОМУ

Из-за слов твоих, как соловьи,
Из-за слов твоих, как жемчуга,
Звери дикие — слова мои,
Шерсть на них, клыки у них, рога.

Я ведь безумным стал, красавица.

Ради щек твоих, ширазских роз,
Краску щек моих утратил я,
Ради золотых твоих волос
Золото мое рассыпал я.

Нагим и голым стал, красавица.

Для того чтоб посмотреть хоть раз,
Бирюза — твой взор или берилл,
Семь ночей не закрывал я глаз,
От дверей твоих не отходил.

С глазами, полными крови, стал, красавица.

Оттого что дома ты всегда,
Я не выхожу из кабака,

Оттого что честью ты горда,
Тянется к ножу моя рука.

Площадным негодяем стал, красавица.

Если солнце есть и вечен Бог,
То перешагнешь ты мой порог.

ПЕРСИДСКАЯ МИНИАТЮРА

Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache[1] со смертью хмурой,
То сделает меня творец
Персидскою миниатюрой.

И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.

С копьем окровавленным шах,
Стремящийся тропой неверной
На киноварных высотах
За улетающею серной.

И ни во сне, ни наяву
Невиданные туберозы,
И сладким вечером в траву
Уже наклоненные лозы.

А на обратной стороне,
Как облака Тибета чистой,
Носить отрадно будет мне
Значок великого артиста.

Благоухающий старик,
Негоциант или придворный,
Взглянув, меня полюбит вмиг
Любовью острой и упорной.

[1] В прятки *(фр.)*.

Его однообразных дней
Звездой я буду путеводной.
Вино, любовниц и друзей
Я заменю поочередно.

И вот когда я утолю
Без упоенья, без страданья
Старинную мечту мою —
Будить повсюду обожанье.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

СЛОНЕНОК

Моя любовь к тебе сейчас — слоненок,
Родившийся в Берлине иль Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.

Не предлагай ему французских булок,
Не предлагай ему кочней капустных —
Он может съесть лишь дольку мандарина,
Кусочек сахара или конфету.

Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
Он сделается посмеяньем черни,
Чтоб в нос ему пускали дым сигары
Приказчики под хохот мидинеток[1].

Не думай, милая, что день настанет,
Когда, взбесившись, разорвет он цепи
И побежит по улицам, и будет,
Как автобус, давить людей вопящих.

Нет, пусть тебе приснится он под утро
В парче и меди, в страусовых перьях,
Как тот, Великолепный, что когда-то
Нес к трепетному Риму Ганнибала.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы —
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

[1] *Мидинетка (фр. арго)* — служащая, продавщица.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели про трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
"Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?"

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: "Зеленная", — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньке и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

ОЛЬГА

"Эльга, Эльга!" — звучало над полями,
Где ломали друг другу крестцы
С голубыми, свирепыми глазами
И жилистыми руками молодцы.

"Ольга, Ольга!" — вопили древляне
С волосами желтыми, как мед,
Выцарапывая в раскаленной бане
Окровавленными ногтями ход.

И за дальними морями чужими
Не уставала звенеть,
То же звонкое вызванивая имя,
Варяжская сталь в византийскую медь.

Все забыл я, что помнил ране,
Христианские имена,
И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
Слаще самого старого вина.

Год за годом всё неизбежней
Запевают в крови века.
Опьянен я тяжестью прежней
Скандинавского костяка.

Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы[1],
Славных битв и пиров я жду.

Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи розовые хребты,
И валькирией[2] надо мною,
Ольга, Ольга, кружишь ты.

У ЦЫГАН

Толстый, качался он, как в дурмане.
Зубы блестели из-под хищных усов,
На ярко-красном его доломане[3]
Сплетались узлы золотых шнуров.

Струна... и гортанный вопль... и сразу
Сладостно так заныла кровь моя,
Так убедительно поверил я рассказу
Про иные, родные мне края.

Вещие струны — это жилы бычьи.
Но горькой травой питались быки.
Гортанный голос — жалобы девичьи
Из-под зажимающей рот руки.

Пламя костра, пламя костра, колонны
Красных стволов и оглушительный гик.
Ржавые листья топчет гость влюбленный —
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

Капли крови текут с усов колючих,
Томно ему, он сыт, он опьянел,

---

[1] *Валгалла* (Вальхалла) *(сканд. миф.)* — дворец мертвых.
[2] *Валькирии (сканд. миф.)* — воинственные девы, уносившие павших в битве героев в Валгаллу.
[3] *Доломан* — гусарский мундир.

Ах, здесь слишком много бубнов гремучих,
Слишком много сладких, пахучих тел.

Мне ли видеть его в дыму сигарном,
Где пробки хлопают, люди кричат,
На мокром столе чубуком янтарным
Злого сердца отстукивающим такт?

Мне, кто помнит его в струге алмазном
На убегающей к Творцу реке
Грозою ангелов и сладким соблазном,
С кровавой лилией в тонкой руке?

Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,
Встань перед ним, как комета в ночи.
Сердце крылатое в груди косматой
Вырви, вырви сердце и растопчи.

Шире, всё шире, кругами, кругами
Ходи, ходи и рукой мани.
Так пар вечерний плавает лугами,
Когда за лесом огни и огни.

Вот струны-быки и слева и справа.
Рога их — смерть и мычанье — беда.
У них на пастбище горькие травы,
Колючий волчец, полынь, лебеда.

Хочет встать, не может... кремень зубчатый,
Зубчатый кремень, как гортанный крик,
Под бархатной лапой, грозно подъятой,
В его крылатое сердце проник.

Рухнул грудью, путая аксельбанты,
Уже ни пить, ни смотреть нельзя,
Засуетились официанты,
Пьяного гостя унося.

Что ж, господа, половина шестого?
Счет, Асмодей[1], нам приготовь!
Девушка, смеясь, с полосы кремневой
Узким язычком слизывает кровь.

---

[1] *Асмодей* — одно из имен дьявола.

ПЬЯНЫЙ ДЕРВИШ[1]

Соловьи на кипарисах и над озером луна.
Камень черный, камень белый, много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!"

Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера.
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!

Я бродяга и трущобник, непутевый человек.
Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек
Ради розовой усмешки и напева одного:
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!"

Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья.
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!"

Под луною всколыхнулись в дымном озере струи.
На высоких кипарисах замолчали соловьи.
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!"

ЛЕОПАРД

Если убитому леопарду не опалить немедленно усов, дух его будет преследовать охотника.

Абиссинское поверье

Колдовством и ворожбою
В тишине глухих ночей
Леопард, убитый мною,
Занят в комнате моей.

[1] *Дервиш* — на Востоке нищенствующий по обету монах.

Люди входят и уходят,
Позже всех уходит та,
Для которой в жилах бродит
Золотая темнота.

Поздно. Мыши засвистели,
Глухо крякнул домовой,
И мурлычет у постели
Леопард, убитый мной.

"По ущельям Добробрана[1]
Сизый плавает туман,
Солнце, красное, как рана,
Озарило Добробран.

Запах меда и вербены
Ветер гонит на восток,
И ревут, ревут гиены,
Зарывая нос в песок.

Брат мой, враг мой, ревы слышишь,
Запах чуешь, видишь дым?
Для чего ж тогда ты дышишь
Этим воздухом сырым?

Нет, ты должен, мой убийца,
Умереть в стране моей,
Чтоб я снова мог родиться
В леопардовой семье".

Неужели до рассвета
Мне ловить лукавый зов?
Ах, не слушал я совета,
Не спалил ему усов.

Только поздно! Вражья сила
Одолела и близка:
Вот затылок мне сдавила,
Точно медная, рука...

Пальмы... С неба страшный пламень
Жжет песчаный водоем...
Данакиль припал за камень
С пламенеющим копьем.

[1] *Добробран* – Дэбрэ-Бэрхан (Центральная Эфиопия).

Он не знает и не спросит,
Чем душа моя горда,
Только душу эту бросит,
Сам не ведая куда.

И не в силах я бороться,
Я спокоен, я встаю.
У жирафьего колодца
Я окончу жизнь мою.

МОЛИТВА МАСТЕРОВ

Я помню древнюю молитву мастеров:
Храни нас, Господи, от тех учеников,

Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений.

Нам может нравиться прямой и честный
враг,
Но эти каждый наш выслеживают шаг.

Их радует, что мы в борении, покуда
Петр отрекается и предает Иуда[1].

Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

Что создадим мы впредь, на это власть
Господня,
Но что мы создали, то с нами посегодня.

Всем оскорбителям мы говорим привет,
Превозносителям мы отвечаем — нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный
Равно для творческой святыни непотребны.

Вам стыдно мастера дурманить беленой,
Как карфагенского слона[2] перед войной.

[1] См.. Матф. 26.
[2] В армии Ганнибала были боевые слоны.

ПЕРСТЕНЬ

Уронила девушка перстень
В колодец, в колодец ночной,
Простирает легкие персты
К холодной воде ключевой:

"Возврати мой перстень, колодец,
В нем красный цейлонский рубин.
Что с ним будет делать народец
Тритонов и мокрых ундин?"

В глубине вода потемнела,
Послышался ропот и гам:
"Теплотою живого тела
Твой перстень понравился нам".

"Мой жених изнемог от муки,
И будет он в водную гладь
Погружать горячие руки,
Горячие слезы ронять".

Над водой показались рожи
Тритонов и мокрых ундин:
"С человеческой кровью схожий,
Понравился нам твой рубин".

"Мой жених, он живет с молитвой,
С молитвой одной о любви.
Попрошу, и стальною бритвой
Откроет он вены свои".

"Перстень твой, наверно, целебный,
Что ты молишь его с тоской,
Выкупаешь такой волшебной
Ценой — любовью мужской".

"Просто золото краше тела
И рубины красней, чем кровь,
И доныне я не умела
Понять, что такое любовь".

ДЕВА-ПТИЦА

Пастух веселый
Поутру рано
Выгнал коров в тенистые долы
Броселианы.

Паслись коровы,
И песню своих веселий
На тростниковой
Играл он свирели.

И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий.
Он видит птицу, как пламя,
С головкой милой, девичьей.

Прерывно пенье,
Так плачет во сне младенец.
В черных глазах томленье,
Как у восточных пленниц.

Пастух дивится
И смотрит зорко:
"Такая красивая птица,
А стонет так горько".

Ее ответу
Он внемлет, смущенный:
"Мне подобных нету
На земле зеленой.

Хоть мальчик-птица,
Исполненный дивных желаний,
И должен родиться
В Броселиане[1],

Но злая
Судьба нам не даст наслажденья;
Подумай, пастух, должна я
Умереть до его рожденья.

---

[1] Правильно: *Броселианда* – сказочная страна из средневековых романов о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола...

И вот мне не любы
Ни солнце, ни месяц высокий,
Никому не нужны мои губы
И бледные щеки.

Но всего мне жальче,
Хоть и всего дороже,
Что птица-мальчик
Будет печальным тоже.

Он станет порхать по лугу,
Садиться на вязы эти
И звать подругу,
Которой уж нет на свете.

Пастух, ты, наверно, грубый,
Ну что ж, я терпеть умею.
Подойди, поцелуй мои губы
И хрупкую шею.

Ты юн, захочешь жениться,
У тебя будут дети,
И память о деве-птице
Долетит до иных столетий".

Пастух вдыхает запах
Кожи, солнцем нагретой,
Слышит, на птичьих лапах
Звенят золотые браслеты.

Вот уже он в исступленье,
Что делает, сам не знает.
Загорелые его колени
Красные перья попирают.

Только раз застонала птица,
Раз один застонала,
И в груди ее сердце биться
Вдруг перестало.

Она не воскреснет,
Глаза помутнели,
И грустные песни
Над нею играет пастух на свирели.

С вечерней прохладой
Встают седые туманы,
И гонит он к дому стадо
Из Броселианы.

ЗВЕЗДНЫЙ УЖАС

Это было золотою ночью,
Золотою ночью, но безлунной,
Он бежал, бежал через равнину,
На колени падал, поднимался,
Как подстреленный метался заяц,
И горячие струились слезы
По щекам, морщинами изрытым,
По козлиной старческой бородке.
А за ним его бежали дети,
А за ним его бежали внуки,
И в шатре из небеленой ткани
Брошенная правнучка визжала.

"Возвратись, — ему кричали дети,
И ладони складывали внуки, —
Ничего худого не случилось:
Овцы не наелись молочая,
Дождь огня священного не залил,
Ни косматый лев, ни зенд жестокий[1]
К нашему шатру не подходили".

Черная пред ним чернела круча.
Старый кручи в темноте не видел,
Рухнул так, что затрещали кости,
Так, что чуть души себе не вышиб.
И тогда еще ползти пытался,
Но его уже схватили дети,
За полы придерживали внуки,
И такое он им молвил слово:

"Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,

[1] *Зенд жестокий* — очевидно, иранское племя зендов.

Потому что столькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны.
Этой ночью я заснул, как должно,
Обернувшись шкурой, носом в землю,
Снилась мне хорошая корова
С выменем отвислым и раздутым.
Под нее подполз я, поживиться
Молоком парным, как уж я думал,
Только вдруг она меня лягнула.
Я перевернулся и проснулся:
Был без шкуры я и носом к небу.
Хорошо еще, что мне вонючка
Правый глаз поганым соком выжгла,
А не то, гляди я в оба глаза,
Мертвым бы остался я на месте.
Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился".

Дети взоры опустили в землю,
Внуки лица спрятали локтями.
Молчаливо ждали все, что скажет
Старший сын с седою бородою.
И такое тот промолвил слово:

"С той поры, что я живу, со мною
Ничего худого не бывало,
И мое выстукивает сердце,
Что и впредь худого мне не будет.
Я хочу обоими глазами
Посмотреть, кто это бродит в небе".

Вымолвил и сразу лег на землю,
Не ничком на землю лег, спиною.
Все стояли затаив дыханье.
Слушали и ждали очень долго.
Вот старик спросил, дрожа от страха:
"Что ты видишь?" — но ответа не дал
Сын его с седою бородою.
И когда над ним склонились братья,
То увидели, что он не дышит,
Что лицо его, темнее меди,
Исковеркано руками смерти.

Ух, как женщины заголосили,
Как заплакали, завыли дети!
Старый бороденку дергал, хрипло
Страшные проклятья выкликая.
На ноги вскочили восемь братьев,
Крепких мужей, ухватили луки.
"Выстрелим, — они сказали, — в небо,
И того, кто бродит там, подстрелим...
Что нам это за напасть такая?"
Но вдова умершего вскричала:
"Мне отмщенье, а не вам отмщенье!
Я хочу лицо его увидеть,
Горло перервать ему зубами
И когтями выцарапать очи".

Крикнула и брякнулась на землю,
Но глаза зажмуривши, и долго
Про себя шептала заклинанья,
Грудь рвала себе, кусала пальцы.
Наконец взглянула, усмехнулась
И закуковала, как кукушка:

"Лин, зачем ты к озеру? Линойя,
Хороша печенка антилопы?
Дети, у кувшина нос отбился.
Вот я вас! Отец, вставай скорее,
Видишь, зенды с ветками омелы
Тростниковые корзины тащат.
Торговать они идут, не биться.
Сколько здесь огней, народа сколько!
Собралось всё племя... Славный праздник!"

Старый успокаиваться начал,
Трогать шишки на своих коленях.
Дети луки опустили, внуки
Осмелели, даже улыбнулись.
Но когда лежащая вскочила
На ноги, то все позеленели,
Все вспотели даже от испуга:
Черная, но с белыми глазами,
Яростно она металась, воя:
"Горе! Горе! Страх, петля и яма!
Где я? Что со мною? Красный лебедь
Гонится за мной... Дракон трехглавый

Крадется... Уйдите, звери, звери!
Рак, не тронь! Скорей от козерога!"

И когда она всё с тем же воем,
С воем обезумевшей собаки,
По хребту горы помчалась к бездне,
Ей никто не побежал вдогонку.

Смутные к шатрам вернулись люди,
Сели вкруг на скалы и боялись.
Время шло к полуночи. Гиена
Ухнула и сразу замолчала.
И сказали люди: "Тот, кто в небе,
Бог иль зверь, он, верно, хочет жертвы.
Надо принести ему телицу
Непорочную, отроковицу,
На которую досель мужчина
Не смотрел ни разу с вожделеньем.
Умер Гар, сошла с ума Гарайя,
Дочери их только восемь весен,
Может быть, она и пригодится".

Побежали женщины и быстро
Притащили маленькую Гарру.
Старый поднял свой топор кремневый,
Думал — лучше продолбить ей темя,
Прежде чем она на небо взглянет,
Внучка ведь она ему, и жалко, —
Но другие не дали, сказали:
"Что за жертва с теменем долбленым?"

Положили девочку на камень,
Плоский черный камень, на котором
До сих пор пылал огонь священный —
Он погас во время суматохи.
Положили и склонили лица,
Ждали, вот она умрет и можно
Будет всем пойти заснуть до солнца.

Только девочка не умирала,
Посмотрела вверх, потом направо,
Где стояли братья, после снова
Вверх и захотела спрыгнуть с камня.
Старый не пустил, спросил: "Что видишь?"

И она ответила с досадой:
"Ничего не вижу. Только небо
Вогнутое, черное, пустое
И на небе огоньки повсюду,
Как цветы весною на болоте".
Старый призадумался и молвил:
"Посмотри еще!" И снова Гарра
Долго-долго на небо смотрела.
"Нет, – сказала, – это не цветочки,
Это просто золотые пальцы
Нам показывают на равнину,
И на море, и на горы зендов,
И показывают, что случилось,
Что случается и что случится".

Люди слушали и удивлялись:
Так не то что дети, так мужчины
Говорить доныне не умели,
А у Гарры пламенели щеки,
Искрились глаза, алели губы,
Руки поднимались к небу, точно
Улететь она хотела в небо.
И она запела вдруг так звонко,
Словно ветер в тростниковой чаще,
Ветер с гор Ирана на Евфрате.

Мелле было восемнадцать весен,
Но она не ведала мужчины,
Вот она упала рядом с Гаррой,
Посмотрела и запела тоже.
А за Меллой Аха, и за Ахой
Урр, ее жених, и вот всё племя
Полегло и пело, пело, пело,
Словно жаворонки жарким полднем
Или смутным вечером лягушки.

Только старый отошел в сторонку,
Зажимая уши кулаками,
И слеза катилась за слезою
Из его единственного глаза.
Он свое оплакивал паденье
С кручи, шишки на своих коленях,
Гара и вдову его, и время
Прежнее, когда смотрели люди

На равнину, где паслось их стадо,
На́ воду, где пробегал их парус,
На траву, где их играли дети,
А не в небо черное, где блещут
Недоступные чужие звезды.

ПОСРЕДИНЕ СТРАНСТВИЯ ЗЕМНОГО

*

Из букета целого сирени
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.

Все казалось мне, что в белой пене
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени
За кормой большого корабля.

И за огненными небесами
Обо мне задумалась она,
Девушка с газельими глазами
Моего любимейшего сна.

Сердце прыгало, как детский мячик,
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого что мне нельзя иначе,
Оттого что я ее люблю.

*

Много есть людей, что, полюбив,
Мудрые, дома себе возводят,
Возле их благословенных нив
Дети резвые за стадом бродят.

А другим — жестокая любовь,
Горькие ответы и вопросы,
С желчью смешана, кричит их кровь,
Слух их жалят злобным звоном осы.

А иные любят, как поют,
Как поют и дивно торжествуют,
В сказочный скрываются приют;
А иные любят, как танцуют.

Как ты любишь, девушка, ответь,
По каким тоскуешь ты истомам?
Неужель ты можешь не гореть
Тайным пламенем, тебе знакомым?

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной господней
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?

*

Мы в аллеях светлых пролетали,
Мы летели около воды,
Золотые листья опадали
В синие и сонные пруды.

И причуды, и мечты, и думы
Поверяла мне она свои,
Всё, что может девушка придумать
О еще неведомой любви.

Говорила: "Да, любовь свободна,
И в любви свободен человек,
Только то лишь сердце благородно,
Что умеет полюбить навек".

Я смотрел в глаза ее большие,
И я видел милое лицо
В рамке, где деревья золотые
С водами слились в одно кольцо.

И я думал: "Нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь — в судьбе,
Потому что даже без ответа
Я отныне обречен тебе".

ПОЗОР

Вероятно, в жизни предыдущей
Я зарезал и отца и мать.
Если в этой — Боже Присносущий! —
Так жестоко осужден страдать.

Если б кликнул я мою собаку,
Посмотрел на моего коня,
Моему не повинуясь знаку,
Звери бы умчались от меня.

Если б подошел я к пене моря,
Так давно знакомой и родной,
Море почернело бы от горя,
Быстро отступая предо мной.

Каждый день мой, как мертвец, спокойный,
Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.

Пусть приходит смертное томленье,
Мне оно не помешает ждать,
Что в моем грядущем воплощенье
Сделаюсь я воином опять.

*

Мой альбом, где страсть сквозит без меры
В каждой мной отточенной строфе,
Дивным покровительством Венеры
Спасся он от аутодафе[1].

И потом — да славится наука! —
Будет в библио́теке стоять
Вашего расчетливого внука
В год две тысячи и двадцать пять.

---

[1] *Аутодафе* — сожжение на костре.
[2] *Фриско (жаргон.)* — Сан-Франциско.

Но американец длинноносый
Променяет Фриско[2] на Тамбов,
Сердцем вспомнив русские березы,
Звон малиновый колоколов.

Гостем явит он себя достойным
И, узнав, что был такой поэт,
Мой (и Ваш) альбом с письмом пристойным
Он отправит в университет.

Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осел, перед которым в ясли
Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины:
"О любви несчастной Гумилева
В год четвертый мировой войны"

И когда тогдашние Лигейи[1],
С взорами, где ангелы живут,
Со щеками лепестка свежее,
Прочитают сей почтенный труд.

Каждая подумает уныло,
Легкого презренья не тая:
"Я б американца не любила,
А любила бы поэта я".

*

Лишь черный бархат, на котором
Забыт сияющий алмаз,
Сумею я сравнить со взором
Ее почти поющих глаз.

Ее фарфоровое тело
Томит неясной белизной,
Как лепесток сирени белой
Под умирающей луной.

---

[1] *Лигейя* — героиня одноименного рассказа Э. По.

Пусть руки нежно-восковые,
Но кровь в них так же горяча,
Как перед образом Марии
Неугасимая свеча.

И вся она легка, как птица
Осенней ясною порой,
Уже готовая проститься
С печальной северной страной.

*

Пролетала золотая ночь
И на миг замедлила в пути,
Мне, как другу, захотев помочь,
Ваши письма думала найти —

Те, что Вы не написали мне...
А потом присела на кровать
И сказала: "Знаешь, в тишине
Хорошо бывает помечтать!

Та, другая, вероятно, зла,
Ей с тобой встречаться даже лень,
Полюби меня, ведь я светла,
Так светла, что не светлей и день.

Много расцветает черных роз
В потайных колодцах у меня,
Словно крылья пламенных стрекоз,
Пляшут искры синего огня.

Тот же пламень и в глазах твоих
В миг, когда ты думаешь о ней...
Для тебя сдержу я вороных
Неподатливых моих коней".

Ночь, молю, не мучь меня! Мой рок
Слишком и без этого тяжел,
Неужели, если бы я мог,
От нее давно б я не ушел?

Смертной скорбью я теперь скорблю,
Но какой я дам тебе ответ,
Прежде чем ей не скажу "люблю"
И она мне не ответит "нет".

*

Однообразные мелькают
Всё с той же болью дни мои,
Как будто розы опадают
И умирают соловьи.

Но и она печальна тоже,
Мне приказавшая любовь,
И под ее атласной кожей
Бежит отравленная кровь.

И если я живу на свете,
То лишь из-за одной мечты:
Мы оба, как слепые дети,
Пойдем на горные хребты,

Туда, где бродят только козы,
В мир самых белых облаков,
Искать увянувшие розы
И слушать мертвых соловьев.

*

Отвечай мне, картонажный мастер,
Что ты думал, делая альбом
Для стихов о самой нежной страсти
Толщиною в настоящий том?

Картонажный мастер, глупый, глупый,
Видишь, кончилась моя страда,
Губы милой были слишком скупы,
Сердце не дрожало никогда.

Страсть пропела песней лебединой,
Никогда ей не запеть опять,

Так же как и женщине с мужчиной
Никогда друг друга не понять.

Но поет мне голос настоящий,
Голос жизни близкой для меня,
Звонкий, словно водопад гремящий,
Словно гул растущего огня:

"В этом мире есть большие звезды,
В этом мире есть моря и горы,
Здесь любила Беатриче Данта,
Здесь ахейцы[1] разорили Трою!
Если ты теперь же не забудешь
Девушку с огромными глазами,
Девушку с искусными речами,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты, значит, недостоин".

*

Дремала душа, как слепая,
Так пыльные спят зеркала,
Но солнечным облаком рая
Ты в темное сердце вошла.

Не знал я, что в сердце так много
Созвездий слепящих таких,
Чтобы вымолить счастье у Бога
Для глаз говорящих твоих.

Не знал я, что в сердце так много
Созвучий звенящих таких,
Чтоб вымолить счастье у Бога
Для губ полудетских твоих.

И рад я, что сердце богато,
Ведь тело твое из огня,
Душа твоя дивно крылата,
Певучая ты для меня.

[1] *Ахейцами* Гомер называл всех греков.

*

Я вырван был из жизни тесной,
Из жизни скудной и простой
Твоей мучительной, чудесной,
Неотвратимой красотой.

И умер я... и видел пламя,
Не виданное никогда:
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

Преображая дух и тело,
Напев вставал и падал вновь.
То говорила и звенела
Твоя поющей лютней кровь.

И запах огненней и слаще
Всего, что в жизни я найду,
И даже лилии, стоящей
В высоком ангельском саду.

И вдруг из глуби осиянной
Возник обратно мир земной.
Ты птицей раненой нежданно
Затрепетала предо мной.

Ты повторяла: "Я страдаю",
Но что же делать мне, когда
Я наконец так сладко знаю,
Что ты — лишь синяя звезда.

*

В этот мой благословенный вечер
Собрались ко мне мои друзья,
Все, которых я очеловечил,
Выведя их из небытия[1].

Гондла разговаривал с Гафизом
О любви Гафиза и своей,
И над ним склонялись по карнизам
Головы волков и лебедей.

[1] Далее в стихотворении называются образы из произведений Гумилева.

Муза Дальних Странствий обнимала
Зою, как сестру свою теперь,
И лизал им ноги небывалый,
Золотой и шестикрылый зверь.

Мик с Луи подсели к капитанам,
Чтоб послушать о морских делах,
И перед любезным Дон Жуаном
Фанни сладкий чувствовала страх.

И по стенам начинались танцы,
Двигались фигуры на холстах,
Обезумели камбоджианцы
На конях и боевых слонах.

Заливались вышитые птицы,
А дракон плясал уже без сил,
Даже Будда начал шевелиться
И понюхать розу попросил.

И светились звезды золотые,
Приглашенные на торжество,
Словно апельсины восковые,
Те, что подают на Рождество.

"Тише, крики, смолкните, напевы! —
Я вскричал. — И будем все грустны,
Потому что с нами нету девы,
Для которой все мы рождены".

И пошли мы, пара вслед за парой,
Словно фантастический эстамп,
Через переулки и бульвары
К тупику близ улицы Декамп.

Неужели мы вам не приснились,
Милая с таким печальным ртом,
Мы, которые всю ночь толпились
Перед занавешенным окном.

*

Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный,

Он мог стать Вашим тоже и не стал,
Его Вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И Вас неправедно просил у Бога.

Но каждый раз Вы склонитесь без сил
И скажете: "Я вспоминать не смею.
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею".

*

Так долго сердце боролось,
Слипались усталые веки,
Я думал, пропал мой голос,
Мой звонкий голос навеки.

Но Вы мне его возвратили,
Он вновь мое достоянье,
Вновь в памяти белых лилий
И синих миров сверканье.

Мне ведомы все дороги
На этой земле привольной...
Но Ваши милые ноги
В крови, и Вам бегать больно.

Какой-то маятник злобный
Владеет нашей судьбою,
Он ходит, мечу подобный,
Меж радостью и тоскою.

Тот миг, что я песнью своею
Доволен, — для Вас мученье...
Вам весело — я жалею
О дне моего рожденья.

*

Я говорил: "Ты хочешь, хочешь?
Могу я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь
Гортанным голосом твоим.

А я плачу за счастье много,
Мой дом — из звезд и песен дом,
И будет сладкая тревога
Расти при имени твоем.

И скажут: "Что он? Только скрипка,
Покорно плачущая, он,
Ее единая улыбка
Рождает этот дивный звон".

И скажут: "То луна и море,
Двояко отраженный свет, —
И после: — О какое горе,
Что женщины такой же нет!"

Но не ответив мне ни слова,
Она задумчиво прошла,
Она не сделала мне злого,
И жизнь по-прежнему светла.

Ко мне нисходят серафимы,
Пою я полночи и дню,
Но вместо женщины любимой
Цветок засушенный храню.

*

Ты не могла иль не хотела
Мою почувствовать истому,
Свое дурманящее тело
И сердце бережешь другому

Зато, когда перед бедою
Я обессилю, стиснув зубы,
Ты не придешь смочить водою
Мои запекшиеся губы.

В часы последнего усилья,
Когда и ангелы заплещут,
Твои сияющие крылья
Передо мной не затрепещут.

И в встречу радостной победе
Мое ликующее знамя
Ты не поднимешь в реве меди
Своими нежными руками.

И ты меня забудешь скоро,
И я не стану думать, вольный,
О милой девочке, с которой
Мне было нестерпимо больно.

*

Нежно-небывалая отрада
Прикоснулась к моему плечу,
И теперь мне ничего не надо,
Ни тебя, ни счастья не хочу.

Лишь одно бы принял я не споря —
Тихий, тихий золотой покой
Да двенадцать тысяч футов моря
Над моей пробитой головой.

Что же думать, как бы сладко нежил
Тот покой и вечный гул томил,
Если б только никогда я не жил,
Никогда не пел и не любил.

*

Ты пожалела, ты простила
И даже руку подала мне,
Когда в душе, где смерть бродила,
И камня не было на камне.

Так победитель благородный
Предоставляет без сомненья

Тому, кто был сейчас свободный,
И жизнь и даже часть именья.

Всё, что бессонными ночами
Из тьмы души я вызвал к свету,
Всё, что даровано богами
Мне, воину, и мне, поэту.

Всё, пред твоей склоняясь властью,
Всё дам и ничего не скрою
За ослепительное счастье
Хоть иногда побыть с тобою.

Лишь песен не проси ты милых,
Таких, как я слагал когда-то,
Ты знаешь, я их петь не в силах
Скрипучим голосом кастрата.

Не накажи меня за эти
Слова, не ввергни снова в бездну, —
Когда-нибудь при лунном свете,
Раб истомленный, я исчезну.

Я побегу в пустынном поле
Через канавы и заборы,
Забыв себя и ужас боли,
И все условья, договоры.

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

ДЕВОЧКА

Временами, не справясь с тоскою
И не в силах смотреть и дышать,
Я, глаза закрывая рукою,
О тебе начинаю мечтать.

Не о девушке тонкой и томной,
Как тебя увидали бы все,

А о девочке тихой и скромной,
Наклоненной над книжкой Мюссе[1].

День, когда ты узнала впервые,
Что есть Индия — чудо чудес,
Что есть тигры и пальмы святые —
Для меня этот день не исчез.

Иногда ты смотрела на море,
А над морем сходилась гроза.
И совсем настоящее горе
Застилало туманом глаза.

Почему по прибрежьям безмолвным
Не взноситься дворцам золотым?
Почему по светящимся волнам
Не приходит к тебе серафим?

И я знаю, что в детской постели
Не спалось вечерами тебе.
Сердце билось, и взоры блестели.
О большой ты мечтала судьбе.

Утонув с головой в одеяле,
Ты хотела стать солнца светлей,
Чтобы люди тебя называли
Счастьем, лучшей надеждой своей.

Этот мир не слукавил с тобою,
Ты внезапно прорезала тьму,
Ты явилась слепящей звездою,
Хоть не всем — только мне одному.

Но теперь ты не та, ты забыла
Всё, чем в детстве ты думала стать.
Где надежда? Весь мир — как могила.
Счастье где? Я не в силах дышать.

И таинственный твой собеседник,
Вот я душу мою отдаю

[1] Альфред *Мюссе* (1810 — 1857) — французский писатель-романтик; был популярен в России.

За твой маленький детский передник,
За разбитую куклу твою.

*

На путях зеленых и земных
Горько счастлив темной я судьбою.
А стихи? Ведь ты мне шепчешь их,
Тайно наклоняясь надо мною.

Ты была безумием моим
Или дивной мудростью моею,
Так когда-то грозный серафим
Говорил тоскующему змею:

"Тьмы тысячелетий протекут,
И ты будешь биться в клетке тесной,
Прежде чем настанет Страшный суд,
Сын придет и Дух придет Небесный.

Это выше нас, и лишь когда
Протекут назначенные сроки,
Утренняя, грешная звезда,
Ты придешь к нам, брат печальноокий.

Нежный брат мой, вновь крылатый брат,
Бывший то властителем, то нищим,
За стенами рая новый сад,
Лучший сад с тобою мы отыщем.

Там, где плещет сладкая вода,
Вновь соединим мы наши руки,
Утренняя, милая звезда,
Мы не вспомним о былой разлуке".

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

I. Стихотворения

*

Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал...
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал.

Вот я один с самим собой...
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжег грудь.

Я грешник страшный, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей,
Но растоптал я идеал...

Я мог бороться, но, как раб,
Позорно струсив, отступил
И, говоря: "Увы, я слаб!" —
Свои стремленья задавил...

Я грешник страшный, я злодей...
Прости, господь, прости меня,
Душе измученной моей
Прости, раскаянье ценя!..

Есть люди с пламенной душой,
Есть люди с жаждою добра,
Ты им вручи свой стяг святой,
Их манит и влечет борьба.
Меня ж прости!..

*

Сегодня у берега нашего бросил
Свой якорь досель незнакомый корабль,
Мы видели отблески пурпурных весел,
Мы слышали смех и бряцание сабль.

Тяжелые грузы корицы и перца,
Красивые камни и шкуры пантер,
Всё, всё, что ласкает надменное сердце,
На том корабле нам привез Люцифер.

Мы долго не ведали, враг это, друг ли,
Но вот капитан его в город вошел,
И черные очи горели, как угли,
И странные знаки пестрили камзол.

За ним мы спешили толпою влюбленной,
Смеялись при виде нежданных чудес,
Но старый наш патер, святой и ученый,
Сказал нам, что это противник небес.

Что суд приближается страшный, последний,
Что надо молиться для встречи конца...
Но мы не поверили в скучные бредни
И с гневом прогнали седого глупца.

Ушел он в свой домик, заросший сиренью,
Со стаею белых своих голубей...
А мы отдалися душой наслажденью,
Веселым безумьям богатых людей.

Мы сделали гостя своим бургомистром —
Царей не бывало издавна у нас, —
Дивились движеньям, красивым и быстрым,
И молниям черных, пылающих глаз.

Мы строили башни, высоки и гулки,
Украсили город, как стены дворца,
Остался лишь бедный, в глухом переулке,
Сиреневый домик седого глупца.

Он враг золотого, роскошного царства,
Средь яркого пира он горестный крик,

Он давит нам сердце, лишенный коварства,
Влюбленный в безгрешность седой
бунтовщик.

Довольно печали, довольно томлений!
Омоем сердца от последних скорбей!
Сегодня пойдем мы и вырвем сирени,
Камнями и криком спугнем голубей.

ФРАНЦИЯ

О, Франция, ты призрак сна,
Ты только образ, вечно милый,
Ты только слабая жена
Народов грубости и силы.

Твоя разряженная рать,
Твои мечи, твои знамена —
Они не в силах отражать
Тебе враждебные племена.

Когда примчалася война
С железной тучей иноземцев,
То ты была покорена
И ты была в плену у немцев[1].

И раньше... Вспомни страшный год[2],
Когда слабел твой гордый идол.
Его испуганный народ
Врагу властительному выдал.

Заслыша тяжких ратей гром,
Ты трепетала, точно птица,
И вот на берегу глухом
Стоит великая гробница.

---

[1] Речь идет о поражении Франции во франко-прусской войне 1870 — 1871 гг.

[2] Имеется в виду 1814 г., когда Наполеон был сослан союзниками на о. Святой Елены.

А твой веселый, звонкий рог[1],
Победный рог завоеваний,
Теперь он беден и убог,
Он только яд твоих мечтаний.

И ты стоишь, обнажена,
На золотом роскошном троне,
Но красота твоя, жена,
Тебе спасительнее брони.

Где пел Гюго, где жил Вольтер,
Страдал Бодлер, богов товарищ,
Там не посмеет изувер
Плясать на зареве пожарищ.

И если близок час войны
И ты осуждена к паденью,
То вечно будут наши сны
С твоей блуждающею тенью.

И нет, не нам, твоим жрецам,
Разбить в куски скрижаль закона[2]
И бросить пламя в Notre-Dame,
Разрушить стены Пантеона.

Твоя война — для нас война.
Покинь же сумрачные станы,
Чтоб песней, звонкой, как струна,
Целить запекшиеся раны.

Что значит в битве алость губ?
Ты только сказка, отойди же.
Лишь через наш холодный труп
Пройдут враги, чтоб быть в Париже.

---

[1] Очевидно, рог Роланда, легендарного национального героя Франции.

[2] См. Исход, гл. 31 – 32.

*

Зачарованный викинг, я шел по земле,
Я в душе согласил жизнь потока и скал,
Я скрывался во мгле на моем корабле,
Ничего не просил, ничего не желал.

В ярком солнечном свете — надменный павлин,
В час ненастья — внезапно свирепый орел,
Я в тревоге пучин встретил остров ундин,
Я летучее счастье, блуждая, нашел.

Да, я знал, оно жило и пело давно,
В дикой буре его сохранилась печать,
И смеялось оно, опускаясь на дно,
Поднимаясь к лазури, смеялось опять.

Изумрудьем покрыло земные пути,
Зажигало лиловьем морскую волну...
Я не смел подойти и не мог отойти
И не в силах был словом порвать тишину.

*

Слушай веления мудрых
Мыслей пленительный танец,
Бойся у дев златокудрых
Нежный заметить румянец.

От непостижного скройся —
Страшно остаться во мраке.
Ночью весеннею бойся
Рвать заалевшие маки.

Девичьи взоры неверны,
Вспомни сказанья Востока:
Пояс на каждой пантерный,
Дума у каждой жестока.

Сердце пронзенное вспомни,
Пурпурный сок виноградин.
Вспомни, нет муки огромней,
Нету тоски безотрадней.

Вечером смолкни и слушай,
Грезам отдавшись беспечным.
Слышишь, вечерние души
Шепчут о нежном и вечном.

Ласковы быстрые миги,
Строги высокие свечи,
Мудрые, старые книги
Знающих тихие речи.

*

За часом час бежит и падает во тьму,
Но властно мой флюид прикован к твоему.

Сомкнулся круг навек, его не разорвать,
На нем нездешних рек священная печать.

Явленья волшебства — лишь игры вечных чисел,
Я знаю все слова и их сокрытый смысл.

Я все их вопросил, но нет ни одного
Сильнее тайны сил флюида твоего.

Да, знанье — сладкий мед, но знанье не спасет,
Когда закон зовет и время настает.

За часом час бежит, я падаю во тьму,
За то что мой флюид покорен твоему.

*

За стенами старого аббатства —
Мне рассказывал его привратник —
Что ни ночь творятся святотатства:
Приезжает неизвестный всадник,

В черной мантии, большой и неуклюжий,
Он идет двором, сжимая губы,
Медленно ступая через лужи,
Пачкает в грязи свои раструбы.

Отодвинув тяжкие засовы,
На пороге суетятся духи,
Жабы и полуночные совы,
Колдуны и дикие старухи.

И всю ночь звучит зловещий хохот
В коридорах гулких и во храме,
Песни, танцы и тяжелый грохот
Сапогов, подкованных гвоздями.

Но наутро в диком шуме оргий
Слышны крики ужаса и злости.
То идет с мечом святой Георгий,
Что иссечен из слоновой кости.

Видя гневно сдвинутые брови,
Демоны спасаются в испуге,
И наутро видны капли крови
На его серебряной кольчуге.

*

На камине свеча догорала, мигая,
Отвечая дрожаньем случайному звуку,
Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя,
Долго ль можно терпеть нестерпимую муку.

Вспоминал о любви, об ушедшей невесте,
Об обрывках давно миновавших событий,
И шептал: "О, убейте меня, о, повесьте,
Забросайте камнями, как пса задавите!"

В набегающем ужасе странной разлуки
Ударял себя в грудь, исступленьем объятый,
Но не слушались жалко повисшие руки
И их мускулы дряблые, словно из ваты.

Он молился о смерти... навеки, навеки
Успокоит она, тишиной обнимая,
И забудет он горы, равнины и реки,
Где когда-то она проходила живая!

Но предателем сзади подкралось раздумье,
И он понял: конец роковой самовластью.
И во мраке ему улыбнулось безумье
Лошадиной оскаленной пастью.

*

Неслышный, мелкий падал дождь,
Вдали чернели купы рощ,
Я шел один средь трав высоких,
Я шел и плакал тяжело,
И проклинал творящих зло,
Преступных, гневных и жестоких.

И я увидел пришлеца:
С могильной бледностью лица
И с пересохшими губами,
В хитоне белом, дорогом,
Как бы упившийся вином,
Он шел неверными шагами.

И он кричал: "Смотрите все,
Как блещут искры на росе,
Как дышат томные растенья,
И Солнце, золотистый плод,
В прозрачном воздухе плывет,
Как ангел с песней Воскресенья.

Как звезды, праздничны глаза,
Как травы, вьются волоса,
И нет в душе печалям места
За то, что я убил тебя,
Склоняясь, плача и любя,
Моя царица и невеста".

И всё сильнее падал дождь,
И всё чернели пущи рощ,
И я промолвил строго-внятно:
"Убийца, вспомни Божий страх,
Смотри, на дорогих шелках
Как кровь алеющие пятна".

Но я отпрянул, удивлен,
Когда он свой раскрыл хитон
И показал на сердце рану.
Из ней дымящаяся кровь
То тихо капáла, то вновь
Струею падала по стану.

И он исчез в холодной тьме,
А на задумчивом холме
Рыдала горестная дева,
И я задумался светло
И полюбил творящих зло
И пламя их святого гнева.

*

Как труп, бессилен небосклон,
Земля — как уличенный тать.
Преступно-тайных похорон
На ней зловещая печать.
Ум человеческий смущен,
В его глубинах — черный страх,
Как стая траурных ворон
На обессиленных полях.

Но где же солнце, где луна?
Где сказка — жизнь и тайна — смерть?
И неужели не пьяна
Их золотою песней твердь?
И неужели не видна
Судьба — их радостная мать,
Что пеной жгучего вина
Любила смертных опьянять.

Напрасно ловит робкий взгляд
На горизонте новых стран.
Там только ужас, только яд,
Змеею жалящий туман.
И волны глухо говорят,
Что в море бурный шквал унес
На дно к обителям наяд
Ладью, в которой плыл Христос.

*

На льдах тоскующего полюса,
Где небосклон туманом стерт,
Я без движенья и без голоса,
Окровавленный, распростерт.

Глаза нагнувшегося демона,
Его лукавые уста...
И манит смерть; всегда, везде она
Так непостижна и проста.

Из двух соблазнов — что я выберу,
Что слаще — сон иль горечь слез?
Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю,
Явился в облаке Христос.

Он превращает в звезды горести,
В напиток солнца — жгучий яд
И созидает в мертвом хворосте
Никейских лилий белый сад.

БОЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

Меня терзает злой недуг,
Я вся во власти яда жизни,
И стыдно мне моих подруг
В моей сверкающей отчизне.

При свете пламенных зарниц
Дрожат под плетью наслаждений
Толпы людей, зверей, и птиц,
И насекомых, и растений.

Их отвратительным теплом
И я, согретая невольно,
Несусь в пространстве голубом,
Твердя старинное "довольно".

Светила смотрят всё мрачней,
Но час тоски моей недолог,
И скоро в бездну мир червей
Помчит озлобленный осколок.

Комет бегущих душный чад
Убьет остатки атмосферы,
И диким ревом зарычат
Пустыни, горы и пещеры.

И ляжет жизнь в моей пыли,
Пьяна от сока смертных гроздий,
Сгниют и примут вид земли
Повсюду брошенные кости.

И снова будет торжество,
И снова буду я единой:
Необозримые равнины
И на равнинах никого.

ПОЭТУ

Пусть будет стих твой гибок, но упруг,
Как тополь зеленеющей долины,
Как грудь земли, куда вонзился плуг,
Как девушка, не знавшая мужчины.

Уверенную строгость береги:
Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
Хотя у музы легкие шаги,
Она богиня, а не танцовщица.

И перебойных рифм веселый гам,
Соблазн уклонов легкий и свободный
Оставь, оставь накрашенным шутам,
Танцующим на площади народной.

И, выйдя на священные тропы,
Певучести пошли свои проклятья.
Пойми: она любовница толпы,
Как милостыни, ждет она объятья.

*

Под рукой уверенной поэта
Струны трепетали в легком звоне,
Струны золотые, как браслеты
Сумрачной царицы беззаконий.

Опьянили зовы сладострастья,
И спешили поздние зарницы,
Но недаром звякнули запястья
На руках бледнеющей царицы.

И недаром взоры заблистали:
Раб делил с ней счастье этой ночи,
Лиру положили в лучшей зале,
А поэту выкололи очи.

АННА КОМНЕНА[1]

Тревожный обломок старинных потемок,
Дитя позабытых народом царей
С мерцанием взора на зыби Босфора
Следит ускользающий бег кораблей.

Прекрасны и грубы влекущие губы
И странно красивый изогнутый нос,
Но взоры унылы, как холод могилы,
И страшен разбросанный сумрак волос.

У ног ее рыцарь, надменный, как птица,
Как серый орел пиренейских снегов.
Он отдал сраженья за крик наслажденья,
За женский, доступный для многих альков.

Напрасно гремели о нем менестрели,
Его отличали в боях короли —
Он смотрит, безмолвный, как знойные волны,
Дрожа, рассекают его корабли.

[1] *Анна Комнена* (Комнина, 1083 — ок. 1148) — дочь византийского императора Алексея I; автор "Алексиады".

И долго он будет ласкать эти груди
И взором ловить ускользающий взор,
А утром спокойный, красивый и стройный
Он голову склонит под меткий топор.

И снова в апреле заплачут свирели,
Среди облаков закричат журавли
И в сад кипарисов от западных мысов
За сладким позором придут корабли.

И снова царица замрет, как блудница,
Дразнящее тело свое обнажив,
Лишь будет печальней, дрожа в своей спальне:
В душе ее мертвый останется жив.

Так сердце Комнены не знает измены,
Но знает бузумную жажду игры
И темные муки терзающей скуки,
Сковавшей забытые смертью миры.

КОЛОКОЛ

Медный колокол на башне
Тяжким гулом загудел,
Чтоб огонь горел бесстрашней,
Чтобы бешеные люди
Праздник правили на груде
Изуродованных тел.

Звук помчался в дымном поле,
Повторяя слово "смерть",
И от ужаса и боли
В норы прятались лисицы,
А испуганные птицы
Лётом взрезывали твердь.

Дальше звал он, точно пенье,
К созидающей борьбе.
Люди мирного селенья,
Люди плуга брали молот,
Презирая зной и холод,
Храмы строили себе.

А потом он умер сонный,
И мечтали пастушки:
"Это, верно, бог влюбленный,
Приближаясь к светлой цели,
Нежным рокотом свирели
Опечалил тростники".

ВОСПОМИНАНЬЕ

Когда в полночной тишине
Мелькнет крылом и крикнет филин,
Ты вдруг прислонишься к стене,
Волненьем сумрачным осилен.

О чем напомнит этот звук,
Загадка вещая для слуха?
Какую смену древних мук,
Какое жало в недрах духа?

Былое память воскресит
И снова с плачем похоронит
Восторг, который был открыт
И не был узнан, не был понят.

Тот сон, что в жизни ты искал,
Внезапно сделается ложным,
И мертвым черепом оскал
Тебе шепнет о невозможном.

Ты прислоняешься к стене,
А в сердце ужас и тревога.
Так страшно слышать в тишине
Шаги неведомого Бога.

Но миг! И, чуя близкий плен,
С душой, отдавшейся дремоте,
Ты промелькнешь средь белых пен
В береговом водовороте.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

В.И.Иванову[1]

Раскроется серебряная книга,
Пылающая магия полудней,
И станет храмом брошенная рига,
Где, нищий, я дремал во мраке будней.

Священных схим озлобленный расстрига[1],
Я принял мир и горестный, и трудный,
Но тяжкая на грудь легла верига[3],
Я вижу свет... то день подходит Судный.

Не смирну, не бдолах[4], не кость слоновью —
Я приношу зовущему пророку
Багряный ток из виноградин сердца.

И он во мне поймет единоверца,
Залитого, как он, во славу Року
Блаженно расточаемою кровью.

*

Нежданно пал на наши рощи иней,
Он не сходил так много-много дней,
И полз туман, и делались тесней
От сорных трав просветы пальм и пиний.

Гортани жег пахучий яд глициний,
И стыла кровь, и взор глядел тусклей,
Когда у стен раздался храп коней,
Блеснула сталь, пронесся крик эриний[5].

---

[1] Вячеслав Иванович Ива́нов (1866 – 1949) – поэт, из основоположников русского символизма.

[2] Сравнение с монахом, вернувшимся в мирскую жизнь.

[3] *Верига* – здесь: медная икона с цепями (знак подвижничества, покаяния).

[4] *Смирна, бдолах* – ароматические вещества, употребляемые для курений во время богослужения.

[5] *Эринии (греч. миф.)* – богини мщения; лишают преследуемую жертву рассудка.

Звериный плащ полуспустив с плеча,
Запасы стрел еще не расточа,
Как груды скал, задумчивы и буры,

Они пришли, губители богов,
Соперники летучих облаков,
Неистовые воины Ассуры[1].

*

Она говорила: "Любимый, любимый,
Ты болен мечтою, ты хочешь и ждешь,
Но память о прошлом, как ратник незримый,
Взнесла над тобой угрожающий нож.

О чем же ты грезишь с такою любовью,
Какую ты ищешь себе Госпожу?
Смотри, я прильну к твоему изголовью
И вечные сказки тебе расскажу.

Ты знаешь, что женское тело могуче,
В нем радости всех неизведанных стран,
Ты знаешь, что женское сердце певуче,
Умеет целить от тоски и от ран.

Ты знаешь, что, робко себя сберегая,
Невинное тело от ласки тая,
Тебя никогда не полюбит другая
Такой беспредельной любовью, как я".

Она говорила, но, полный печали,
Он думал о тонких руках, но иных:
Они никогда никого не ласкали
И крестные язвы застыли на них.

---

[1] *Ассура,* Ассур *(легенд.)* — божество; родоначальник ассириян, основатель Ниневии.

*

Аддис-Абеба, город роз.
На берегу ручьев прозрачных,
Небесный див тебя принес,
Алмазный, средь ущелий мрачных.

Армидин сад[1]... Там пилигрим
Хранит обет любви неясной.
Мы все склоняемся пред ним.
А розы душны, розы красны.

Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов[2].

ТОСКА ПО МОРЮ

Я молчу — во взорах видно горе,
Говорю — мои слова так злы.
Ах, когда ж я вновь увижу в море
Синие и пенные валы,

Белый парус, белых, белых чаек
Или ночью длинный лунный мост,
Позабыв о прошлом и не чая
Ничего в грядущем, кроме звезд!

Видно, я суровому Нерею[3]
Смог когда-то очень угодить,
Что теперь — его, и не умею
Ни полей, ни леса полюбить.

Я томлюсь, мне многого не надо,
Только моря с четырех сторон.

---

[1] *Армида* — образ (из поэмы Тассо "Освобожденный Иерусалим") обольстительной красавицы; в ее волшебном саду рыцарь Риналь-до забыл о своем предназначении.
[2] Стихотворение является акростихом ("Анна Ахматова").
[3] *Нерей (греч. миф.)* — бог моря, отец нереид *(наяд)*.

Не была ль сестрою мне наяда,
Нежным братом лапчатый тритон?

Боже! Будь я самым сильным князем,
Но живи от моря вдалеке,
Я б, наверно, повалившись наземь,
Грыз ее и бил в глухой тоске!

*

Все ясно для тихого взора:
И царский венец, и суму,
Суму нищеты и позора, —
Я все беспечально возьму.

Пойду я в шумящие рощи,
В забытый хозяином сад,
Чтоб ельник, корявый и тощий,
Внезапно обрадовал взгляд.

Там брошу лохмотья и лягу,
И буду во сне королем,
А люди увидят бродягу
С бескровно-землистым лицом.

Я знаю, что я зачарован
Заклятьем сумы и венца,
И если б я был коронован,
Мне снилась бы степь без конца.

РОЖДЕСТВО В АБИССИНИИ

Месяц встал. Ну что ж, охота?
Я сказал слуге: "Пора!
Нынче ночью у болота
Надо выследить бобра".

Но, осклабясь для ответа,
Чуть скрывая торжество,

Он воскликнул: "Что ты, гета[1],
Завтра будет Рождество.

И сегодня ночью звери:
Львы, слоны и мелкота –
Все придут к небесной двери,
Будут радовать Христа.

Ни один из них вначале
На других не нападет,
Не укусит, не ужалит,
Не лягнет и не боднет.

А когда, людьми не знаем,
В поле выйдет светлый Бог,
Все с мычаньем, ревом, лаем
У его столпятся ног.

Будь ты зрячим, ты б увидел
Там и своего бобра,
Но когда б его обидел,
Мало было бы добра".

. . . . . .

Я ответил: "Спать пора!"

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Замирает дыханье и ярче становятся взоры
Перед сладко волнующим ликом твоим,
Неизвестность,
Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы
И смущенного видеть еще неоткрытую местность.

В каждой травке намек на возможность несбыточной встречи,
Этот грот – обиталище феи всегда легкокрылой,
Миг... и выйдет, атласные руки положит на плечи
И совсем замирающим голосом вымолвит: "Милый!"

---

[1] *Гета* (по-абиссински) – господин (прим. *Н. Гумилева*).

У нее есть хранитель, волшебник ревнивый и
страшный,
Он отмстит, он, как сетью, опутает душу печалью.
...И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду,
всегдашний,
Бродит школьный учитель, томя прописною
моралью.

В САДУ

Целый вечер в саду рокотал соловей,
И скамейка в далекой аллее ждала,
И томила весна... Но она не пришла,
Не хотела иль просто пугалась ветвей.

Оттого ли, что было томиться невмочь,
Оттого ли, что издали плакал рояль,
Было жаль соловья, и аллею, и ночь,
И кого-то еще было тягостно жаль.

— Не себя! Я умею быть светлым, грустя;
Не ее! Если хочет, пусть будет такой.
...Но зачем этот день, как больное дитя,
Умирал, не отмеченный Божьей рукой.

ЛИЛОВЫЙ ЦВЕТОК

Вечерние тихи заклятья,
Печаль голубой темноты,
Я вижу не лица, а платья,
А может быть, только цветы.

Так радует серо-зеленый,
Живой и стремительный весь,
И, может быть к счастью, влюбленный
В кого-то чужого... не здесь.

Но душно мне... я зачарован,
Ковер подо мной словно сеть;
Хочу быть спокойным — взволнован,
Смотрю — а хочу не смотреть.

Смолкает веселое слово,
И ярче пылание щек;
То мучит, то нежит лиловый,
Томящий и странный цветок.

*

Когда я был влюблен (а я влюблен
Всегда — в идею, женщину иль запах),
Мне захотелось воплотить свой сон
Причудливей, чем Рим при грешных папах.

Я нанял комнату с одним окном,
Приют швеи, иссохшей над машинкой,
Где, верно, жил облезлый старый гном,
Питавшийся оброненной сардинкой.

Я стол к стене подвинул, на комод
Рядком поставил альманахи "Знанье"[1],
Открытки — так, чтоб даже готтентот
В священное пришел негодованье.

Она вошла, спокойно и светло,
Потом остановилась изумленно.
От ломовых в окне тряслось стекло.
Будильник тикал злобно-однотонно.

И я сказал: "Царица, вы одни
Сумели воплотить всю роскошь мира;
Как розовые птицы, ваши дни,
Влюбленность ваша — музыка клавира.

Ах, бог любви, заоблачный поэт,
Вас наградил совсем особой меткой,
И нет таких, как вы..." Она в ответ
Задумчиво кивала мне эгреткой.

Я продолжал (и тупо за стеной
Звучал мотив надтреснутой шарманки):

---

[1] Сборники т-ва "Знание" (выходили с 1904 г.); здесь: символ демократической литературы.
[2] *Эгретка* — перо на шляпе.

"Мне хочется увидеть вас иной,
С лицом забытой богом гувернантки.

И чтоб вы мне шептали: "Я твоя",
Или еще: "Приди в мои объятья".
О, сладкий холод грубого белья,
И слезы, и поношенное платье.

А уходя, возьмите денег: мать
У вас больна иль вам нужны наряды...
Как скучно всё, мне хочется играть
И вами, и собою без пощады..."

Она, прищурясь, поднялась в ответ;
В глазах светились злоба и страданье:
"Да, это очень тонко, вы поэт,
Но я к вам на минуту, до свиданья".

Прелестницы, теперь я научен,
Попробуйте прийти, и вы найдете
Духи, цветы, старинный медальон,
Обри Бердслея в строгом переплете[1].

ОСВОБОЖДЕНЬЕ

Кончено! Дверь распахнулась пред ним,
заключенным:
Руки не чувствуют холода цепи тяжелой,
Грустно расстаться ему с пауком приученным,
С хилым тюремным цветком пичиоллой,

Жалко тюремщика... (он иногда улыбался
Странно-печально)... и друга за тяжким затвором...
Или столба, на котором однажды качался
Тот, кого люди назвали убийцей и вором...

Жалко! Но только как призрак растаяли стены —
В темных глазах нетерпенье, восторг и коварство:
Солнце пьянит его, солнце вливается в вены,
В сердце... Изгнанник идет завоевывать царство.

---

[1] Книга с рисунками Бёрдсли *(Бердслея)* Обри (1872 — 1898) — английского графика.

АКРОСТИХ

Ангел лег у края небосклона.
Наклоняясь, удивлялся безднам.
Новый мир был темным и беззвездным.
Ад молчал. Не слышалось ни стона.

Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье,
Миру снов досталось в обладанье
Ангела святое отраженье.

Тесно в мире! Пусть живет, мечтая
О любви, о грусти и о тени,
В сумраке предвечном открывая
Азбуку своих же откровений.

*

Вечерний, медленный паук
В траве сплетает паутину—
Надежды знак. Но, милый друг,
Я взора на него не кину.

Всю обольстительность надежд,
Не жизнь, а только сон о жизни,
Я оставляю для невежд,
Для сонных евнухов и слизней.

Мое "сегодня" на мечту
Не променяю я и знаю,
Что муки ада предпочту
Лишь обещаемому раю,—

Чтоб в час, когда могильный мрак
Вольется в сомкнутые вежды,
Не засмеялся мне червяк,
Паучьи высосав надежды.

*

Какою музыкой мой слух взволнован?
Чьим странным обликом я зачарован?

Душа прохладная, теперь опять
Ты мне позволила желать и ждать.

Душа просторная, как утром даль,
Ты убаюкала мою печаль.

Ее, любившую дорогу в храм,
Сложу молитвенно к твоим ногам.

Всё, всё, что искрилось в моей судьбе,
Всё, всё пропетое — тебе, тебе!

*

Нет тебя тревожней и капризней,
Но тебе предался я давно
Оттого, что много, много жизней
Ты умеешь волей слить в одно.

И сегодня... Небо было серо,
День прошел в томительном бреду,
За окном, на мокром дерне сквера,
Дети не играли в чехарду.

Ты смотрела старые гравюры,
Подпирая голову рукой,
И смешно-нелепые фигуры
Проходили скучной чередой.

"Посмотри, мой милый, видишь — птица,
Вот и всадник, конь его так быстр,
Но как странно хмурится и злится
Этот сановитый бургомистр!"

А потом читала мне про принца,
Был он нежен, набожен и чист,
И рукав мой кончиком мизинца
Трогала, повертывая лист.

Но когда дневные смолкли звуки
И взошла над городом луна,
Ты внезапно заломила руки,
Стала так мучительно бледна.

Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая пела
И тебе о рае золотом.

ВИЛЛА БОРГЕЗЕ[1]

Из камня серого иссеченные вазы.
И купы царственные ясени, и бук,
И от фонтанов ввысь летящие алмазы,
И тихим вечером баюкаемый луг.

В аллеях сумрачных затерянные пары
Так по-осеннему тревожны и бледны,
Как будто полночью их мучают кошмары
Иль пеньем ангелов сжигают душу сны.

Здесь принцы грезили о крови и железе,
А девы нежные о счастии вдвоем,
Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом...

Но дальше, призраки! Над виллою Боргезе
Сквозь тучи золотом блеснула вышина:
То учит забывать встающая луна.

ФЛОРЕНЦИЯ

О сердце, ты неблагодарно!
Тебе — и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно[2],
И запах трав, и в блесках даль.

---

[1] Одна из достопримечательностей Рима; вилла была построена для племянника папы Павла IV (Камилло *Боргезе*).

[2] *Арно* — река, на которой стоит Флоренция.

Но, тайновидец дней минувших,
Твой взор мучительно следит
Ряды в бездонном потонувших,
Тебе завещанных обид.

Тебе нужны слова иные,
Иная, страшная пора.
...Вот грозно встала Синьория
И перед нею два костра.

Один, как шкура леопарда,
Разнообразьем вечно нов.
Там гибнет "Леда" Леонардо[1]
Средь благовоний и шелков.

Другой, зловещий и тяжелый,
Как подобравшийся дракон,
Шипит: "Вотще Савонароллой[2]
Мой дом державный потрясен".

Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бедный, Алигьери,
Стопой неспешной сходит в ад.

ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО[3]

Зеленое, всё в пенистых буграх,
Как горсть воды, из океана взятой,
Но пригоршней гиганта чуть разжатой,
Оно томится в плоских берегах.

Не блещет плуг на мокрых бороздах,
И медлен буйвол, грузный и рогатый,

---

[1] Картина *Леонардо* да Винчи "Леда и лебедь" считается погибшей; по преданию, она была уничтожена во Франции во времена Людовика XIV "как соблазнительная".

[2] *Савонаролла* (1452 – 1498) – настоятель доминиканского монастыря во Флоренции; выступал против знатного дома Меличи; яростный проповедник аскетизма.

[3] У *Тразименского озера* во время 2-й Пунической войны в 217 г. до н. э. армия карфагенян во главе с Ганнибалом одержала победу над римлянами.

Здесь темной думой удручен вожатый,
Здесь зреет хлеб, но лавр уже зачах.

Лишь иногда, наскучивши покоем,
С кипеньем, гулом, гиканьем и воем
Оно своих не хочет берегов.

Как будто вновь под ратью Ганнибала
Вздохнули скалы, слышен визг шакала
И трубный голос бешеных слонов.

НА ПАЛАТИНЕ[1]

Измучен огненной жарой,
Я лег за камнем на горе,
И солнце плыло надо мной,
И небо стало в серебре.

Цветы склонялись с высоты
На мрамор брошенной плиты,
Дышали нежно, и была
Плита горячая бела.

И ящер средь зеленых трав,
Как странный и большой цветок,
К лазури голову подняв,
Смотрел и двинуться не мог.

Ах, если б умер я в тот миг,
Я твердо знаю, я б проник
К богам, в Элизиум[2] святой,
И пил бы нектар золотой.

А рай оставил бы для тех,
Кто помнит ночь и верит в грех,
Кто тайно каждому стеблю
Не говорит свое "люблю".

---

[1] *Палатин* — один из семи холмов Рима.
[2] *Элизиум (греч. миф.)* — обитель блаженных в загробном мире.

*

Скоро полночь, свеча догорела.
О, заснуть бы, заснуть поскорей,
Но смиряйся, проклятое тело,
Перед волей железной моей.

Как! Ты вновь прибегаешь к обману,
Притворяешься тихим; но лишь
Я забудусь: "Работать не стану,
Не хочу, не могу" — говоришь...

"Подожди, вот засну, и наутро,
Чуть последняя канет звезда,
Буду снова могуче и мудро,
Как тогда, как в былые года..."

Полно. Греза, бесстыдная сводня,
Задурманит тебя до утра,
И ты скажешь, лениво зевая,
Кулаками глаза протирая:
"Я не буду работать сегодня,
Надо было работать вчера".

*

Да! Мир хорош, как старец у порога,
Что путника ведет во имя Бога
В заране предназначенный покой,
А вечером, простой и благодушный,
Приказывает дочери послушной
Войти к нему и стать его женой.

Но кто же я, отступник богомольный,
Обретший все и вечно недовольный,
Сдружившийся с луной и тишиной?
Мне это счастье — только указанье,
Что мне не лжет мое воспоминанье
И пил я воду родины иной.

*

Когда вступила в спальню Дездемона,
Там было тихо, тихо и темно,
Лишь месяц любопытный к ней в окно
Заглядывал с ночного небосклона.

И черный мавр со взорами дракона,
Весь вечер пивший красное вино,
К ней подошел; — он ждал ее давно,—
Он не услышит девичьего стона.

Напрасно с безысходною тоской
Она ловила тонкою рукой
Его стальные руки... было поздно.

И, задыхаясь, думала она:
"О, верно, в день, когда шумит война,
Такой же он загадочный и грозный!"

*

Мое прекрасное убежище —
Мир звуков, линий и цветов,
Куда не входит ветер режущий
Из недостроенных миров.

Цветок сорву ли — буйным пением
Наполнил душу он, дразня,
Чаруя светлым откровением,
Что жизнь кипит и вне меня.

Но так же дорог мне искусственный
Взлелеянный мечтою цвет;
Он мозг дурманит жаждой чувственной
Того, чего на свете нет.

Иду в пространстве и во времени,
И вслед за мной мой сын идет
Среди трудящегося племени
Ветров, и пламеней, и вод.

И я приму — о да, не дрогну я! —
Как поцелуй иль как цветок,
С таким же удивленьем огненным,
Последний гибельный толчок.

ЛЮБОВЬ

1

Она не однажды всплывала
В грязи городского канала,
Где светят, длинны и тонки,
Фонарные огоньки.

Ее видали и в роще
Висящей на иве тощей,
На иве, еще Дездемоной
Оплаканной и прощенной[1].

В каком-нибудь старом доме
На липкой красной соломе
Ее находили люди
С насквозь простреленной грудью.

Но от этих ли превращений
Из-за рук, на которых кровь
(Бедной жизни бедных смущений),
Мы разлюбим ее, Любовь?

2

Я помню, я помню, носились тучи
По небу желтому, как новая медь,
И ты мне сказала: "Да, было бы лучше,
Было бы лучше мне умереть".

"Неправда, — сказал я, — и этот вечер,
И всё, что было, рассеется сном,
Помолимся Богу, чтоб прожить этот вечер,
А завтра наутро мы всё поймем".

---

[1] Имеется в виду песня *Дездемоны* из пьессы Шекспира "Отелло" (д. 4, сц. 3).

И ты повторяла: "Боже, Боже!"
Шептала: "Скорее... одна лишь ночь..."
И вдруг задохнулась: "Нет, он не может,
Нет, Он не может уже помочь!"

НОВОРОЖДЕННОМУ[1]

С. Лозинскому

Вот голос, томительно звонок...
Зовет меня голос войны,
Но я рад, что еще ребенок
Глотнул воздушной волны.

Он будет ходить по дорогам
И будет читать стихи,
И он искупит перед Богом
Многие наши грехи.

Когда от народов, титанов
Сразившихся, дрогнула твердь
И в грохоте барабанов,
И в трубном рычании — смерть,—

Лишь он сохраняет семя
Грядущей мирной весны,
Ему обещает время
Осуществленные сны.

Он будет любимцем Бога,
Он поймет свое торжество.
Он должен. Мы бились много
И страдали мы за него.

20 июля 1914

[1] Стихотворение написано на рождение 20 июля 1914 г. сына М.Л. Лозинского, впоследствии выдающегося математика Сергея Михайловича Лозинского (ум. 1985). Содержание стихотворения связано с вступлением России в войну 19 июля 1914 г.

*

Священные плывут и тают ночи,
Проносятся эпические дни,
И смерти я заглядываю в очи,
В зеленые, болотные огни.

Она везде — и в зареве пожара,
И в темноте, нежданна и близка,
То на коне венгерского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.

Но прелесть ясная живет в сознанье,
Что хрупки так оковы бытия,
Как будто женственно всё мирозданье
И управляю им всецело я.

Когда промчится вихрь, заплещут воды,
Зальются птицы в чаяньи зари,
То слышится в гармонии природы
Мне музыка Ирины Энери[1].

Весь день томясь от непонятной жажды
И облаков следя крылатый рой,
Я думаю: "Карсавина[2] однажды
Как облако плясала предо мной".

А ночью в небе, древнем и высоком,
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне, далеком,
Звенит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти,
И все мне грезятся, как бы во сне,
Те женщины, которые бессмертье
Моей души доказывают мне.

---

[1] *Ирина* (Ирэн) *Энери* — сценический псевдоним пианистки и композитора Ирины Алексеевны Сухотиной (1897 — 1980).

[2] Тамара Платоновна *Карсавина* (1885 — 1978) — выдающаяся балерина, прима в труппе С.П. Дягилева.

КОНКВИСТАДОР

От дальних селений,
Сквозь лес и овраги,
На праздник мучений
Собрались бродяги.

Палач приготовил
Свой молот зловещий,
И запаха крови
Возжаждали клещи.

И пел конквистадор,
Привязан у пальмы:
"До области ада
Изведали даль мы.

Вот странные воды,
Где смертный не плавал,
Где, Рыцарь Невзгоды,
Скитается Дьявол.

А дальше не будет
Ни моря, ни неба,
Там служат Иуде
Постыдные требы[1].

Но пелись баллады
В вечерних тавернах,
Что ждет Эльдорадо[2]
Отважных и верных.

Под звуки органа
Твердили аббаты,
Что за морем страны
Так дивно богаты.

И в сонных глубинах
Мы видели город,
Где алых рубинов
Возносятся горы".

---

[1] *Требы* — религиозные обряды и таинства.
[2] *Эльдорадо* — легендарная страна золота.

А пламя клубилось.
И ждал конквистадор,
Чтоб в смерти открылось
Ему Эльдорадо.

ВСАДНИК

Всадник ехал по дороге,
Было поздно, выли псы,
Волчье солнце — месяц строгий —
Лил сиянье на овсы.

И внезапно за деревней
Белый камень возле пня
Испугал усмешкой древней
Задремавшего коня.

Тот метнулся: темным бредом
Вдруг ворвался в душу сам
Древний ужас, тот, что ведом
В мире только лошадям.

Дальний гул землетрясений,
Пестрых тигров хищный вой
И победы привидений
Над живыми в час ночной.

Очи круглы и кровавы,
Ноздри пеною полны,
Конь, как буря, топчет травы,
Разрывает грудью льны.

Он то стелется по шири,
То слетает с диких круч,
И не знает, где он — в мире
Или в небе между туч.

Утро. Камень у дороги
Робко спрятал свой оскал,
Волчье солнце — месяц строгий —
Освещать его устал.

На селе собаки выли,
Люди хмуро в церковь шли.
Конь один пришел, весь в мыле,
Господина не нашли.

ВТОРОЙ ГОД

И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.

Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
С победной музыкой и пением
Войдут войска в столицу. Чью?

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописи слав?

Иль зори будущие, ясные
Увидят мир таким, как встарь:
Огромные гвоздики красные
И на гвоздиках спит дикарь;

Чудовищ слышны ревы лирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И всё затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи.

Не всё ль равно, пусть время катится,
Мы поняли тебя, земля:
Ты только хмурая привратница
У входа в Божии поля.

*

Ты говорил слова пустые,
А девушка и расцвела.
Вот чешет кудри золотые,
По-праздничному весела.

Теперь ко всем церковным требам
Молиться ходит о твоем.
Ты стал ей солнцем, стал ей небом,
Ты стал ей ласковым дождем.

Глаза темнеют, чуя грозы,
Неровен вздох ее и част.
Она пока приносит розы,
Но захоти — и жизнь отдаст.

ХОККУ

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца,
Зачем Колумб Америку открыл?!

*

Перед ночью северной, короткой
И за нею зори — словно кровь...
Подошла неслышною походкой,
Посмотрела на меня любовь...

Отравила взглядом и дыханьем,
Слаще роз дыханьем, и ушла —
В белый май с его очарованьем,
В лунные, слепые зеркала...

У кого я попрошу совета,
Как до легкой осени дожить,
Чтобы это огненное лето
Не могло меня испепелить?

Как теперь молиться буду Богу,
Плача, замирая и горя,
Если я забыл мою дорогу
К каменным стенам монастыря...

Если взоры девушки любимой —
Слаще взоров жителей высот,
Краше горнего Иерусалима —
Летний сад и зелень сонных вод...

КАНЦОНА

Бывает в жизни человека
Один неповторимый миг:
Кто б ни был он — старик, калека —
Как бы свой собственный двойник
Нечеловечески прекрасен,
Тогда стоит он, небеса
Над ним разверсты; воздух ясен,
Уж наплывают чудеса.
Таким тогда он будет снова,
Когда воскреснувшую плоть
Решит во славу Бога-Слова
К небытию призвать Господь.
Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник —
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло,
Твоей залито красотой.

ДВА АДАМА

Мне странно сочетанье слов — "я сам",
Есть внешний, есть и внутренний Адам.

Стихи слагая о любви нездешней,
За женщиной ухаживает внешний.

А внутренний, как враг, следит за ним,
Унылой злобою всегда томим.

И если внешний хитрыми речами,
Улыбкой нежной, нежными очами

Сумеет женщину приворожить,
То внутренний кричит: "Тому не быть!

Не знаешь разве ты, как небо сине,
Как веселы широкие пустыни

И что другая, дивно полюбя,
На ангельских тропинках ждет тебя?"

Но если внешнего напрасны речи
И женщина с ним избегает встречи,

Не хочет ни стихов его, ни глаз —
В безумье внутренний: "Ведь в первый раз

Мы повстречали ту, что нас обоих
В небесных приютила бы покоях.

Ах ты ворона!" Так среди равнин
Бредут, бранясь, Пьеро и Арлекин[1].

*

Среди бесчисленных светил
Я вольно выбрал мир наш строгий
И в этом мире полюбил
Одни веселые дороги.

Когда внезапная тоска
Мне тайно в душу проберется,
Я вглядываюсь в облака,
Пока душа не улыбнется.

[1] *Пьеро и Арлекин* — традиционные персонажи-антиподы итальянского народного "театра масок".

И если мне порою сон
О милой родине приснится,
Я непритворно удивлен,
Что сердце начинает биться.

Ведь это было так давно
И где-то там, за небесами,
Куда мне плыть — не все ль равно,
И под какими парусами?

ЗАГРОБНОЕ МЩЕНЬЕ

Баллада

Как-то трое изловили
На дороге одного
И жестоко колотили,
Беззащитного, его.

С переломанною грудью
И с разбитой головой
Он сказал им: "Люди, люди,
Что вы сделали со мной?

Не страшны ни Бог, ни черти,
Но клянусь в мой смертный час —
Притаясь за дверью смерти,
Сторожить я буду вас.

Что я сделаю, о Боже,
С тем, кто в эту дверь вошел!.."
И закинулся прохожий,
Захрипел и отошел.

Через год один разбойник
Умер, и дивился поп,
Почему это покойник
Все никак не входит в гроб.

Весь изогнут, весь скорючен,
На лице тоска и страх,
Оловянный взор измучен,
Капли пота на висках.

Два других бледнее стали
Стиранного полотна.
Видно, много есть печали
В царстве неземного сна.

Протекло четыре года,
Умер наконец второй.
Ах, не видела природа
Дикой мерзости такой!

Мертвый глухо выл и хрипло,
Ползал по полу дрожа.
На лицо его налипла
Мутной сукровицы ржа.

Уж и кости обнажались,
Смрад стоял — не подступить.
Все он выл, и не решались
Гроб его заколотить.

Третий, чувствуя тревогу
Нестерпимую, дрожит
И идет молиться Богу
В отдаленный тихий скит.

Он года хранит молчанье
И не ест по сорок дней,
Исполняя обещанье,
Спит на ложе из камней.

Так он умер, нетревожим,
Но никто не смел сказать,
Что пред этим чистым ложем
Довелось ему видать.

Все бледнели и крестились,
Повторяли: "Горе нам!" —
И в испуге расходились
По трущобам и горам.

И вокруг скита пустого
Терн поднялся и волчцы...
Не творите дела злого —
Мстят жестоко мертвецы.

ФРАНЦИЯ

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный
В дикую мою, родную Русь.

Ты была ей дивною мечтою,
Солнцем стольких несравненных лет,
Но назвать тебя своей сестрою,
Вижу, вижу, было ей не след.

Только небо в заревых багрянцах
Отразило пролитую кровь,
Как во всех твоих республиканцах
Пробудилось рыцарское вновь.

Вышли кто за что: один — чтоб в море
Флаг трехцветный вольно пробегал,
А другой — за дом на косогоре,
Где еще ребенком он играл;

Тот — что милой в память их разлуки
Принести "Почетный легион"[1],
Этот — так себе, почти от скуки,
И средь них отважнейшим был он!

Мы сбирались там, поклоны клали,
Ангелы нам пели с высоты,
А бежали — женщин обижали,
Пропивали ружья и кресты.

Ты прости нам, смрадным и незрячим,
До конца униженным, прости!
Мы лежим на гноище и плачем,
Не желая Божьего пути.

В каждом, словно саблей исполина,
Надвое душа рассечена.
В каждом дьявольская половина
Радуется, что она сильна.

---

[1] *"Почетный легион"* — французский орден.

Вот ты кличешь: "Где сестра Россия,
Где она, любимая всегда?"
Посмотри наверх: в созвездье Змия[1]
Загорелась новая звезда.

*

Они спустились до реки
Смотреть на зарево заката,
Но серебрились их виски
И сердце не было крылато.

Промчался длинный ряд годов,
Годов унынья и печали,
Когда ни алых вечеров,
Ни звезд они не замечали.

Вот все измены прощены
И позабыты все упреки.
О, только б слушать плеск волны,
Природы мудрые уроки!

Как этот ясный водоем,
Навек отринуть самовластье
И быть вдвоем, всегда вдвоем,
Уже не верующим в счастье.

А в роще, ладя самострел,
Ребенок, брат любимый мая,
На них насмешливо глядел,
Их светлых слез не понимая.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Тот дом был красная, слепая,
Остроконечная стена.
И только наверху, сверкая,
Два узких виделись окна.

[1] *Созвездье Змия* — очевидно, символ Духа Зла.

Я дверь толкнул. Мне ясно было,
Здесь не откажут пришлецу,
Так может мертвый лечь в могилу,
Так может сын войти к отцу.

Дрожал вверху под самым сводом
Неясный остов корабля,
Который плыл по бурным водам
С надежным кормчим у руля.

А снизу шум взносился многий,
То пела за скамьей скамья,
И был пред ними некто строгий,
Читавший Книгу Бытия.

И в тот же самый миг безмерность
Мне в грудь плеснула, как волна,
И понял я, что достоверность
Теперь навек обретена.

Когда я вышел, увидали
Мои глаза, что мир стал нем.
Предметы мира убегали,
Их будто не было совсем.

И только на заре слепящей,
Где небом кончилась земля,
Призывно реял уходящий
Флаг неземного корабля.

МОЙ ЧАС

Еще не наступил рассвет,
Ни ночи нет, ни утра нет,
Ворона под моим окном
Спросонья шевелит крылом
И в небе за звездой звезда
Истаивает навсегда.

Вот час, когда я все могу:
Проникнуть помыслом к врагу
Беспомощному и на грудь
Кошмаром гривистым вскакнуть.

Иль в спальню девушки войти,
Куда лишь ангел знал пути,

И в сонной памяти ее,
Лучом прорезав забытье,
Запечатлеть свои черты,
Как символ высшей красоты.

Но тихо в мире, тихо так,
Что внятен осторожный шаг
Ночного зверя и полет
Совы — кочевницы высот.
А где-то пляшет океан,
Над ним белесый встал туман,
Как дым из трубки моряка,
Чей труп чуть виден из песка,
Передрассветный ветерок
Струится, весел и жесток,
Так странно весел, точно я,
Жесток — совсем судьба моя.

Чужая жизнь — на что она?
Свою я выпью ли до дна?
Пойму ль всей волею моей
Единый из земных стеблей?
Вы, спящие вокруг меня,
Вы, не встречающие дня,
За то, что пощадил я вас
И одиноко сжег свой час,
Оставьте завтрашнюю тьму
Мне также встретить одному.

ЕСТЕСТВО

Я не печалюсь, что с природы
Покров, ее скрывавший, снят,
Что древний лес, седые воды
Не кроют фавнов и наяд.

Не человеческою речью
Гудят пустынные ветра
И не усталость человечью
Нам возвещают вечера.

Нет, в этих медленных, инертных
Преображеньях естества —
Залог бессмертия для смертных,
Первоначальные слова.

Поэт, лишь ты единый в силе
Постичь ужасный тот язык,
Которым сфинксы говорили
В кругу драконовых владык.

Стань ныне вещью, Богом бывши,
И слово веще возгласи,
Чтоб шар земной, тебя родивший,
Вдруг дрогнул на своей оси.

К***

Если встретишь меня, не узнаешь!
Назовут — едва ли припомнишь!
Только раз говорил я с тобою,
Только раз целовал твои руки.

Но клянусь — ты будешь моею,
Даже если ты любишь другого,
Даже если долгие годы
Не удастся тебя мне встретить!

Я клянусь тебе белым храмом,
Что мы вместе видели на рассвете,
В этом храме венчал нас незримо
Серафим с пылающим взором.

Я клянусь тебе теми снами,
Что я вижу теперь каждой ночью,
И моей великой тоскою
О тебе в великой пустыне —

В той пустыне, где горы вставали,
Как твои молодые груди,
И закаты в небе пылали,
Как твои кровавые губы.

*

Ветла чернела. На вершине
Грачи топорщились слегка,
В долине неба синей-синей
Паслись, как овцы, облака.

И ты с покорностью во взоре
Сказала: "Влюблена я в Вас".
Кругом трава была, как море,
Послеполуденный был час.

Я целовал пыланья лета —
Тень трав на розовых щеках,
Благоуханный праздник света
На бронзовых твоих кудрях.

И ты казалась мне желанной,
Как небывалая страна,
Какой-то край обетованный
Восторгов, песен и вина.

*

На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.

Всюду вольные звонкие воды,
Реки, гейзеры, водопады
Распевают в полдень песнь свободы,
Ночью пламенеют, как лампады.

На Венере, ах, на Венере
Нету слов обидных или властных,
Говорят ангелы на Венере
Языком из одних только гласных.

Если скажут "еа" и "аи" —
Это радостное обещанье,

"Уо", "ао" — о древнем рае
Золотое воспоминанье.

На Венере, ах, на Венере
Нету смерти, терпкой и душной.
Если умирают на Венере —
Превращаются в пар воздушный.

И блуждают золотые дымы
В синих-синих вечерних кущах
Иль, как радостные пилигримы,
Навещают еще живущих.

*

Я сам над собой насмеялся
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть что-нибудь кроме тебя.

Лишь белая, в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в хрустале отразились
Прозрачных девических глаз.

Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь кроме тебя,
Что сам я не только ночная,
Бессонная песнь о тебе,

Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реют
Как два золотые крыла.

АЛЖИР И ТУНИС

От Европы старинной
Оторвавшись, Алжир,
Как изгнанник невинный,
В знойной Африке сир.

И к Италии дальной
Дивно выгнутый мыс
Простирает печальный
Брат Алжира, Тунис.

Здесь по-прежнему стойки
Под напором ветров
Башни римской постройки,
Колоннады дворцов.

У крутых побережий
На зеленом лугу
Липы, ясени те же,
Что на том берегу.

И Атласа громада
Тяжела и черна,
Словно Сьерра-Невада
Ей от века родна.

Этих каменных скатов
Мы боялись, когда
Варварийских пиратов
Здесь гнездились суда.

И кровавились воды,
И молил Сервантéс
Вожделенной свободы
У горячих небес[1].

Но Алжирского бея
Дни давно пронеслись.
За Алжиром, слабея,
Покорился Тунис.

---

[1] В 1572 - 1580 гг. (во время испано-турецкой войны) писатель Сервантес находился в плену в Алжире.

И былые союзы
Вспомнив с этой страной,
Захватили французы
Край наследственный свой.

Ныне эти долины,
Игр и песен приют,
С крутизны Константины[1]
Христиан не столкнут.

Нож кривой янычара
Их не срубит голов
И под пулей Жерара[2]
Пал последний из львов.

И в стране, превращенной
В фантастический сад,
До сих пор запрещенный,
Вновь зацвел виноград.

Средь полей кукурузы
Поднялись города,
Где смакуют французы
Смесь абсента и льда.

И глядят бедуины[3],
Уважая гостей,
На большие витрины
Чужеземных сластей.

Но на север и ныне
Юг оскалил клыки.
Все ползут из пустыни
Рыжей стаей пески.

Вместо хижин — могилы.
Вместо озера — рвы...

---

[1] *Константина* — город на северо-востоке Алжира.

[2] *Жерар* Жюль (1817 — 1864) — французский офицер, служивший в Алжире; знаменитый охотник на львов, автор книг на эту тему.

[3] *Бедуины* — кочевники-скотоводы.

И отходят кабилы[1],
Огрызаясь, как львы.

Только белый бороться
Рад со всяким врагом
Вырывает колодцы,
Садит пальмы кругом

Он выходит навстречу
Этой тучи сухой,
Словно рыцарь на сечу
С исполинской змеей

И, как нежные девы
Золотой старины,
В тихом поле посевы
Им одним спасены

ЛЕОПАРДИ[2]

Набросок

О праздниках, о звоне струн, о нарде,
О неумолчной радости земли
Ты ничего не ведал, Леопарди!

И дни твои к концу тебя влекли,
Как бы под траурными парусами
Плывущие к Аиду[3] корабли

Ты женщину с холодными глазами,
Влюбленную лишь в самое себя,
И родину любил под небесами.

Мечтал о них, как в смертный час скорбя,
Их смешивал в мечтах... но не любили
Ни родина, ни женщина тебя.

---

[1] *Кабилы* — горный народ Северного Алжира.
[2] *Леопарди* Джакомо (1798 — 1837) — итальянский поэт-романтик; провел жизнь в скитаниях.
[3] *Аид (греч. миф.)* — царство мертвых.

Марии Лёвберг[1]

Ты, жаворонок в горней высоте,
Служи отныне, стих мой легкокрылый,
Ее неяркой, но издавна милой,
Такой средневековой красоте;

Ее глазам — сверкающим зарницам
И рту, где воля превзошла мечту,
Ее большим глазам — двум странным птицам
И словно нарисованному рту.

Я больше ничего о ней не знаю,
Ни писем не писал, не слал цветов.
Я с ней не проходил навстречу маю
Средь бешеных от радости лугов.

И этот самый первый наш подарок,
О жаворонок, стих мой, может быть,
Покажется неловким и случайным
Ей, ведающей таинства стихов.

<ОТРЫВОК>

Явление 1

Граф Готфрид, граф Куно, графиня Матильда, Нур-Эддин

Готфрид

Не нравится мне это, внук мой Куно!
В такой торжественный и светлый день
Венчанья твоего с Матильдой милой
И присоединения к твоим
Владениям ее полей и замков
Ты пригласил на праздник не прелата,

[1] *Мария Лёвберг* (Мария Евгеньевна Купфер, 1894 — 1934) — поэтесса, драматург.

Который браком вас соединил,
Не рыцарей, тебе по сану равных,
А городских смешных простолюдинов,
Сапожников, ткачей и гончаров.

Куно

Ах, дедушка, ты выжил из ума.
На что прелат мне нужен? Ведь от Рима
Нас, слава Богу, отделяют Альпы.
А рыцари? Они к дворам владык
Съезжаются, там служат и пируют
И позабыли рыцарскую вольность.
Вот то ли дело честные мои
Ремесленные цехи! Их, пожалуй,
Не одолеть ни папе, ни ландграфу.
Когда пятнадцать тысяч дюжих парней
Взмахнут лопатами и топорами —
Мне слаще с ними быть, чем против них.

II. Пьесы в стихах. Поэмы

ИГРА

Драматическая сцена

Игорный дом в Париже 1813 года.

Граф — претендент на престол Майорки.
Старый роялист.
Каролина, Берта } девушки легкого поведения.
Толпа играющих.

Граф

Не смейте трогать Каролину,
Сатир проклятый.

Роялист

Ай да граф!
Да вы похожи на картину,
Ахилла позу переняв.

Граф

Молчите! в вас иссякла вера,
И лжив язык, и дух ваш нем,
Вы, друг проклятого Вольтера,
Смеяться рады надо всем.
Не вам любить ее. Вы сгнили,
А я, я верую в мечту...

Роялист

Да, красоту бурбонских лилий[1]
Я выше лилий Бога чту.
Но ваши дерзкие проказы
Не стоят шпаги острия,
Вы нищий, я ей дал алмазы,
Она не ваша, а моя.

Граф

Прелестница из всех прелестниц,
Оставь его, я все прощу.

Каролина

Но он мне заплатил за месяц,
И платы я не возвращу.

Граф

Ну, значит, нам осталось биться!
Сегодня ж, сударь, на дуэль.

Роялист

Я слишком стар, мой храбрый рыцарь,
И отклоняю ваш картель[2].
Но вижу, вы склонны к азарту,
И чтоб увидеть, чья возьмет,
Поставим счастие на карту,

---

[1] *Бурбонские лилии* — намек на герб королевской династии во Франции.

[2] *Картель* — здесь: вызов на дуэль.

Когда позволит банкомет.
Я дам вам ставкой Каролину,
Посмейте молвить, что я скуп,
А вы хотя бы половину
Цены ее прекрасных губ.

Граф

Идет! Я ставлю трон Майорки[1]
И мною собранную рать,
С которой, словно коршун зоркий,
Я царства б мог завоевать.
Как будет странно, страшно, сладко
К столу зеленому припасть
И знать, что эта вот десятка
Мне даст любовь иль вырвет власть.

Каролина

Скажите, вы такой богатый?
Тогда я рада слушать вас...

Граф

Увы, отцовский меч и латы —
Все, что имею я сейчас.

Роялист

Ага, трудна дорога к раю!
Ну, будет, если вы не трус,
Молчите все, я начинаю.

Мечет карты.

Девятка, тройка, двойка, туз.

Берта

О, что ты делаешь, несчастный?
Как исполняешь свой обет?

Роялист

Восьмерка, дама и валет.

---

[1] *Майорка* (Мальорка) — остров в Средиземном море, территория Испании.

Берта

Как рог побед, как вестник чуда
Ты быть обязан... О, позволь
Мне увести тебя отсюда...

Роялист

Король, валет, опять король.

Берта

Бежим скорей, бежим со мною
Туда, где, голову подняв,
Орел кричит привет герою...

Роялист

Десятка ваша бита, граф.

Граф хватается за голову.

Каролина

Я этого не ожидала,
Так проиграть! какой позор!
О чем она ему шептала,
Орел и светоч, что за вздор?

Роялист

Ну, полно, юноша, оправьтесь,
Ваш лоб в поту, ваш взор померк,
Вы завтра будете заправский
В дому нотариуса клерк,
Легко зачесывать височки,
Крестьянам письма сочинять,
Глазеть в окно хозяйской дочки,
Когда она ложится спать,
Писать стихи и на кларнете
Играть — завиднейший удел...

Граф выхватывает пистолет и стреляется.

Берта

А, вот он в огнезарном свете!
Он все нашел, о чем скорбел!

АКТЕОН

Одноактная пьеса в стихах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кадм, царь, строитель Фив.
Эхион, его слуга и друг.
Актеон, сын Кадма.
Агава, жена Эхиона.
Диана.
Крокале, **Ранис**, **Хиале** } нимфы Дианы.
Трое юношей, спутники Актеона.
Три пса, преследующие Актеона.

Место действия — долина Гаргафии, покрытая темным кипарисовым лесом. В глубине — пещера аркой. Направо — светлый источник бежит по зеленой лужайке. Наступает вечер.

Входят Кадм и Эхион.

Кадм

Сюда, Эхион, налево! Здесь
Вчера я выломал камень.
Выломал, но не весь.
Он был опутан корнями.
До ночи я не управился — стар!
Холодно было и сыро.
С единорогом лягался кентавр,
Блеяли в чаще сатиры.
А ты все силен, драконий зуб,
Силен, как прежде, счастливый.
С тобой донесу я упрямый уступ
В наши юные Фивы.

Начинают ворочать камень.

Где же Агава?

Эхион

Жена?

Кадм

Да.

Э х и о н

Черные руки ломает дриадам.

К а д м

Рубит деревья?

Э х и о н

Рубит.

К а д м

Для храма?

Э х и о н

Для храма.

К а д м

(насмешливо)

А храм кому, мой старый дракон?

Э х и о н

Тебе, господин.

К а д м

(со смехом)

Нет.

Э х и о н

Ну, так не знаю.

К а д м

Нам не выломать камня.

Э х и о н

Выломать... с песней.

К а д м

(поет, выворачивая камень)

Отдай мне глыбу, земля! земля!
Я взнесу ее к небу, земля! земля!
И она будет в храме, земля! земля!
Бога чествовать с нами, земля! земля!
Я сказал, ты исполни, слышишь, земля?

Иль испробуешь молний Зевса, земля!
Туша проклятая, кит глухой,
Баба упрямая, ты не хочешь, земля?

Эхион

(поет тотчас вслед за Кадмом)

Белая кровь дракона, черное тело,
Господин приказал приняться за дело.
Зубы дракона, нас было много,
Мы дрались долго, и убито много.
Живые — люди, мертвые — камни,
Мы больше не будем драться.
Земля, помоги мне
Приподнять брата.

Камень поддается; работающие отирают пот и садятся отдыхать; входит Агава.

Агава

Здрасте, мужчины.

Эхион

Здравствуй, жена.

Кадм

Женщина, здравствуй.

Агава

Где же
Мальчики? Актеон или Пентей?

Кадм

Их нет.

Агава

(насмешливо)

Все те же.
Значит, на рынке Пентей
Дуракам диктует законы,
Значит, гоняют зверей
В долине псы Актеона.
А вам, старикам,— ничего,
Как только ломать эту гору!

Для вас дороже всего
Еще не построенный город.

Кадм

(с важностью)

Ты, женщина, нас не поймешь.

Агава

Может быть!
Но только и я целый день как в угаре.

(Таинственно.)

Чтоб мальчикам было где время убить,
Построила я лупанарий[1].

Актеон

(кричит за сценой)

Сюда, товарищи, за этой чащей
Звучат людские голоса,
Они врываются все чаще, чаще
В темно-дремучие мои леса.
О, я непрошеным носы отрежу,
Чтоб не распугивали дичь.
Скорей, товарищи, хватай...

(Входя, замечает присутствующих.)

Я брежу.
Отец, простишь мне мой дерзкий клич?

Кадм

(недовольно)

Как, ты, Актеон? Но сегодня тебя я
Поставил следить за прокладкой канала,
А ты все оставил, медведя гоняя,
Рабов разбежалось, должно быть, немало.

Актеон

(со смущением)

Отец, я виновен.

---

[1] *Лупанарий* — публичный дом.

Кадм

(к нему и к вошедшим юношам)

Ну, полно, к работе!
Болтать будем после мы. Этот камень
На площадь Судилища вы снесете

(насмешливо)

Даже вашими белыми руками.

Актеон

(подходя к камню)

О, боги, он грязен!

Эхион

Лягушка грязнее!

Актеон

И как он тяжел!

Агава

Мог бы быть тяжелее.

Актеон

(вопросительно)

Отец?

Кадм

Замолчи, он для храма.
Я вижу, как встанет он гордо и прямо.

Актеон

Нет, я его не понесу.
Довольно, лопнуло терпенье.
Я для охоты здесь, в лесу,
Не перетаскивать каменья.

Кадм

(спокойно)

Не хочешь?

Актеон

Нет.

Кадм

(еще спокойнее)

Так будь счастлив,
Как травы, может быть, как звери.

(С внезапной торжественностью.)

Но дух твой не создан по образу Фив,
Семибашенных, белых, будущих Фив,
И к богам тебе заперты двери!

Эхион

(Актеону)

Дитя, я многого не понимаю,
Но слушай, когда говорит господин...
...А я тебе рыжего львенка поймаю
В пещере, которую знаю один.

Агава

(Актеону, с другой стороны)

Скорее, ведь камень совсем не тяжелый,
Его бы, пожалуй, одна я снесла.
Тащи его в город... а город веселый,
Сирийских танцовщиц я там припасла.

Актеон отрицательно качает головой.

Кадм

(резко, Эхиону, указывая на камень)

Берись!

Эхион

(покорно, наклоняясь)

Берусь.

Актеон

Отец, прости,
Мне грустно, что такой ты сирый,
Но руки должен я блюсти
Для лука, девушек и лиры,
И разве надобен богам,
В их радостях разнообразных,
Тобою выстроенный храм
Из плит уродливых и грязных?!

За темной тучею Зевес
Блаженство вечное находит,
И громы, падая с небес,
На небо никогда не всходят.
Золотокудрый Аполлон
Блестит, великолепно юный,
Но им не плуг изобретен,
А звонко плачущие струны,
А Геба розовая, Пан,
А синеглазая Паллада,
Они не любят наших стран,
И ничего им здесь не надо.
А если надо, то — родник,
Лепечущий темно и странно[1],
Павлина — Гебе и тростник,
Чтоб флейту вырезать, — для Пана.
Поверь, их знает только тот,
Кто знает лес, лучей отливы,
И Бог вовеки не сойдет
В твои безрадостные Фивы.

Кадм, Эхион и Агава с трудом выносят камень.

Первый юноша

Вот здорово!

Второй юноша

Им так и надо.

Третий юноша

Какой ты умный, Актеон!
Так говорить — одна отрада.
Как жаль, что я не обучен.

Актеон

Идите, товарищи, в этот вечер
Мне хочется быть одному.
Мы славно охотились: до новой встречи!
Постойте, я вас обниму.

(Обнимает их поочередно.)

[1] *Родник, лепечущий темно и странно* — Гиппокрена, источник вдохновения.

Первый юноша

Спать завалюсь.

Второй юноша

Напьюсь.

Третий юноша

Вот ловко:
И спать и пить — равно уныло.

(Таинственно.)

Агава, старая чертовка,
Здесь про танцовщиц говорила.

Актеон

(слегка хмурясь)

Идите же.

Юноши уходят. Актеон один.

Как хорошо вокруг!
Так синевато-бледен теплый воздух,
Так чудно-неожидан каждый звук,
Как будто он рождается на звездах.
Луна стоит безмолвно в вышине,
Исполнена девической тревоги,
И в голубой полощутся волне
Серебряные маленькие ноги.
Я вижу чуть открытый красный рот,
Мученье наше и отраду нашу,
И розовые груди... А живот
Похож на опрокинутую чашу.
Ни облачка... Она совсем одна
И кажется такою беззащитной,
Что отрок пробуждается от сна,
Неопытный еще, но любопытный.
Я лягу здесь, под мудрый вяз,
Ведь хоть молчит, но знает он о многом.
Я буду спать, не закрывая глаз,
И, может быть, проснусь наутро богом.

(Ложится.)

За сценой слышно, как перекликаются серебряные голоса охотящихся девушек.

Голоса охотниц

Аллали,
Аллали,
Кто вдали?
Это лань.
Аллали,
Аллали,
Стрелой повали,
На горло стань.
Аллали,
Аллали,
Псы повели,
Бежит, бежит...
...Теперь лежит,
Аллали,
В пыли.

Входит Диана в костюме охотницы, за нею нимфы.

Крокале

Кто всех усталей?

Ранис

Хиа́ле.

Хиале

(обиженно)

А косы у кого расплелись?

Крокале

(со смехом)

У Рани́с.

Ранис

Ну да, но я первой увидела лань.

Хиале

А я повернула ее у платана.
О, если б не я, то она...

Крокале

Перестань!
Открыла, настигла, убила Диана.

Диана

(медленно скандируя)

Время нам ноги омыть, расстегните ремни у сандалий,
Сбросьте легкую ткань с ваших измученных плеч.

Девушки начинают раздеваться.

Всех ты искусней, Ранис, распусти мне, пожалуйста, косы.
Простоволосой, как ты, в чистый войду я ручей.

Девушки помогают ей раздеваться и болтают между собой...

Ранис

Я встретила Ио. Бедняжка!
Бежит, а оса над ней.

Крокале

Быть Зевсом любимой — тяжко.

Хиале

(со вздохом)

А Марсом — еще тяжелей.

Ранис

(недоверчиво)

Как, Марс тебя любит?

Хиале

В трущобы
За мной он зашел далеко.

Ранис и Крокале

(с интересом)

Настиг?

Хиале

(скромно)

Нет, конечно.

Крокале

Еще бы,
Сознаться всем нелегко.

В это время Актеон поднимается, протягивает руки к Диане и говорит восторженно, как в бреду.

Актеон

Я знал, что она придет,
Я знал, что я тоже бог,
И мне лишь губ этих мед.
Иного я пить не мог.
И мне снега этих рук,
Алмазы светлых очей,
И мне этот сладкий звук
Ее неспешных речей.
Отец мой не смертный... Мать,
Наверно, любил Зевс,
И сыну решил он дать
Женой усладу небес.
Большие звезды горят.
Земная печаль — как дым.
Я знаю, я стал крылат,
Мой лук, он стал золотым.

Поднимает свой лук, тот ломается и падает с сухим треском. Актеон смотрит на него с удивлением.

Крокале

Подруги, человек!

Ранис

Скорей,
Стеною станем вкруг богини
И бедной наготой своей
Прикроем вечные святыни.

Крокале

Дерзкий!

Хиале

Я изнемогаю,
От стыда горя...
Кто это?

Ранис

Его я знаю.
Кадма сын, царя.

Диана

Нет, ты ошиблась, Ранис, то не сын благородного Кадма.
Смертный не может зреть светлой моей наготы.

(К Актеону)

Будь, чем ты должен быть!

Актеон откидывается, и, когда выпрямляется, видно, что у него голова оленя.

Успокойтесь, смотрите, подруги,
Это — добыча стрелы, это — пугливый олень.

Исчезает вместе с нимфами.

Актеон

(один, озирается чутко и неловко)

Кажется, здесь были люди.
А какая вкусная трава,
Какая холодная вода.
Мне хочется здесь пастись.
Но что я говорю?
Я человек, я Актеон...
Нет, я олень, только олень,
Иль это сонные чары?

Появляются странные существа с собачьими головами. Актеон мечется в ужасе, они набегают на него.

Первый

(вкрадчиво и зловеще)

Ты помнишь пламенные губы?
Перед тобой они, гляди,
Прильни, целуй, кусай их грубо...

Актеон

О, пощади, о, пощади!

Второй

(так же)

Ты помнишь грудь, как плод созрелый?
Перед тобой она, гляди,
Сожми ее рукою смелой...

Актеон

О, пощади, о, пощади!

Третий

(так же)

Ты помнишь ослабленный пояс?
Перед тобою он, гляди,
Сорви его, не беспокоясь...

Актеон

О, пощади, о, пощади!

Все трое

(вместе)

Беги, сок жил твоих отравлен,
Но ты склоняешься, дрожишь,
Ты нашей воле предоставлен
И никуда не убежишь.

Актеон мечется еще немного, потом падает, остальные разбегаются. Немного погодя входят Эхион и Агава.

Агава

(зовет)

Сыночек, сыночек, иди с нами,
В доме тепло, а здесь сыро.

*(**Замечает лежащего, наклоняется к нему и отшатывается.**)*

А сыночек-то в шерсти и с рогами,
Хуже самого последнего сатира.

Занавес

МИК

Африканская поэма

1

Сквозь голубую темноту
Неслышно от куста к кусту
Переползая словно змей,
Среди трясин, среди камней
Свирепых воинов отряд
Идет — по десятеро в ряд.
Мех леопарда на плечах,
Меч на боку, ружье в руках —
То абиссинцы; вся страна
Их негусу покорена,
И только племя гурабе
Своей противится судьбе,
Сто жалких деревянных пик —
И рассердился Менелик.

Взошла луна, деревня спит,
Сам Дух Лесов ее хранит.
За всем следит он в тишине,
Верхом на огненном слоне:
Чтоб Аурарис-носорог
Напасть на спящего не мог,
Чтоб бегемота Гумаре
Не окружили на заре
И чтобы Азо-крокодил
От озера не отходил.
То благосклонен, то суров,
За хвост он треплет рыжих львов.
Но, видно, и ему невмочь
Спасти деревню в эту ночь!
Как стая бешеных волков,
Враги пустились... Страшный рев
Раздался, и в ответ ему
Крик ужаса прорезал тьму.
Отважно племя гурабе,
Давно приучено к борьбе,
Но бой ночной — как бег в мешке,
Копье не держится в руке,
Они захвачены врасплох,

И слаб их деревянный бог.
Но вот нежданная заря
Взошла над хижиной царя.
Он сам, вспугнув ночную сонь,
Зажег губительный огонь
И вышел, страшный и нагой,
Машá дубиной боевой.
Раздуты ноздри, взор горит,
И в грудь, широкую как щит,
Он ударяет кулаком...
Кто выйдет в бой с таким врагом?
Смутились абиссинцы — но
Вдруг выступил Ато-Гано,
Начальник их. Он был старик,
В собраньях вежлив, в битве дик,
На все опасные дела
Глядевший взорами орла.
Он крикнул: "Э, да ты не трус!
Все прочь — я за него возьмусь".

Дубину поднял негр; старик
Увертливый к земле приник,
Пустил копье, успел скакнуть
Всей тяжестью ему на грудь,
И, оглушенный, сделал враг
Всего один неловкий шаг,
Упал — и грудь его рассек
С усмешкой старый человек.
Шептались воины потом,
Что под сверкающим ножом
Как будто огненный язык
Вдруг из груди его возник
И скрылся в небе словно пух.
То улетал могучий дух,
Чтоб стать бродячею звездой,
Огнем болотным в тьме сырой
Или поблескивать едва
В глазах пантеры или льва.

Но был разгневан Дух Лесов
Огнем и шумом голосов
И крови запахом. Он встал,
Подумал и загрохотал:
"Эй, носороги, эй, слоны,

И все, что злобны и сильны,
От пастбища и от пруда
Спешите, буйные, сюда,
Ого-го-го, ого-го-го!
Да не щадите никого".
И словно ожил темный лес
Ордой страшилищ и чудес;
Неслись из дальней стороны
Освирепелые слоны,
Открыв травой набитый рот,
Скакал, как лошадь, бегемот,
И зверь, чудовищный на взгляд,
С кошачьей мордой, а рогат —
За ними. Я мечту таю,
Что я его еще убью
И, к удивлению друзей,
Врагам на зависть, принесу
В зоологический музей
Его пустынную красу.

"Ну, ну,— сказал Ато-Гано,—
Здесь и пропасть немудрено,
Берите пленных — и домой!"
И войско бросилось гурьбой.
У трупа мертвого вождя
Гано споткнулся, уходя,
На мальчугана лет семи,
Забытого его людьми.
"Ты кто?" — старик его спросил,
Но тот за палец укусил
Гано. "Ну, верно, сын царя",—
Подумал воин, говоря:
"Тебя с собою я возьму,
Ты будешь жить в моем дому".
И лишь потом узнал старик,
Что пленный мальчик звался Мик.

2

В Аддис-Абебе праздник был.
Гано подарок получил,
И, возвратясь из царских зал,
Он Мику весело сказал:
"Сняв голову, по волосам

Не плачут. Вот теперь твой дом;
Служи и вспоминай, что сам
Авто-Георгис был рабом".

Прошло три года. Служит Мик,
Хоть он и слаб, и невелик.
То подметает задний двор,
То чинит прорванный шатер,
А поздно вечером к костру
Идет готовить инджиру
И, получая свой кусок,
Спешит в укромный уголок,
А то ведь сглазят на беду
Его любимую еду.
Порою от насмешек слуг
Он убегал на ближний луг,
Где жил, привязан на аркан,
Большой косматый павиан.
В глухих горах Ато-Гано
Его поймал не так давно
И ради прихоти привез
В Аддис-Абебу, город роз.
Он никого не подпускал,
Зубами щелкал и рычал,
И слуги думали, что вот
Он ослабеет и умрет.
Но злейшая его беда
Собаки были, те всегда
Сбегались лаять перед ним,
И, дикой яростью томим,
Он поднимался на дыбы,
Рыл землю и кусал столбы.
Лишь Мик, вооружась кнутом,
Собачий прекращал содом.
Он приносил ему плоды
И в тыкве срезанной воды,
Покуда пленник не привык,
Что перед ним проходит Мик.

И наконец они сошлись:
Порой, глаза уставя вниз,
Обнявшись и рука в руке,
На обезьяньем языке
Они делились меж собой
Мечтами о стране иной,

Где обезьяньи города,
Где не дерутся никогда,
Где каждый счастлив, каждый сыт,
Играет вволю, вволю спит.

И клялся старый павиан
Седою гривою своей,
Что есть цари у всех зверей
И только нет у обезьян.
Царь львов — лев белый и слепой,
Венчан короной золотой,
Живет в пустыне Сомали,
Далеко на краю земли.
Слоновий царь — он видит сны
И, просыпаясь, говорит,
Как поступать должны слоны,
Какая гибель им грозит.
Царица зебр — волшебней сна,
Скача, поспорит с ветерком.
Давно помолвлена она
Со страусовым королем.
Но по пустыням говорят,
Есть зверь сильней и выше всех,
Как кровь рога его горят,
И лоснится кошачий мех.
Он мог бы первым быть царем,
Но он не думает о том,
И если кто его встречал,
Тот быстро чах и умирал.

Заслушиваясь друга, Мик
От службы у людей отвык,
И слуги видели, что он
Вдруг стал ленив и несмышлен.
Узнав о том, Ато-Гано
Его послал толочь пшено,
А этот труд — для женщин труд,
Мужчины все его бегут.
Была довольна дворня вся,
Наказанного понося,
И даже девочки, смеясь,
В него бросали сор и грязь.

Уже был темен небосклон,

Когда работу кончил он,
И, от досады сам не свой,
Не подкрепившись инджирой,
Всю ночь у друга своего
Провел с нахмуренным лицом
И плакал на груди его
Мохнатой, пахнущей козлом.
Когда же месяц за утес
Спустился, дивно просияв,
И ветер утренний донес
К ним благовонье диких трав,
И павиан, и человек
Вдвоем замыслили побег.

3

Давно французский консул звал
Любимца негуса, Гано,
Почтить большой посольский зал,
Испробовать его вино,
И наконец собрался тот
С трудом, как будто шел в поход.
Был мул белей, чем полотно,
Был в красной мантии Гано,
Прощенный Мик бежал за ним
С ружьем бельгийским дорогим,
И крики звонкие неслись:
"Прочь все с дороги! Сторонись!"

Гано у консула сидит,
Приветно смотрит, важно льстит,
И консул, чтоб дивился он,
Пред ним заводит граммофон,
Игрушечный аэроплан
Порхает с кресла на диван,
И электрический звонок
Звонит, не тронутый никем.
Гано спокойно тянет грог,
Любезно восхищаясь всем,
И громко шепчет: "Ой ю гут!
Ой френджи, всё они поймут".

А в это время Мик, в саду
Держащий мула за узду,

Не налюбуется никак
Ни на диковинных собак,
Ни на сидящих у дверей
Крылатых каменных зверей.
Как вдруг он видит, что идет
Какой-то мальчик из ворот,
И обруч, словно колесо,
Он катит для игры в серсо.
И сам он бел, и бел наряд,
Он весел, словно стрекоза,
И светлым пламенем горят
Большие смелые глаза.
Пред Миком белый мальчик стал,
Прищурился и засвистал:
"Ты кто?" — "Я абиссинский раб". —
"Ты любишь драться?" — "Нет, я слаб". —
"Отец мой консул". — "Мой вождем
Был". — "Где же он?" — "Убит врагом". —
"Меня зовут Луи". — "А я
Был прозван Миком". — "Мы друзья".

И Мик, разнежась, рассказал
Про павиана своего,
Что с ним давно б он убежал
И не настигли бы его,
Когда б он только мог стянуть
Кремень, еды какой-нибудь,
Топор иль просто крепкий нож —
Без них в пустыне пропадешь.
А там охотой можно жить,
Никто его не будет бить,
Иль стать царем у обезьян,
Как обещался павиан.
Луи промолвил: "Хорошо,
Дитя, что я тебя нашел!
Мне скоро минет десять лет,
И не был я еще царем.
Я захвачу мой пистолет,
И мы отправимся втроем.
Смотри: за этою горой
Дождитесь в третью ночь меня;
Не пропадете вы со мной
Ни без еды, ни без огня".
Он важно сдвинул брови; вдруг

Пронесся золотистый жук,
И мальчик бросился за ним,
А Мик остался недвижим.
Он был смущен и удивлен,
Он думал: "Это, верно, сон..." —
В то время как лукавый мул
Жасмин и розы с клумб тянул.

Доволен, пьян, скача домой,
Гано болтал с самим собой:
"Ой френджи! Как они ловки
На выдумки и пустяки!
Запрятать в ящик крикуна,
Чтоб говорил он там со дна,
Им любо... Но зато в бою,
Я ставлю голову свою,
Не победит никто из них
Нас, бедных, глупых и слепых.
Не обезьяны мы, и нам
Не нужен разный детский хлам".
А Мик в мечтаньях о Луи,
Шаги не рассчитав свои,
Чуть не сорвался с высоты
В переплетенные кусты.

Угрюмо слушал павиан
О мальчике из дальних стран,
Что хочет, свой покинув дом,
Стать обезьяньим королем.
Звериным сердцем чуял он,
Что в этом мире есть закон,
Которым каждому дано
Изведать что-нибудь одно:
Тем — жизнь средь городских забав,
Тем — запахи пустынных трав.
Но долго спорить он не стал.
Вздохнул, под мышкой почесал
И пробурчал, хлебнув воды:
"Смотри, чтоб не было беды!"

4

Луна склонялась, но чуть-чуть,
Когда они пустились в путь

Через канавы и бурьян —
Луи, и Мик, и павиан.
Луи смеялся и шутил,
Мешок с мукою Мик тащил,
А павиан среди камней
Давил тарантулов и змей.
Они бежали до утра,
А на день спрятались в кустах,
И хороша была нора
В благоухающих цветах.

Они боялись — их найдут.
Кругом сновал веселый люд:
Рабы, сановники, купцы,
С большими лютнями певцы,
Послы из дальней стороны
И в пестрых тряпках колдуны.
Поклонник дьявола порой
С опущенною головой
Спешил в нагорный Анкобер,
Где в самой темной из пещер
Живет священная змея,
Земного матерь бытия.

Однажды утром, запоздав,
Они не спрятались средь трав,
И встретил маленький отряд
Огромный и рябой солдат.
Он Мика за руку схватил,
Ременным поясом скрутил.
"Мне улыбается судьба,
Поймал я беглого раба! —
Кричал. — И деньги, и еду
За это всюду я найду".
Заплакал Мик, а павиан
Рычал, запрятавшись в бурьян.
Но, страшно побледнев, Луи
Вдруг поднял кулаки свои
И прыгнул бешено вперед:
"Пусти, болван, пусти, урод!
Я — белый, из моей земли
Придут большие корабли
И с ними тысячи солдат...
Пусти иль будешь сам не рад!" —

"Ну, ну,— ответил, струсив, плут,—
Идите с Богом, что уж тут".

И в вечер этого же дня,
Куда-то скрывшись, павиан
Вдруг возвратился к ним, стеня,
Ужасным горем обуян.
Он бил себя в лицо и грудь,
От слез не мог передохнуть
И лишь катался по песку,
Стараясь заглушить тоску.
Увидя это, добрый Мик
Упал и тоже поднял крик
Такой, что маленький шакал
Его за милю услыхал.
И порешил, пускаясь в путь:
"Наверно, умер кто-нибудь".
Луи, не зная их беды,
К ручью нагнулся поскорей
И, шляпой зачерпнув воды,
Плеснул на воющих друзей.
И павиан, прервав содом,
Утершись, тихо затянул:
"За этою горой есть дом,
И в нем живет мой сын в плену.
Я видел, как он грыз орех,
В сторонке сидя ото всех.
Его я шепотом позвал,
Меня узнал он, завизжал,
И разлучил нас злой старик,
С лопатой выскочив на крик.
Его немыслимо украсть,
Там псы могучи и хитры,
И думать нечего напасть —
Там ружья, копья, топоры".
Луи воскликнул: "Ну, смотри!
Верну я сына твоего;
Но только выберешь в цари
У вас меня ты одного".

Он принял самый важный вид,
Пошел на двор и говорит:
"Я покупаю обезьян.
У вас есть крошка павиан —

Продайте!" — "Я не продаю", —
Старик в ответ. "А я даю
Вам десять талеров". — "Ой! Ой!
Да столько стоит бык большой.
Бери". И вот Луи понес
Виновника столь горьких слез.
Над сыном радостный отец
Скакал, как мячик; наконец
Рванул его за хвост, любя.
"Что, очень мучили тебя?" —
"Я никаких не видел мук.
Хозяин мой — мой первый друг!
Я ем медовые блины,
Катаю обруч и пляшу,
Мне сшили красные штаны,
Я их по праздникам ношу".
И рявкнул старый павиан:
"Ну, если это не обман,
Тебе здесь нечего торчать!
Вернись к хозяину опять.
Стремись науки все пройти:
Трубить, считать до десяти...
Когда ж умнее станешь всех,
Тогда и убежать не грех!"

5

Луны уж не было, и высь
Как низкий потолок была.
Но звезды крупные зажглись —
И стала вдруг она светла,
Переливалась... А внизу
Стеклянный воздух ждал грозу.
И слышат путники вдали
Удары бубна, гул земли.
И видят путники: растет
Во мгле сомнительный восход.
Пятьсот огромных негров в ряд
Горящие стволы влачат.
Другие пляшут и поют,
Трубят в рога и в бубны бьют
А на носилках из парчи
Царевна смотрит и молчит.
То дочка Мохамед-Али,

Купца из Йеменской земли,
Которого нельзя не знать,
Так важен он, богат и стар,
Наряды едет покупать
Из Дире-Дауа в Харрар.
В арабских сказках принца нет,
Калифа, чтобы ей сказать:
"Моя жемчужина, мой свет,
Позвольте мне вам жизнь отдать!"
В арабских сказках гурий нет,
Чтоб с этой девушкой сравнять.

Она увидела Луи
И руки подняла свои.
Прозрачен, тонок и высок,
Запел как флейта голосок:
"О милый мальчик, как ты бел,
Как стан твой прям, как взор твой смел!
Пойдем со мной. В моих садах
Есть много желтых черепах,
И попугаев голубых,
И яблок, соком налитых.
Мы будем целый день-деньской
Играть, кормить послушных серн
И бегать взапуски с тобой
Вокруг фонтанов и цистерн.
Идем". Но, мрачный словно ночь,
Луи внимал ей, побледнев,
И не старался превозмочь
Свое презрение и гнев:
"Мне — слушать сказки, быть пажом,
Когда я буду королем,
Когда бесчисленный народ
Меня им властвовать зовет?
Но если б и решился я,
С тобою стало б скучно мне:
Ты не стреляешь из ружья,
Боишься ездить на коне".

Печальный, долгий, кроткий взор
Царевна подняла в упор
На гордого Луи — и вдруг,
Вдруг прыснула... И все вокруг
Захохотали. Словно гром

Раздался в воздухе ночном:
Ведь хохотали все пятьсот
Огромных негров, восемьсот
Рабов, и тридцать поваров,
И девятнадцать конюхов.
Но подала царевна знак,
Все выстроились кое-как
И снова двинулись вперед,
Держась от смеха за живот.
Когда же скрылся караван,
Тоскуя, Мик заговорил:
"Не надо мне волшебных стран,
Когда б рабом ее я был.
Она, поклясться я готов, —
Дочь Духа доброго Лесов,
Живет в немыслимом саду,
В дворце, похожем на звезду.
И никогда, и никогда
Мне, Мику, не войти туда".
Луи воскликнул: "Ну, не трусь,
Войдешь, как я на ней женюсь".

6

Еще три дня, и их глазам
Предстал, как первобытный храм,
Скалистый и крутой отвес,
Поросший редкою сосной,
Вершиной вставший до небес,
Упершийся в дремучий лес
Своею каменной пятой.
То был совсем особый мир:
Чернели сотни круглых дыр,
Соединяясь меж собой
Одною узкою тропой;
И как балконы, здесь и там
Площадки с глиной по краям
Висели, и из всех бойниц
Торчали сотни страшных лиц.
Я, и ложась навеки в гроб,
Осмелился бы утверждать,
Что это был ни дать ни взять
Американский небоскреб.

В восторге крикнул павиан,
Что это город обезьян.

По каменистому хребту
Они взошли на высоту.
Мик тихо хныкал, он устал,
Луи же голову ломал,
Как пред собой он соберет
На сходку ветреный народ.
Но павиан решил вопрос:
Обезьяненка он принес
И начал хвост ему щипать,
А тот — визжать и верещать;
Таков обычай был, и вмиг
Все стадо собралось на крик.

И начал старый павиан:
"О племя вольных обезьян,
Из плена к вам вернулся я,
Со мной пришли мои друзья,
Освободители мои,
Чтоб тот, кого мы изберем,
Стал обезьяньим королем...
Давайте изберем Луи".
Он, кончив, важно замолчал.
Луи привстал, и Мик привстал,
Кругом разлился страшный рев,
Гул многих сотен голосов:
"Нет, лучше Мика изберем!" —
"Луи!" — "Нет, Мика!" — "Нет, Луи!"
Все, зубы белые свои
Оскалив, злятся... Наконец
Решил какой-то молодец:
"Луи с ружьем, он — чародей...
К тому ж он белый и смешней".

Луи тотчас же повели
На холмик высохшей земли,
Надев на голову ему
Из трав сплетенную чалму
И в руки дав слоновый клык,
Знак отличительный владык.
И, мир преображая в сад
Алеющий и золотой,

Горел и искрился закат
За белокурой головой.
Как ангел мил, как демон горд,
Луи стоял один средь морд
Клыкастых и мохнатых рук,
К нему протянутых вокруг.
Для счастья полного его
Недоставало одного:
Чтобы сестра, отец и мать
Его могли здесь увидать
Хоть силою волшебных чар
И в "Вокруг света" обо всем
Поведал мальчикам потом
Его любимый Буссенар.

7

Луи суровым был царем.
Он не заботился о том,
Что есть, где пить, как лучше спать,
А все сбирался воевать;
Хотел идти, собрав отряд,
Отнять у злобной львицы львят
Иль крокодила из реки
Загнать в густые тростники,
Но ни за что его народ
Не соглашался на поход.
И огорченный властелин
Бродил печален и один.
Спускался он на дно пещер,
Где сумрак ядовит и сер
И где увидеть вы могли б
В воде озер безглазых рыб.
Он поднимался на утес,
Собой венчавший весь откос,
И там следил, как облака
Ваяет Божия рука.
Но лишь тогда бывал он рад,
Когда смотрел на водопад,
Столбами пены ледяной
Дробящийся над крутизной.
К нему тропа, где вечно мгла,
В колючих зарослях вела,
И мальчик знал, что неспроста

Там тишина и темнота
И даже птицы не поют,
Чтоб оживить глухой приют.
Там раз в столетие трава,
Шурша, вскрывается как дверь.
С рогами серны, с мордой льва
Приходит пить какой-то зверь.
Кто знает, где он был сто лет
И почему так стонет он
И заметает лапой след,
Хоть только ночь со всех сторон,
Да, только ночь, черна как смоль,
И страх, и буйная вода.
И в стонах раненого боль,
Не гаснущая никогда...

Но всё наскучило Луи —
Откос, шумящие струи,
Забавы резвых обезьян
И даже Мик и павиан.
Сдружился он теперь с одной
Гиеной старой и хромой,
Что кралась по ночам на скат,
Чтоб воровать обезьянят.
Глазами хитрыми змеи
Она смотрела на Луи
И заводила каждый раз
Лукавый, льстивый свой рассказ:
Он, верно, слышал, что внизу,
В большом тропическом лесу,
Живут пантеры? Вот к кому
Спуститься надо бы ему!
Они могучи и смелы,
Бросаются быстрей стрелы,
И так красив их пестрый мех,
Что им простится всякий грех.

Напрасно друга Мик молил,
Глухим предчувствием томим,
Чтоб он навек остался с ним
И никуда не уходил.
Луи, решителен и быстр,
Сказал: "Ты только мой министр!
Тебе я власть передаю,

И скипетр, и чалму мою,
И мой просторный царский дом,
А сам я буду королем
Не этих нищенских пещер,
А леопардов и пантер".
Ушел. И огорчился стан
Всегда веселых обезьян.
Они влезали на карниз,
Внимательно смотрели вниз.
Оттуда доносился рев
Им незнакомых голосов,
И горько плакали они,
Минувшие припомнив дни
И грустно думая о том,
Что сталось с гневным их царем.

8

Едва под утро Мик уснул.
Во сне он слышал страшный гул,
Он видел мертвого отца,
И лился пот с его лица.
Проснулся... Старый павиан
Собрал храбрейших обезьян.
Они спускаться стали вниз,
Держась за ветви, за карниз;
Переплетя свои хвосты,
Над бездной строили мосты,
Пока пред ними дикий лес
Не встал, а город не исчез
И не мелькнули средь стволов
Клыки и хоботы слонов.

Долина им была видна,
Деревьями окружена,
И посреди большой утес,
Что мхом и травами оброс.
На нем один лежал Луи
И раны зажимал свои.
Вперив в пространство мутный взор,
Чуть поднимал он свой топор,
А восемь яростных пантер
Пред ним кружились; из пещер
Еще спешили... Отражал

Всю ночь их мальчик и устал.
Как град камней, в траву полян
Сорвалась стая обезьян,
И силою живой волны
Пантеры были сметены
И отступили... С плачем Мик
К груди товарища приник.
Луи в бреду ему шептал,
Что он царем и здесь бы стал,
Когда б не гири на ногах,
Не красный свет в его глазах
И не томящий долгий звон...
И незаметно умер он.

Тогда, хромая, из кустов
Гиена выбежала; рев
Раздался, яростен и груб:
"Он мой! Скорей отдайте труп!"
Смутилась стая обезьян,
Но прыгнул старый павиан
С утеса на гиену вниз
И горло мерзкой перегрыз.

Где пальмы веером своим
Кивают облакам седым,
Где бархатный ковер лугов
Горит, весь алый от цветов,
И где журчит, звенит родник,
Зарыл Луи печальный Мик.
Там ласточки с огнем в глазах
Шебечут, милые, в ветвях.
Они явились издали,
Из франкской, может быть, земли,
И щебетали свой привет
Перед готическим окном,
Где увидал впервые свет
Луи в жилище родовом.

И над могилой друга Мик
Запел: "Луи, ты был велик,
Была сильна твоя рука,
Белее зубы молока!
Зачем, зачем, зачем в бою
Не принял помощь ты мою,

Зачем, зачем, когда ты пал,
Ты павиана не позвал?
Уж лучше б пуля иль копье
Дыханье вырвали твое!
Не помиришься ты с врагом...
Все это кажется мне сном..."
Завыл печальный павиан,
Завыла стая обезьян,
И вот на шум их голосов,
Горя как месяц в вышине,
Явился мощный Дух Лесов
Верхом на огненном слоне,
Остановился и взглянул,
И грозно крикнул Мику: "Ну?"
Когда ж узнал он обо всем,
Широким пальмовым листом
Он вытер слезы на глазах...
"Я перед Миком в должниках:
В ту ночь, как племя гурабе
Изнемогало в злой борьбе,
Болтая с месяцем как раз,
Я не пришел к нему, не спас.
О чем бы ни мечтал ты, Мик,
Проси: все даст тебе старик".
И поднял руки Мик свои
И медленно проговорил:
"Мне видеть хочется Луи
Таким, каким он в жизни был".—
"Он умер".— "Пусть и я умру".—
"Но он в аду".— "Пойду и в ад!
Я брошусь в каждую дыру,
Когда в ней мучится мой брат". —
"Ну, если так — не спорю я!
Вдоль по течению ручья
Иди три дня, потом семь дней
Через пустыню черных змей.
Там у чугунной двери в ад,
С кошачьей мордой, но рогат,
Есть зверь, и к брату твоему
Дорога ведома ему.
Но тем, кто раз туда попал,
Помочь не в силах даже я.
Смотри ж!" Но Мик уже бежал
Вдоль по течению ручья.

9

В отвесной каменной стене,
Страшна, огромна и черна,
Виднелась дверь из чугуна
На неприступной вышине.
Усталый, исхудалый Мик
Пред нею головой поник
И стонет: "Больше нет пути,
Не знаю я, куда идти,
Хоть сам могучий Дух Лесов —
Хранитель мой и мой покров".

Тут медленно открылась дверь,
И медленно явился зверь
С кошачьей мордой, а рогат.
И Мик потупил в страхе взгляд,
Но в дверь вступил. Они пошли
По коридору, где в пыли
Валялись тысячи костей
Рыб, птиц, животных и людей.
Как та страшна была тропа!
Там бормотали черепа,
Бычачьи двигались рога,
Ища незримого врага.
И гнулись пальцы мертвецов,
Стараясь что-нибудь поймать...
Но вот прошли широкий ров,
И легче сделалось дышать.
Там им открылся мир иной,
Равнина с лесом и горой,
Необозримая страна,
Жилище душ, которых нет.
Над ней струила слабый свет
Великолепная луна;
Не та, которую ты сам
Так часто видишь по ночам,
А мать ее, ясна, горда,
Доисторических времен,
Что умерла еще тогда,
Как мир наш не был сотворен.
Там тени пальм и сикомор
Росли по склонам черных гор,
Где тени мертвых пастухов

Пасли издохнувших коров.
Там тень охотника порой
Ждала, склоняясь над норой,
Где сонно грызли тень корней
Сообщества бобров-теней.
Но было тихо все вокруг:
Ни вздох, ни лепет струй, ни стук
Не нарушал молчанья. Зверь
Промолвил Мику: "Ну теперь
Ищи!" А сам устало лег,
Уткнувшись мордою в песок.
За каждый куст, за каждый пень,
Хотя тот куст и пень — лишь тень,
В пещеру, в озеро, в родник,
Идя, заглядывает Мик.
За тенью дикого волчца
Он своего узнал отца,
Сидевшего, как в старину,
На грязной, бурой шкуре гну.
Мик, плача, руки протянул,
Но тот вздохнул и не взглянул,
Как будто только ветерок
Слегка его коснулся щек.
Как мертвецы не видны нам,
Так мы не видны мертвецам.

Но нет нигде, нигде Луи.
Мик руки заломил свои,
Как вдруг он бросился бежать
Туда, где зверь улегся спать.
"Скоре вставай! — кричит ему. —
И отвечай мне, почему
Здесь только черные живут,
А белых я не видел тут?"
Зверь поднял страшные глаза:
"Зачем ты раньше не сказал?
Все белые — как колдуны,
Все при рожденье крещены,
Чтоб после смерти их Христос
К себе на небеса вознес.
Наверх направь шаги свои
И жаворонка излови.
Он чист, ему неведом грех,
И он летает выше всех.

Вот три зерна (их странен вид,
Они росли в мозгу моем);
Когда их съест, заговорит
Он человечьим языком".

Как было радостно опять
Пустыню Мику увидать.
Услышать ветер и родник,
И попугаев резкий крик!
Он сделал из волос силок
И жаворонка подстерег,
И выпустил его, одно
Сначала дав ему зерно.
Опять, влюбленный в Божий свет,
Свободный жаворонок ввысь
Помчался, и ему вослед
Надежды Мика понеслись.
Когда же птица с высоты
Упала камнем, чуть дыша,
"Ну что? Скажи, что видел ты?" —
Мик теребил его, спеша.
"Я видел красных райских птиц,
Они прекраснее зарниц,
В закатных тучах гнезда вьют
И звезды мелкие клюют.
Они клялись мне, что твой друг
Попал в седьмой небесный круг,
Перед которым звездный сад
Черней, чем самый черный ад".

Мик дал ему еще зерно,
Целуя и прося одно,
И взвился жаворонок вновь,
Хоть в нем и холодела кровь.
Он только через день упал
И больше часа не дышал,
Но наконец проговорил:
"Средь отдаленнейших светил,
За гранью Божьего огня
Я встретил ангела, что пел
Про человеческий удел,
Алмазным панцирем звеня:
"Пусть ни о чем не плачет Мик:
Луи высоко, он в раю,

Там Михаил Архистратиг
Его зачислил в рать свою".

Его целуя горячо,
Мик попросил: "Крылатый друг,
Молю, вот съешь зерно еще
И полети в надзвездный круг".
И жаворонок третий раз
Поднялся и пропал из глаз.
Три дня ждал жаворонка Мик
И к ожиданию привык,
Когда свалился на песок
Холодный пуховой комок.
Такое видеть торжество
Там жаворонку довелось,
Что сердце слабое его
От радости разорвалось.

10

Дугла́с, охотник на слонов,
Сердился: ужин не готов,
Любимый мул его издох
И новый проводник был плох.
Он взял ружье и вышел в лес,
На пальму высохшую влез
И ждал. Он знал, что здесь пойдет
На водопой лесной народ,
А у него мечта одна —
Убить огромного слона,
Особенно когда клыки
И тяжелы, и велики.
Вот засветился Южный Крест,
И тишина легла окрест,
Как будто старый Дух Лесов
Замедлил бег ночных часов.
И вот явились: дикобраз,
За ним уродливые гну,
Вслед козы — и решил Дугла́с:
"Я после застрелю одну".
Но, рыжей гривою тряся,
Высоко голову неся,
Примчался с тяжким скоком лев,
И все бежали, оробев,

И даже буйвол отступил,
Сердито фыркнув, в мокрый ил.
Царь долго пил, потом зевнул
И вдруг вскочил и заревел.
В лесу раздался смутный гул,
Как будто ветер прошумел;
И пересекся небосклон
Коричневою полосой, —
То, поднимая хобот, слон —
Вожак вел стадо за собой,
Ему согнувшийся Дуглас
Навел винтовку между глаз;
Так не один гигант лесной
Сражен был пулей разрывной.
Он был готов спустить курок,
Когда почувствовал толчок
И промахнулся. Это Мик
К нему среди ветвей проник.
"А, негодяй! — вскричал Дуглас. —
Знай, ты раскаешься сейчас!"
И тот ответил: "Гета, ну!
Не надо делать зла слону:
Идет под старость каждый слон
Все на один и тот же склон,
Где травы, данные слонам,
Вкусней, и родники свежей,
И умирает мирно там
Среди прадедовских костей.
Коль ты согласен, я готов
Твоим слугою быть, а мне
Известно кладбище слонов,
В галасской скрытое стране". —
"Пусть бог хранит тебя за то!" —
Вскричал Дуглас, забывши злость.
"Идем! И в Глазго, и в Бордо
Слоновья требуется кость".
Вплоть до утра работал Мик,
Хвосты и гривы мулам стриг
И чистил новое свое
Шестизарядное ружье.

Прошло три месяца, и вот
В Аддис-Абебу Мик ведет
Из диких, неизвестных стран

С слоновой костью караван.
Дугла́с мечтает: "Богачу
Я все на месте продаю
И мильонером укачу
К себе, в Шотландию мою!"

Сто тридцать ящиков вина,
Сто тридцать ярдов полотна
Подносит негусу Дугла́с
И так кончает свой рассказ:
"Я караван мулиный свой
Оставил Мику. Он богат.
В Аддис-Абебе зашумят,
Что это нагадрас большой.
Его в верховный свой совет
Прими и совещайся с ним.
Он защитит тебя от бед
Умом и мужеством своим".
Орлиный светлый взгляд один
На Мика бросил властелин
И, улыбнувшись, сделал знак,
Обозначавший: будет так.

В Аддис-Абебе не найти
Глупца, который бы не знал,
Что Мик на царственном пути
Прекрасней солнца воссиял.
С ним, благосклонен и велик,
Советуется Менелик,
Он всех отважней на войне,
Всех уважаемей в стране.

В Аддис-Абебе нет теперь
Несчастного иль пришлеца,
Пред кем бы не открылась дверь
Большого Микова дворца.
Там вечно для радушных встреч,
Пиров до самого утра
Готовится прохладный тэдж
И золотая инджира.
И во дворце его живет,
Встречая ласку и почет,
С ним помирившийся давно
Слепой старик, Ато-Гано.

ПОЭМА НАЧАЛА

Книга первая. Дракон

Песнь первая

1

Из-за свежих волн океана
Красный бык[1] приподнял рога,
И бежали лани тумана
Под скалистые берега.
Под скалистыми берегами
В многошумной сырой тени
Серебристыми жемчугами
Оседали на мох они.
Красный бык изменяет лица:
Вот широко крылья простер
И парит, огромная птица,
Пожирающая простор.
Вот к дверям голубой кумирни,
Ключ держа от тайн и чудес,
Он восходит, стрелок и лирник,
По открытой тропе небес.
Ветры, дуйте, чтоб волны пели,
Чтоб в лесах гудели стволы,
Войте, ветры, в трубы ущелий,
Возглашая ему хвалы!

2

Освежив горячее тело
Благовонной ночною тьмой,
Вновь берется земля за дело,
Непонятное ей самой.
Наливает зеленым соком
Детски нежные стебли трав
И багряным, дивно высоким
Благородное сердце льва.
И, всегда желая иного,

[1] *Красный бык* — солнце.

На голодный жаркий песок
Проливает снова и снова
И зеленый и красный сок.
С сотворенья мира стократы,
Умирая, менялся прах:
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой —
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

3

Океан косматый и сонный,
Отыскав надежный упор,
Тупо терся губой зеленой
О подножие Лунных гор.
И над ним стеною отвесной
Разбежалась и замерла,
Упираясь в купол небесный,
Аметистовая скала.
До глубин ночами и днями
Аметист светился и цвел
Многоцветными огоньками,
Точно роем веселых пчел.
Потому что свивал там кольца,
Вековой досыпая сон,
Старше вод и светлее солнца,
Золоточешуйный дракон.
И подобной чаши священной
Для вина первозданных сил
Не носило тело Вселенной
И Творец в мечтах не носил.

4

Пробудился дракон и поднял
Янтари грозовых зрачков.
Первый раз он взглянул сегодня
После сна десяти веков.
И ему не казалось светлым
Солнце, юное для людей.
Был как будто засыпан пеплом

Жар пылавших в море огней.
Но иная радость глубоко
В сердце зрела, как сладкий плод.
Он почуял веянье рока,
Милой смерти неслышный лет.
Говор моря и ветер южный
Заводили песню одну:
"Ты простишься с землей ненужной
И уйдешь домой, в тишину.
О твое усталое тело
Притупила жизнь острие.
Губы смерти нежны, и бело
Молодое лицо ее".

5

А с востока, из мглы белесой,
Где в лесу змеилась тропа,
Превышая вершину леса
Ярко-красной повязкой лба,
Пальм стройней и крепче платанов,
Неуклонней разлива рек,
В одеяньях серебротканых
Шел неведомый человек.
Шел один, спокойно и строго
Опуская глаза, как тот,
Кто давно знакомой дорогой
Много дней и ночей идет.
И казалось, земля бежала
Под его стопы, как вода,
Смоляною доской лежала
На груди его борода.
Точно высечен из гранита,
Лик был светел, но взгляд тяжел...
Жрец Лемурии[1], Морадита,
К золотому дракону шел.

6

Было страшно, точно без брони
Встретить меч, разящий в упор,
Увидать нежданно драконий

[1] *Лемурия* — по представлениям теософов, страна, существовавшая до Атлантиды.

И холодный и скользкий взор.
Помнил жрец, что десять столетий
Каждый бывший здесь человек
Видел лишь багровые сети
Крокодильих сомкнутых век.
Но молчал он и черной пикой
(У мудрейших водилось так)
На песке пред своим владыкой
Начертал таинственный знак:
Точно жезл, во прахе лежавший, —
Символ смертного естества,
И отвесный, обозначавший
Нисхождение божества,
И короткий, меж них сокрытый,
Точно связь этих двух миров...
Не хотел открыть Морадита
Зверю тайны чудесной слов.

7

И дракон прочел, наклоняя
Взоры к смертному в первый раз:
"Есть, владыка, нить золотая,
Что связует тебя и нас.
Много лет я провел во мраке,
Постигая смысл бытия,
Видишь, знаю святые знаки,
Что хранит твоя чешуя.
Отблеск их от солнца до меди
Изучил я ночью и днем,
Я следил, как во сне ты бредил,
Переменным горя огнем.
И я знаю, что заповедней
Этих сфер, и крестов, и чаш,
Пробудившись в свой день последний,
Нам ты знанье свое отдашь.
Зарожденье, преображенье
И ужасный конец миров
Ты за ревностное служенье
От своих не скроешь жрецов".

8

Засверкали в ответ чешуи
На взнесенной мостом спине,

Как сверкают речные струи
При склоняющейся луне.
И, кусая губы сердито,
Подавляя потоки слов,
Стал читать на них Морадита
Сочетанье черт и крестов:
"Разве в мире сильных не стало,
Что тебе я знанье отдам?
Я вручу его розе алой,
Водопадам и облакам;
Я вручу его кряжам горным,
Стражам косного бытия,
Семизвездию в небе черном,
Изогнувшемуся, как я,
Или ветру, сыну Удачи,
Что свою прославляет мать,
Но не твари с кровью горячей,
Не умеющею сверкать!"

9

Только сухо хрустнула пика,
Переломленная жрецом,
Только взоры сверкнули дико
Над гранитным его лицом
И уставились непреклонно
В муть уже потухавших глаз
Умирающего дракона —
Повелителя древних рас:
Человечья теснила сила
Нестерпимую ей судьбу,
Синей кровью большая жила
Налилась на открытом лбу,
Приоткрылись губы, и вольно
Прокатился по берегам
Голос яркий, густой и полный,
Как полуденный запах пальм.
Первый раз уста человека
Говорить осмелились днем,
Раздалось первый раз от века
Запрещенное слово: "ОМ"[1]!

---

[1] *ОМ* — одно из ключевых слов в буддийских обрядах; обладает магической силой; торжественное обращение и благословение.

10

Солнце вспыхнуло красным жаром
И надтреснуло. Метеор
Оторвался и легким паром
От него рванулся в простор.
После многих тысячелетий
Где-нибудь за Млечным Путем
Он расскажет встречной комете
О таинственном слове "ОМ".
Океан взревел и, взметенный,
Отступил горой серебра.
Так отходит зверь, обоженный
Головней людского костра.
Ветви лапчатые платанов,
Распластавшись, легли на песок,
Никакой напор ураганов
Так согнуть их досель не мог.
И звенело болью мгновенной,
Тонким воздухом и огнем
Сотрясая тело Вселенной,
Заповедное слово "ОМ".

11

Содрогнулся дракон и снова
Устремил на пришельца взор,
Смерть борола в нем силу слова,
Незнакомую до сих пор.
Смерть, надежный его союзник,
Наплывала издалека,
Как меха исполинской кузни,
Раздувались его бока.
Когти лап в предсмертном томленье
Бороздили поверхность скал,
Но без голоса, без движенья
Нес он муку свою и ждал.
Белый холод последней боли
Плавал по́ сердцу, и вот-вот
От сжигающей сердце воли
Человеческой он уйдет.
Понял жрец, что страшна потеря
И что смерти не обмануть,
Поднял правую лапу зверя
И себе положил на грудь.

12

Капли крови из свежей раны
Потекли, красны и теплы,
Как ключи на заре багряной
Из глубин меловой скалы.
Дивной перевязью священной
Заалели ее струи
На мерцании драгоценной
Золотеющей чешуи.
Точно солнце в рассветном небе,
Наливался жизнью дракон,
Крылья рвались по ветру, гребень
Петушиный встал, обагрен.
И когда, без слов, без движенья,
Взором жрец его вновь спросил
О рожденье, преображенье
И конце первозданных сил,
Переливы чешуй далече
Озарили уступы круч,
Точно голос нечеловечий,
Превращенный из звука в луч.

Песнь вторая

1

Мир когда-то был легок, пресен,
Бездыханен и недвижим,
И своих трагических песен
Не водило время над ним.

А уже в этой тьме суровой
Трепетала первая мысль,
И от мысли родилось Слово —
Предводитель священных числ.

В слове скрытое материнство
Отыскало свои пути:
— Уничтожиться как единство
И как множество расцвести.

Ибо в мире блаженно-новом,

Как сверканье и как тепло,
Было между числом и Словом
И не Слово и не число.

Светозарное, плотью стало,
Звуком, запахом и лучом,
И живая жизнь захлестала
Золотым и буйным ключом.

2

Скалясь красными пропастями,
Раскаленны, страшны, пестры,
За клокочущими мирами
Проносились с гулом миры.

Налетали, сшибались, выли
И стремительно мчались вниз,
И столбы золотистой пыли
Над ловцом и жертвой вились.

В озаренной светами бездне,
Затаив первозданный гнев,
Плыл на каждой звезде наездник —
Лебедь, Дева, Телец и Лев.

А на этой навстречу звездам,
Огрызаясь на звездный звон,
Золотобагряным наростом
Поднимался дивный дракон.

Лапы мир оплели, как нити,
И когда он вздыхал, дремля,
По расшатанной им орбите
Вверх и вниз металась Земля.

3

Мчалось время; прочней, телесней
Застывало оно везде.
Дева стала лучом и песней
На далекой своей звезде.

Лебедь стал сияющей льдиной,
А дракон — земною корой,
Разметавшеюся равниной,
Притаившеюся горой.

Умягчилось сердце природы,
Огнь в глубинах Земли исчез,
Побежали звонкие воды,
Отражая огни небес.

Но из самых темных затонов,
Из гниющих в воде корней,
Появилось племя драконов,
Крокодилов и черных змей.

Выползали слепые груды
И давили с хрустом других,
Кровяные рвались сосуды
От мычанья и рева их.

Гильгамеш[1]

Вавилонский эпос

ТАБЛИЦА ПЕРВАЯ

О том, кто все видел до края вселенной,
Кто скрытое ведал, кто все постиг,
Испытывал судьбы земли и неба,
Глубины познанья всех мудрецов.
Неизвестное знал он, разгадывал тайны,
О днях до потопа принес нам весть,
Ходил он далеко, и устал, и вернулся,
И выбил на камне свои труды.
Стеною обвел он Урук блаженный,
Чистого храма, Эанны святой
Золотил основанье, меди прочнее,
И высокие стены, с которых жрецы не сходят,
Заключил в них надпись на камне, лежащую там издревле.
Он прекрасный, сильный, он мудрый,
Божество он двумя третями, человек лишь одною,
Его тело светло, как звезда большая,
Но не знает он равных в искусстве мученья
Тех людей, что его доверены власти.
Гильгамеш, не оставит он матери сына,
Не оставит он жениху невесты,
Дочери герою, супругу мужу,
Днем и ночью он пирует с ними,
Он, кому доверен Урук блаженный,
Он, их пастырь, он, их хранитель,
Он, прекрасный, сильный он, мудрый.
Мольба их достигла высокого неба,

[1] *Гильгамеш* — полулегендарный правитель г. Урук в Шумере (XXIV в. до н. э.).

Небесные боги, владыки Урука, сказали Аруру:
"Вот, создала ты сына, и нет ему равных,
Но жесток Гильгамеш, днем и ночью пирует,
Жениху не оставит невесты и мужу супруги,
Он, кому доверен Урук блаженный,
Он, их пастырь, он, их хранитель".
Внимает их просьбам Аруру,
К Аруру великой они приступают снова:
"Ты, Аруру, уже создала Гильгамеша,
Ты сумеешь создать и его подобье,
Пусть они состязаются в силе, а Урук отдыхает".
Внимает Аруру и в сердце рождает подобие Ану,
Моет руки Аруру, бросает пригоршню глины
И создает Эабани, героя, силу Нииниба.
В волосах его тело, он носит, как женщины, косу,
Пряди кудрей ниспадают, подобно спелым колосьям,
Ни земли, ни людей он не знает, одет, как Гира,
Вместе с газелями щиплет травы,
Со скотом идет к водопою,
С водяною тварью веселится сердцем.
Один охотник, искусный ловчий,
У водопоя его заприметил,
Еще и еще раз у водопоя.
Испугался охотник, его лицо потемнело,
Опечалился сильно, горько заплакал,
Сердце сжалось, и скорбь проникла до чрева,
Он и стадо его поспешно направились к дому.
Уста отверзает охотник, отцу возвещает:
"Мой отец, человек, что с горы спустился, —
Во всей стране велика его сила,
Велика его сила, как воинство Ану —
По нашим владеньям свободно бродит.
Всегда он на пастбище средь газелей,
Всегда его ноги у водопоя,
Я брожу и не смею к нему приближаться.
Я вырыл ловушки, он их засыпал,
Я сети поставил, он их вырвал,
Угнал от меня он зверей пустыни,
Он не дает мне трудиться в пустыне".
Уста отверзает отец, охотника учит:
"Найди в блаженном Уруке царя Гильгамеша —
Во всей стране велика его сила,
Велика его сила, как воинство Ану —
Расскажи ему, что ты знаешь, попроси у него совета".

Отцовскому слову внимает охотник,
Пускается в путь, шаги замедляет в Уруке,
Приходит на пир, говорит Гильгамешу:
"О царь, человек, что с горы спустился,
В твоих владеньях свободно бродит,
Я вырыл ловушки, он их засыпал,
Я сети поставил, он их вырвал,
Он мне не дает трудиться в пустыне".

Уста Гильгамеш отверзает, и внимает охотник:
"Возвратись, мой охотник, и возьми с собой блудницу,
И когда человек тот придет к водопою,
Пусть она снимет одежды, а он возьмет ее зрелость.
Он приблизится к ней, едва он ее увидит,
И оставит зверей, что росли средь его пустыни".
И пошел охотник, и взял с собою блудницу,
Оба отправились в путь прямою дорогой
И на третий день подошли к тому полю.
Сел на место охотник, и села блудница,
День и другой ожидают у водопоя,
Звери приходят и пьют холодную воду,
Прибегает стадо, веселится сердцем.
И он, Эабани — его родина горы —
С газелями вместе щиплет травы,
С скотом идет к водопою,
С водяными тварями веселится сердцем.
Увидала его блудница, страстного человека,
Сильного, разрушителя, посреди пустыни:
"Это он, блудница, открой свои груди,
Открой свое лоно, пусть он возьмет твою зрелость.
Дай ему наслажденье, дело женщин.
Едва он увидит тебя, он к тебе устремится
И оставит зверей, что росли средь его пустыни".
Обнажила груди блудница и лоно открыла,
Не стыдилась она, вдохнула его дыханье,
Сбросила ткань и легла, а он лег сверху,
Силу своей любви на нее направил.

Шесть дней, семь ночей приходил Эабани, забавлялся с блудницей,
И когда он жажду свою насытил,
Он обратился к зверям, как прежде.
Увидали его, Эабани, и умчались газели,
От него отпрянули звери его пустыни.

Устыдился себя Эабани, его тело стало тяжелым,
Останавливались колени, когда он гнался за стадом,
И не мог он бежать, как бегал доныне.
Но теперь ощущает он новый разум,
Возвращается и садится у ног блудницы,
Смотрит в очи его блудница,
И пока говорит, его внимательны уши:
"Ты силен и прекрасен, ты — как бог, Эабани,
Что же делаешь ты средь зверей пустыни?
Я тебя поведу в Урук высокий,
В дом священный, жилище Иштар и Ану,
Где живет Гильгамеш, совершенный силой,
И царит над людьми, как дикий буйвол".
Говорит, и приятны ему эти речи,
Друга по сердцу искать он хочет:
"Я согласен, блудница, веди меня в город,
Где живет Гильгамеш, совершенный силой,
Я хочу его вызвать и с ним поспорить;
Закричу я в Уруке — это я могучий,
Это я людскими судьбами правлю,
Тот, кто родился в пустыне, велика его сила,
Пред его лицом твое побледнеет,
И кто будет повержен, знаю заранее".

Эабани с блудницей в Урук вступают,
Им встречаются люди в пышных одеждах,
Вот перед ними дворец Гильгамеша,
Место, в котором не кончается праздник,
Юноши там пируют, пируют блудницы,
Все полны вожделеньем, полны весельем,
Криками заставляют выйти старцев;
И опять блудница говорит Эабани:
"О Эабани, ты теперь мудрый,
Вот Гильгамеш пред тобою, человек, который
смеется,
Видишь его? Посмотри в его очи!
Его очи сияют, его вид благороден,
Его тело возбуждает желанья,
И могуществом тебя он выше,
Он, что не ложится ни днем, ни ночью.
Усмири, Эабани, свой гнев напрасный,
Гильгамеш, его любит Шамаш,
В него мудрость вдохнули Ану, Бел и Эа;
Еще раньше, чем ты с горы спустился,

Гильгамеш в Уруке во сне тебя видел;
Пробудился и матери сон рассказал он:

"Мать моя, снилось мне этой ночью —
Звездами было полно небо,
И, как воинство Ану, на меня навалился
Человек, на горе рожденный;
Я схватил его, но был он сильнее,
Я швырнул его, но он не качнулся,
На него поднялась вся область Урука,
Но стоял он, как столб, и ему целовали ноги;
Тогда, как на женщину, на него я прыгнул,
Я его одолел и швырнул к твоему подножью,
Это ты захотела, чтоб мы померились силой".
Римат-Белит, что ведает все, говорит господину,
Римат-Белит, что ведает все, говорит Гильгамешу:
"Тот, кто средь звезд в огромном небе,
Словно воинство Ану, на тебя навалился,
Тот, кого ты одолел и швырнул к моему подножью,
Честный и сильный товарищ, всегда выручающий друга,
Во всей стране велика его сила,
Велика его сила, как воинство Ану".
С трона заметил Гильгамеш Эабани,
Гильгамеш говорит с Эабани,
И садятся они, как братья, рядом.

ТАБЛИЦА ВТОРАЯ

Гильгамеш омрачился, услыхав рассказ Эабани:
"Слушайте, юноши, слушайте меня, старцы,
О моем Эабани, о друге моем я плачу!
Я, как плакальщицы, кричу причитанья,
Мой топор и мои запястья,
Меч мой с пояса и с кудрей украшенья,
Одеянья празднества, знаки величья
Я слагаю и плачу о моем Эабани,
О нем, человеке пустыни, я плачу!"
Обнаружил в себе охотник высокое сердце,
Он привел к Эабани блудницу, чтобы проклял тот ее зрелость:
"Я назначу тебе судьбу, блудница,

Не изменится она в стране вовеки.
Вот, я тебя проклинаю великим проклятьем,
Дом твой будет разрушен силой проклятья,
В дом разврата загонят тебя, как скотину!
Пусть дорога станет твоим жилищем,
Лишь под тенью стены найдешь ты отдых,
И распутник, и пьяный твое тело измучат,
За то, что меня, Эабани, увела из моей пустыни!"
Услыхал его Шамаш и уста отверзает,
Взывает к нему с высокого неба:
"Почему, Эабани, проклинаешь ты так блудницу,
Что дала тебе яства, достойные Бога,
Что дала тебе вина, достойные князя,
Облекла твое тело в пышные ткани,
Привела к Гильгамешу, твоему прекрасному другу?
Вот, теперь Гильгамеш твой брат, твой товарищ,
Он кладет тебя на ночь в роскошной постели,
В удобной постели он кладет тебя на ночь;
В мягком кресле сидишь ты, слева от трона,
И тебе владыки целуют ноги,
Люди Урука поют тебе славу,
Чтоб тебе угождали, дала тебе слуг блудница,
И по просьбе твоей я облек ее тело позорной одеждой,
Я облек его шкурой собачьей, и она бежит по
пустыне".
Чуть заблистала заря, великого Шамаша слово
Долетело до Эабани, и гневное сердце смирилось:
"Убежавшая пусть возвратится, станет путь ее
легким,
Пусть любви ее просят князья и владыки,
Вождь могучий развяжет над нею свой пояс,
Одарит ее золотом и ляпис-лазурью".
Так смирил Эабани скорбное сердце.
Наступила ночь, и один он ложится,
И поведал другу ночную тревогу:
"Этой ночью меня посетили виденья,
Небеса возопили, и земля отвечала,
И стоял неведомый муж предо мною,
Горели глаза, а лицо было темным,
С головою орла голова была схожа,
И на пальцах виднелись орлиные когти.
Высоко, высоко меж туч он вознесся,
И меня он вознес высоко, высоко,
От полета моя голова закружилась,

Вместо рук у меня были крылья птицы.
— Опускайся за мною в дом мрака, жилище Нергала,
В дом, откуда не выйдет входящий,
Путем, по которому нет возврата,
В дом, в котором не видят света,
Где питаются пылью, где грязь служит пищей,
Одеваются птицами в одеянье крыльев. —
В жилище праха, куда я спустился,
Я увидел поднос с ужасной тиарой
Изо всех тиар, что царили в мире.
Служители Ану и Бела готовят жаркое,
Предлагают вареную пищу и холодную воду.
Там живет священник и воин,
Пророк и клятвопреступник,
Заклинатели бездн, великие боги,
Живет Этана, и живет Гира,
Эрешкигаль живет там, земли царица;
Дева-писец, Белит-сери перед нею склонилась,
Все, что она записала, читает пред нею.
Очи она подняла, и меня увидала,
И попросила вожатого ее не тревожить".
Лишь блеснула заря, Гильгамеш открыл покой потаенный,
Стол достал он огромный, что был сделан из липы,
Медом наполнил сосуд из яшмы,
Маслом сосуд из ляпис-лазури,
Кубки вином, и солнце в тот миг показалось.
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:
"Друг, ни людей не щадит Хумбаба,
Ни младенцев во чреве женщин".
Уста Эабани отверз, говорит Гильгамешу:
"Друг мой, тот, на кого мы идем, могучий,
Это Хумбаба, тот, на кого мы идем, он страшен!"
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:
"Друг мой, ныне сказал ты правдивое слово".

ТАБЛИЦА ТРЕТЬЯ

Люди Урука сказали царю Гильгамешу:
"Рядом с тобой Эабани, верный другу,
Против тебя Хумбаба, хранитель кедра,
Славное дело себе ты выбрал.

Встречей почтим мы тебя, владыка,
И за встречу почтишь ты нас, владыка!"
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:
"Друг мой, пойдем во дворец высокий
К служанке Нинсун, великой царице,
К матери моей, которой ведомы тайны".

Римат-Белит долго внимала
С грустью речам сына своего Гильгамеша.
В храм богини она вошла поспешно,
Возложила на тело свое украшенья
И на грудь свою украшенья тоже,
Тиарой своею увенчала кудри,
По широким ступеням поднялась на террасу,
Поднялась. И пред Шамашем положила куренья,
Положила жертвы и к Шамашу руки воздела:
"Для чего ты дал Гильгамешу неусыпное сердце,
Для чего покорил ты моего сына?
Ты коснулся его, и он уходит
На Хумбабу дорогою отдаленной,
В бой вступает, который ему неведом,
Неизвестное дело затеял ныне.
Вплоть до дня, когда он достигнет кедров,
Поразит могучего, поразит Хумбабу
И погубит зло, что тебе ненавистно,
Ты, когда он повернется к небу,
Он к тебе повернется, Айя, невеста, помни!"
Она погасила курильницу, сняла тиару,
Она позвала Эабани и речь к нему обратила:
"Эабани, сильный, мое веселье, внемли мне:
Ныне вы с Гильгамешем победите Хумбабу,
С приношеньем для Шамаша, с мольбою для Айи".

ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТАЯ

Толпится народ средь улиц Урука,
Он замышляет дело силы,
Не пускает уйти царя Гильгамеша.
Вся страна поднялась против владыки,
Вся страна собралась к стенам Урука,
Не пускает уйти царя Гильгамеша.
Но он прыгнул на них, как дикий буйвол,
Опрокинул людей, заградивших выход,

И заплакал над павшими, как слабый ребенок.
Тогда прекрасный человек Эабани,
Эабани, достойный ложа богини,
Пред Гильгамешем, как Бог, прекрасным,
Запер ворота, ведущие в поле,
Выйти из них не дает Гильгамешу.
Вместе подходят они к воротам,
Ссорятся громко средь улиц шумных,
Но Гильгамеш усмиряет восставших,
Он заставляет рушиться камни,
Он заставляет качаться стену.
Вот Гильгамеш с Эабани в поле,
Вместе идут они к лесу Хумбабы,
Горько друг друга упрекают.
Нет в Эабани прежней силы,
Пряди кудрей омочены пóтом,
Он родился в пустыне и боится пустыни.
Он замедляет шаги, Эабани,
Лицо потемнело, и сам он трепещет,
На глаза набегают соленые слезы.
Вот ложится он на бок уже без силы,
Ни рукой, ни ногою не в силах двинуть,
Отверзает уста, говорит Гильгамешу:
"Чтоб хранить невредимыми кедры,
Чтоб людей устрашать, Бел его предназначил,
Предназначил Хумбабу, чей голос, как буря,
Чья гортань, как у Бога, чье дыханье, как буря.
Он слушает крик и шаги средь чащи,
И всех, кто в чащу его приходит,
Кто входит под кедры, постигает немочь".
Говорит Гильгамеш прекрасному другу, говорит Эабани:
"Как воинство Ану, велика твоя сила,
Ты родился в пустыне и боишься Хумбабы!
Мое ж не боится сердце хранителя кедров".
Уста Эабани отверз, говорит Гильгамешу:
"Друг мой, не будем входить под кедры,
Слабы руки мои, отнимаются члены".
Другу опять говорит Гильгамеш, говорит Эабани:
"Друг мой, как малый ребенок, ты плачешь,
Бог не прошел здесь, тебя не поверг на землю.
Еще перед нами путь далекий,
Я отправлюсь один, искушенный в сраженьях,
Ты ж вернешься домой и не будешь больше бояться,
Усладят твой слух барабаны и песни,

И покинет слабость твои руки и ноги.
Но я вижу, ты встал, мы отправимся вместе.
Твое сердце хотело битвы: забудь про смерть и не бойся!
Человек осторожный, решительный, сильный
Сохраняет себя в сраженьи, сохраняет и друга!
И для дней отдаленных они сохранят свое имя!"
Так доходят они до горы зеленой,
Понижают голос и становятся рядом.

ТАБЛИЦА ПЯТАЯ

Становятся рядом, смотрят в чащу.
И видят громадные кедры,
И видят тропы лесные,
Где бродит Хумбаба размеренным шагом,
Дороги проложены прямо, пути превосходны,
И видят кедровую гору, жилище богов, храм Ирнини.
Пред горою возносится кедр, разрастается пышно,
Тень его благосклонная полна ликованья,
Притаились в ней хвощи, и мхи притаились,
Притаились под кедром пахучие травы.
Час двойной созерцают герои чащу
И еще созерцают два двойных часа.
Уста Эабани отверз, говорит Гильгамешу:
"Истинно, время нам ныне показать нашу силу,
В месте прекрасном живет Хумбаба".
Услыхал Гильгамеш слова Эабани,
Он поспешно становится рядом с другом:
"Что ж, войдем в эту чащу и отыщем Хумбабу,
В семь одежд он облек могучее тело,
Но готовится к бою и шесть совлекает,
Словно раненый буйвол, приходит в ярость".
Вот кричит Гильгамеш, его голос полон угрозы,
Он зовет властителя леса: "Выходи, Хумбаба!"
Раз кричит он, кричит другой раз и третий,
Но Хумбаба не идет ему навстречу.

Эабани ложится на землю, и сну предается,
И, проснувшись, о сне говорит Гильгамешу:
"Сон, который я видел, был ужасен,
На вершине горы мы с тобой стояли,
И обрушилась вдруг гора под нами,

И мы оба скатились с нее, как букашки,
Ты, прекрасный и сильный, владыка Урука,
Я, рожденный на свет в пустыне".
Гильгамеш говорит в ответ Эабани:
"Друг мой, сон твой прекрасен для нас обоих,
Драгоценен твой сон, возвращает он счастье.
Это Хумбаба — та гора, что ты видел,
Знаю теперь я, что мы одолеем Хумбабу,
Труп его бросим в чаще кедров".

Вот блеснула заря, и герои стали молиться,
Через двадцать часов принесли они жертвы умершим,
Через тридцать часов завершили они причитанья,
Перед Шамашем вырыли ров глубокий,
Гильгамеш поднялся на алтарь из камня
И с молитвою в ров он бросил зерна:
"Приведи, о гора, сон к Эабани,
Помоги ему, Бог, грядущее видеть!"
Принята молитва, и дождь пролился,
И с дождем снизошел сон к Эабани,
Он его преклонил, как спелый колос,
Гильгамеш упал на колени, держит голову друга.
Он закончил свой сон посредине ночи,
Он поднялся и молвил владыке Урука:
"Друг, меня ты окрикнул? Почему я проснулся?
Ты коснулся меня? Почему я встревожен?
Не прошел ли здесь Бог, мое тело трепещет.
Друг мой, я новый сон увидел,
Сон, который я видел, был вовсе ужасным.
Небеса возопили, земля мычала,
Света не стало, вышли мраки,
Вспыхнула молния, мрак разлился,
Смерть упадала дождем на землю,
Быстро она загасила пламя,
Превратила молнии в смрадные дымы.
Спустимся, друг, в равнину и там порешим, что делать!"
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:
"Драгоценен твой сон, возвещает он счастье,
Знаю теперь, мы погубим Хумбабу!"
Вот зашатались кедры, и выходит Хумбаба,
Страшный, выходит он из-под кедров.
Ринулись оба героя, состязаясь в отваге,
Оба схватились с властителем кедров.

Дважды судьба помогла Эабани,
И Гильгамеш потрясает головою Хумбабы.

ТАБЛИЦА ШЕСТАЯ

Он оружье омыл, он начистил оружье,
По спине распустил благовонные кудри,
Сбросил грязное, чистое набросил на плечи,
Наложил на главу тиару, затянулся в тунику.
И владычица Иштар на него устремила очи,
Устремила очи на красоту Гильгамеша:
"Ну, Гильгамеш, отныне ты мой любовник!
Твоим вожделеньем я хочу насладиться.
Ты будешь мне мужем, я буду тебе женою,
Заложу для тебя колесницу из ляпис-лазури
С золотыми колесами, со спицами из рубинов,
И в нее запряжешь ты коней огромных;
В нашу обитель войди, в благовонье кедра,
И когда ты проникнешь в нашу обитель,
Те, что сидят на тронах, твои поцелуют ноги,
Все падут пред тобою, цари, князья и владыки,
Принесут тебе дань люди гор и равнины,
Станут тучны стада, станут козы рождать тебе двойни;
Будет мул выступать под ношей тяжелой,
Будет конь твой могучий стремить колесницу
И гордиться, что равных себе не знает".

Гильгамеш отверзает уста и вещает,
К владычице Иштар обращает слово:
"Сохрани для себя свои богатства,
Украшенья тела и одежды,
Сохрани для себя питье и пищу,
Пищу твою, что достойна Бога,
И питье твое, что владыки достойно.
Ведь любовь твоя буре подобна,
Двери, пропускающей дождь и бурю,
Дворцу, в котором гибнут герои,
Смоле, опаляющей своего владельца.
Меху, орошающему своего владельца.
Где любовник, которого бы ты всегда любила,
Где герой, приятный тебе и в грядущем?

Вот, я тебе расскажу про твои вожделенья:
Любовнику юности первой твоей, Таммузу,
На годы и годы назначила ты стенанья!
Птичку пеструю, пастушка, ты полюбила,
Ты избила ее, ты ей крылья сломала,
И живет она в чаще и кричит: крылья, крылья!
Полюбила ты льва, совершенного силой,
Семь и еще раз семь ему вырыла ты ловушек!
Полюбила коня, знаменитого в битве,
И дала ему бич, удила и шпоры,
Ты дала ему семь двойных часов бега,
Ты судила ему изнемочь и тогда лишь напиться,
Силили, его матери, ты судила рыданья!
Пастуха ты любила, хранителя стада,
Он всегда возносил пред тобою куренья,
Каждый день убивал для тебе по козленку,
Ты избила его, превратила в гиену,
И его же подпаски его гоняют,
Его же собаки рвут ему шкуру!
И отцовский садовник был тебе мил, Ишуллану,
Приносивший тебе драгоценности сада,
Каждый день украшавший алтарь твой цветами,
На него подняла ты глаза и к нему потянулась:
"Мой Ишуллану, исполненный силы, упьемся
любовью,
Чтоб мою наготу ощущать — протяни свою руку".
И сказал Ишуллану: "Чего от меня ты хочешь?
Мать моя не пекла ли? Я не вкушал ли?
А должен есть снедь стыда и проклятий,
И колючки кустарника мне служат одеждой".
И едва ты услышала эти речи,
Ты избила его, превратила в крысу,
Ты велела ему пребывать в его доме,
Не взойдет он на крышу, не спустится в поле,
И меня полюбив, ты изменишь тоже мой образ!"

Услыхала Иштар эти речи,
Рассердилась Иштар, полетела на небо,
Появилась Иштар пред отцом своим Ану,
Перед матерью Анту явилась она и сказала:
"Мой отец, Гильгамеш меня только что проклял,
Гильгамеш рассказал мои преступленья,
Мои преступленья, мои заклятья".
Уста открывает Ану, владычице Иштар отвечает:

"Воистину, много причинила ты бедствий,
И вот Гильгамеш рассказал твои преступленья,
Твои преступленья, твои заклятья".
Уста открывает Иштар и отцу отвечает, Ану:
"Мой отец, пусть родится бык небесный,
Бык небесный, который убьет Гильгамеша.
Если ты не исполнишь этой просьбы,
Я сломаю ворота, заключившие воды,
По земному пространству пущу все ветры,
И останется меньше живых, чем мертвых".
Уста открывает Ану, владычице Иштар отвечает:
"Чего от меня ты хочешь?
Можешь ты семь лет отдыхать на соломе,
Можешь ты семь лет собирать колосья
И семь лет есть одни коренья?"
Уста открывает Иштар и отцу отвечает, Ану:
"Буду семь лет отдыхать на соломе,
Буду семь лет собирать колосья
И семь лет есть одни коренья,
Если бык небесный убьет Гильгамеша!"
Внял ее просьбам Ану, и бык явился небесный,
Взял его Ану за хвост и хвырнул в Урук с поднебесья.
Сто человек раздавил он в тяжком своем паденьи,
На ноги встал и пятьсот человек умертвил дыханьем,
Увидал Эабани и бросился на героя,
Но, ухватясь за рога, Эабани склонил его морду,
Двести всего человек умертвил он вторым дыханьем.
Третье дыханье его пронеслось над землею напрасно,
Бросил его Эабани, и дух испустил он.
Уста Эабани отверз и сказал Гильгамешу:
"Друг мой, мы победили небесного зверя,
Скажем ли мы теперь, что не будет нам славы в потомстве?"
И Гильгамеш, как бог прекрасный,
Могучий и смелый владыка Урука,
Разрубает быка меж рогами и шеей,
Разрубает быка, вынимает кровавое сердце,
К подножию Шамаша его полагает.
К подножию Шамаша уходят герои
И садятся, как братья, рядом.

Иштар поднялась на высокую стену Урука,
Взошла на уступ и сказала свое проклятье:
"Гильгамешу проклятье, меня облекшему в траур,

Он и его Эабани моего быка умертвили".
И когда Эабани услышал это,
Вырвал он ногу быка, бросил в лицо богине:
"Вот поймаю тебя и с тобою сделаю то же,
Твоего быка требухой всю тебя обмотаю".
Иштар собрала и блудниц, и танцовщиц,
Над бычачьей ногой подняла она с ними стенанья.
И созвал Гильгамеш столяров и плотников вместе,
Чтобы они восхищались длиною рогов бычачьих.
Тридцать мин лазурного камня их масса,
Глубина их два двойных локтя,
И шесть мер масла вместимость обоих.
Своему божеству Лугаль-банде он их посвящает,
Он несет их и вешает в храме своего властелина.
Гильгамеш с Эабани умывают руки в Евфрате,
И пускаются в путь, и приходят на площадь Урука.
Люди Урука сбираются, их созерцают,
И говорит Гильгамеш служанкам дома:
"Кто блистателен среди народа?
Кто могуществен среди народа?
Гильгамеш блистателен среди народа,
Гильгамеш могуществен среди народа!
Люди узнали тяжесть нашего гнева,
Нет никого веселого сердцем,
Я же направлю путь их сердца!"
В доме своем Гильгамеш устроил праздник,
Люди ложатся на ложах ночных и дремлют,
Эабани ложится, и видит виденья,
И встает, и рассказывает Гильгамешу.

ТАБЛИЦА СЕДЬМАЯ

Уста Эабани отверз, говорит Гильгамешу:
"Друг, почему собрались на совет великие боги,
И во сне тревожном я дверь увидел,
И коснулся ее, и тогда испугался?"
Поднимает топор боевой Эабани,
Обращается к двери, как к человеку:
"Дверь из леса, лишенная разуменья,
Чей рассудок не существует,
Твое дерево славил я на двадцать часов пути в округе,
Даже кедр вознесенный, что я видел в лесу Хумбабы,

Редкостью не может с тобою сравниться.
Семьдесят пять локтей шириной ты и двадцать
четыре длиною,
Сделал тебя властелин, царил он в Нишпуре.
Но если бы знал я, о дверь, что ты мне путь
заграждаешь,
Что твоя красота украшает мою темницу,
Я бы поднял топор и тебя расколол бы в щепы".
К другу тогда, к Гильгамешу, обращается вновь
Эабани:
"Друг мой, с которым мы столько трудов совершили,
Тленье повсюду, куда бы я взоры ни кинул,
Друг мой, свершается сон, вещавший мне гибель,
День, о котором мне сон говорил, ныне приходит".

Эабани ложится на своей богатой постели
И с нее не встает ни день, ни второй, ни третий,
День четвертый, и пятый, шестой, и седьмой,
и восьмой, и девятый,
Всех двенадцать дней оставляет болезнь Эабани
в постели.
Он зовет тогда Гильгамеша, говорит прекрасному
другу:
"Друг мой, проклял меня бог какой-то свирепый,
Как того, что в сраженьи утратил отвагу.
Вот боюсь я борьбы и не выйду в поле,
Друг мой, тот, кто боится, проклят!"

ТАБЛИЦА ВОСЬМАЯ

Чуть заблистала заря, Эабани сказал Гильгамешу:
"Смерть покорила меня, я ныне бессилен.
Боги любят тебя и сделают сильным,
Славу твою возгласят все девы Урука,
Но от своей судьбы и ты не уйдешь, прекрасный!
День и ночь ты трудился, входил в кедровую чащу,
Царил в блаженном Уруке, и почесть тебе воздавали,
Сколько пространств мы с тобой обошли
и равнинных, и горных,
И я устал, и лежу, и больше не встану.
Покрой меня пышной одеждой, какую мать твоя
носит,

Кудри смочи мои маслом кедра,
Того, под которым от нашего гнева погиб Хумбаба.
Тот, кто берег зверей пустыни,
Тот, кто играл у воды со стадом,
Никогда не сядет с тобою рядом,
Никогда не напьется воды в Евфрате,
Никогда не войдет в Урук блаженный!"
И над другом своим Гильгамеш заплакал:
"Эабани, мой друг, мой брат, пантера пустыни,
Вместе бродили мы, вместе всходили на горы,
Победили Хумбабу, хранителя чащи кедровой,
И небесного быка умертвили;
Что за сон овладел теперь тобою,
Почему омрачен ты и мне не внемлешь?"
Но Эабани очей на друга не поднял,
Сердца коснулся его Гильгамеш, и сердце не билось.
Тогда он упал на друга, как на невесту,
Как рыкающий лев, он рванулся на друга,
Как львица, детеныша которой убили,
Он схватил его недвижное тело,
Рвал одежду свою, проливал обильные слезы,
Сбросил царские знаки, скорбя о его кончине.

Шесть дней, шесть ночей Гильгамеш пребывал
с Эабани,
И когда заблистала заря, собрались к нему люди Урука
И сказали владыке, сказали они Гильгамешу:
"Ты победил Хумбабу, хранителя кедров,
Львов убивал ты в горных ущельях,
Умертвил и быка, что спустился с неба.
Почему ж твоя мощь погибла, почему же твой взор
опущен,
Сердце бьется так быстро, прорезают чело морщины,
Грудь исполнена скорбью,
И с лицом уходящего дальней дорогой лицо твое
схоже,
Боль, печаль и тревога его изменили,
Почему ты бежишь в пустынное поле?"
И сказал Гильгамеш, ответил людям Урука:
"Эабани, мой друг, мой брат, пантера пустыни,
Вместе с которым мы видели столько лишений,
Друг, с которым мы львов убивали,
Умертвили быка, что спустился с неба,
Победили Хумбабу, хранителя кедра,

Ныне судьба его свершилась.
Шесть дней и ночей над ним я плакал
Вплоть до дня, как его опустили в могилу,
И боюсь теперь смерти, и бегу в пустынное поле,
Надо мной тяготеет предсмертное слово друга.
Как, о, как я утешусь? Как, о, как я заплачу?
Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен,
И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться?"

ТАБЛИЦА ДЕВЯТАЯ

Гильгамеш по Эабани, своем друге,
Горько плачет и бежит в пустыню:
"Я умру! Не такой же ль и я, как Эабани?
Грудь моя исполнена скорбью,
Я смерти боюсь и бегу, убегаю!
К мощи Ут-напиштима, сына Убара-Туту,
Путь я предпринял, иду поспешно.
Ночью пришел я к ущельям горным,
Львов я увидел, и вот мне страшно!
Голову я подниму, воззову к великому Сину,
И к собранью богов мольбы мои вознесутся:
"Боги, молю вас, спасите меня, спасите!"
Лег он на землю, и страшным сном был испуган.
Голову поднял и вновь воззвал к великому Сину,
И к Иштар, небесной блуднице, мольбы его
возносились.
Гора называлась Машу,
И когда подошел он к Машу,
Те, кто блюли ежедневно солнечный выход
и возвращенье, —
Головы их касался свод небесный,
И внизу их грудь доходила до ада, —
Люди-скорпионы хранили двери,
Вид их был смерть, и взор был ужас,
Страшный блеск их опрокидывал горы!
При выходе и при возвращеньи блюли они солнце.
Он их узрел, Гильгамеш, и от испуга
И от тревоги лицо его омрачилось.
Он собрал свои мысли и склонился пред ними,
Человек-скорпион жене своей крикнул:
"Тот, кто подходит к нам, тело его, как тело Бога".

Женщина-скорпион отвечает мужу:
"Бог он двумя третями, человек лишь одною".
Гильгамеш говорит человеку-скорпиону:
"Знаешь ли ты, где Ут-напиштим, мой отец, обитает,
Он, возросший в собраньи богов и вечную жизнь обретший?"
Человек-скорпион отверзает уста, говорит Гильгамешу:
"Нет никого, Гильгамеш, кто прошел бы такою дорогой,
Нет никого, кто прошел бы сквозь эту гору.
Мрак там глубок, и нет там света
Ни при выходе солнца, ни при его возвращеньи.
Но иди, Гильгамеш, не медли в горных воротах,
Здравым и невредимым да хранят тебя боги!"
Человек-скорпион кончил, вошел Гильгамеш в пещеру,
Ночной дорогой солнца час двойной он проходит,
Мрак там глубок, и нет там света,
Позади себя ничего он не видит.
Восемь часов идет, и дует северный ветер,
Десять часов идет, выходит навстречу солнцу,
На двенадцатый час разлилось сиянье.
Деревья богов он увидел, к ним путь направил,
Яблоня гнется под плодами.
Повисают гроздья, которые видеть отрадно,
На лазоревом камне выросло райское древо,
И на нем плоды совершенны для взгляда.
Между них изумруды, рубины, яхонт,
И кошачий глаз, и лунный камень.
Гильгамеш вошел в блаженную рощу,
На райское древо поднял взоры.

ТАБЛИЦА ДЕСЯТАЯ

Сидури Сабеянка восседает на троне моря,
Восседает она, благосклонны к ней боги,
Ожерелье ей дали, дали пояс,
Фатою она завешена, покрывалом скрыта.
Гильгамеш устремился, как дикий буйвол,
Шкурой окутан, тело его — тело Бога,

Грудь исполнена скорбью.
С лицом уходящего дальней дорогой лицо его схоже.
Сабеянка видит его издалека,
Говорит в сердце своем, себя убеждает:
"Может быть, тот, кто идет, разрушитель.
Откуда пришел он в мои владенья?"
Увидала его Сабеянка, двери закрыла,
Двери закрыла, заложила засовом.
Гильгамеш задумал войти в эти двери,
Поднял голову, отцепил секиру,
Говорит Сабеянке такое слово:
"Что ты увидела? Ты двери закрыла!
Я вышибу двери, засов сломаю".
Сабеянка говорит Гильгамешу:
"Почему твое сердце бьется, взор опущен,
Почему ты бежишь через поле?"
Гильгамеш обращает к Сабеянке слово:
"Эабани, брат мой, пантера пустыни,
Ныне судьба его совершилась,
Не такой же ль и я, не случится со мной того же?
С той поры, как скитаюсь я птицей пустыни,
Может быть, в небесах светил стало меньше,
Столько долгих лет был я спящим.
Пусть увижу я солнце, насыщусь светом,
От обильного света кроется сумрак,
Да увидит мертвый сияние солнца!
Укажи, Сабеянка, мне путь к Ут-напиштиму,
Какой его признак, расскажи этот признак;
Если возможно, поплыву через море,
Если нельзя, отправлюсь полем".
Сабеянка говорит Гильгамешу:
"Туда, Гильгамеш, не найти дороги,
Никто с древнейших времен не плыл через море;
Шамаш это свершил, и никто не решится снова.
Затруднен переход, тяжела дорога,
Глубоки воды смерти, заградившие подступ!
Где же ты, Гильгамеш, перейдешь через море?
Что свершишь ты, когда войдешь в воды смерти?
Есть, Гильгамеш, Ур-Эа, лодочник Ут-напиштима,
С ним "братья каменьев", в лесу он сбирает травы,
Пусть он лицо твое увидит!
Можешь — плыви с ним; нельзя — возвращайся!
Но для чего, Гильгамеш, ты столько бродишь?
Бессмертья, которого хочешь, ты не отыщешь!

Когда род людской создавали боги,
Смерть они приказали роду людскому
И в своих руках жизнь сохранили.
Ты, Гильгамеш, наполняй свой желудок,
Забавляйся ты и днем, и ночью,
Каждый день устраивай праздник,
Каждый день будь доволен и весел,
Пусть твои одеяния будут пышны,
Голова умащена, омыто тело,
Любуйся ребенком, твою хватающим руку,
Пусть к твоей груди припадет супруга!"

Услыхал Гильгамеш Сабеянки слово,
Повесил секиру, пошел на берег,
Ур-Эа там был, лодочник Ут-напиштима,
Ур-Эа в глаза его смотрит,
Спрашивает Гильгамеша:
"Как твое имя? Скажи его мне!
Я же Ур-Эа, лодочник Ут-напиштима!"
Уста Гильгамеш отверзает, ему отвечает:
"Я — Гильгамеш! Таково мое имя!
Из жилища богов сюда я явился
Далеким путем от восхода солнца.
И теперь, Ур-Эа, когда я лицо твое вижу,
Укажи мне дорогу к отшельнику Ут-напиштиму".
Лодочник Ур-Эа Гильгамешу так отвечает:
"Руки твои, Гильгамеш, свершили много,
"Братья каменьев" тобой разбиты;
Подними, Гильгамеш, свою секиру,
В шестьдесят локтей выруби жерди,
Сдери с них кору, положи на берег".
И когда Гильгамеш исполнил это,
Он и Ур-Эа взошли на судно,
Судно на волны столкнули и в путь пустились.
Путь их — на месяц. На третий день поглядели:
Ур-Эа вступил в воды смерти.
Ур-Эа говорит Гильгамешу:
"Гильгамеш, подвигайся вперед, работай жердью,
Да не коснутся руки твоей воды смерти!"
Жердь изломал Гильгамеш, одну, и вторую, и третью,
Сто двадцать жердей всего изломал он,
Снял Гильгамеш свою одежду,

Своими руками поставил мачту.
Ут-напиштим издали смотрит.
Говорит в своем сердце, произносит слово,
С самим собою совет он держит:
"Почему поломаны жерди судна?
Кто-то мне неподвластный стоит на судне.
Не совсем человек он стороною правой,
Я смотрю и вижу, не совсем человек он!"

Ут-напиштим говорит Гильгамешу:
"Что случилось с твоею мощью? Взгляд твой зачем
опущен?
Почему твое сердце бьется, прорезают чело
морщины?"
Гильгамеш отвечает Ут-напиштиму:
"Я сказал — я увижу Ут-напиштима, о котором
несется слава,
И поднялся я, и прошел все страны,
Перебрался я через трудные горы,
Переплыл все пучины моря,
Добрый ветер в лицо мне не веял,
Вверг себя в нищету я, болью исполнил члены,
Не вступил я в дом Сабеянки, моя одежда истлела!
Птица ущелий, лев и шакал, олень и пантера
Служили мне пищей, их шкурами тешил я сердце.
Пусть тот, кто доволен, запирает двери,
От меня отлетела радость,
Достиг я границы скорби".
Ут-напиштим говорит Гильгамешу:
"Навсегда ли мы строим домы? Трудимся навсегда ли?
Навсегда ли друг с другом расстаются братья?
Навсегда ли ненависть входит в сердце?
Навсегда ли реки заливают равнины?
Навсегда ли птицы увидели солнце?
Нет с давнишних пор на земле бессмертья,
Мертвый и спящий друг с другом схожи,
Оба не знают лика смерти.
Властелин и слуга равны пред нею,
Ануннаки, великие боги, ее скрывают,
Мамету, госпожа судеб, управляет с ними,
Жизнь или смерть они указуют,
Не дают угадать смертного часа".

ТАБЛИЦА ОДИННАДЦАТАЯ

Гильгамеш говорит отшельнику Ут-напиштиму:
"О, Ут-напиштим, я тебя созерцаю,
Твой облик не страшен, ты мне подобен,
Ты мне подобен, со мной не различен.
Твое сердце годится, чтоб смеяться в сраженьи,
Как все, когда спишь, ты ложишься на спину!
Почему ж ты так вознесен, добыл жизнь в собраньи
бессмертных?"
Ут-напиштим говорит Гильгамешу:
"Я открою тебе, Гильгамеш, тайное слово,
Тайну богов тебе расскажу я:
Шуриппак, город, который ты знаешь,
Который стоит вблизи Евфрата,
Старинный город, обитают в нем боги,
И сделать потоп подтолкнуло их сердце, богов
великих.
Был среди них отец их, Ану,
Бел воитель, их советник,
Эннуги, их начальник,
И Ниниб, их вестник,
Эа мудрейший восседал с ними;
Их слова повторил он изгороди тростниковой:
"Изгородь, изгородь! Ограда, ограда!
Слушай, изгородь! Понимай, ограда!
Человек Шуриппака, сын Убара-Туту,
Разрушь свой дом, выстрой судно,
Оставь богатства, думай о жизни,
Ненавидь богатства ради жизни,
Погрузи семена всей жизни во внутренность судна.
Пусть они будут вымерены, его размеры,
Размеры судна, которое ты построишь,
Пусть ширина и длина отвечают друг другу!
Тогда лишь можешь спустить его в море!"
Я понял и молвил Эа, моему господину:
"О мой властитель, все, что сказал ты,
Внял я сердцем и все исполню,
Но что расскажу толпе и старцам?"
Эа уста отверз и мне ответил,
Своему слуге он так ответил:
"Вот что расскажешь ты толпе и старцам:
— Я ненавистен Белу и жить не буду в городе нашем,
На землю Бела ноги не поставлю,

Я спущусь к океану, будь жить с Эа, моим господином.
А на вас он нашлет в изобилии воды,
Добыча птиц и рыб добыча,
На вас нашлет он дождь нечистый.

Чуть утро блеснуло, я начал работать,
На пятый день чертежи закончил:
В сто двадцать локтей должны быть стены,
И крыши объем тоже в сто двадцать,
Я очертанья наметил, нарисовал их после;
Я шесть раз покрыл обшивкой судно,
Я на семь частей разделил его крышу.
Его внутренность разделил на девять,
В середине его поставил распоры,
Я руль устроил и все, что нужно,
Шесть мер смолы на дно я вылил,
На дно я вылил три меры дегтя;
Носильщики мне принесли три меры масла:
Одну меру оставил я для священной жертвы,
Лодочник спрятал других две меры.
Для народа быков я резал,
Каждый день по козлу убивал я,
Соком ягод, вином и маслом
Я поил его, как простой водою;
Я устроил праздник, как в день новогодний,
Открыл кладовые, достал драгоценную мирру.
Раньше заката солнца было окончено судно,
Принесли строители мачту для судна.
Все, что имел, на него погрузил я,
Все, что имел серебра, на него погрузил я,
Все, что имел я золота, на него погрузил я,
Все, что имел, нагрузил я, все семя жизни
Заключил я во внутренность судна: родных
и семейство,
Скот полевой и зверей полевых, всех погрузил я.

Шамаш мне час назначил:
— Вечером мрака властитель пошлет нечистые воды,
Войди во внутренность судна и дверь захлопни. —
Час наступил предрешенный:
Вечером мрака властитель пролил нечистые воды;
На образ дня посмотрел я,
И я испугался этой погоды,
В судно вошел и двери захлопнул;

Управлять кораблем, лодочнику Пузур-Белу
Я доверил постройку со всем погруженным.
Едва рассвет засветился,
Из глуби небес поднялась черная туча,
Адад рычал в ней,
Набу и Царь вперед выступали;
Вестники, шли они через гору и поле;
Нергал опрокинул мачту.
Он идет, Нииб, он бой ведет за собою;
Факелы принесли Ануннаки,
Их огнями они освещают землю.
Грохот Адада наполнил небо,
Все, что было блестящим, превращается в сумрак.
Брат не видит более брата,
Люди в небе друг друга узнать не могут,
Боги боятся потопа,
Они убегают, они поднимаются на небо Ану.
Там садятся, как псы, ложатся на стены.
Кличет Иштар, как поденщица, громко,
Голосом дивным царица богов возглашает:
"Пусть тот день рассыплется пылью,
День, когда я злое сказала перед богами,
Потому что сказала я злое перед богами,
Чтобы людей погубить и потоп накликать.
Для того ли взлелеяла я народ мой,
Чтобы, как выводок рыб, они наполнили море?"
По вине Ануннак, боги плачут с нею,
Боги подавленны и в слезах восседают,
Губы их сжаты, и тело трепещет.
Шесть дней, шесть ночей бродят ветер и воды, ураган владеет землею.
При начале седьмого дня ураган спадает,
Он, который сражался, подобно войску;
Море утишилось, ветер улегся, потоп прекратился.
Я на море взглянул: голос не слышен,
Все человечество стало грязью,
Выше кровель легло болото!
Я окно открыл, день осветил мне щеку,
Я безумствовал, я сидел и плакал,
По щеке моей струились слезы.
Я взглянул на мир, на пространство моря,
В двенадцати днях пути виднелся остров,
К горе Низир приближается судно,
Гора Низир от себя не пускает судна.

День, и второй, и третий его не пускает,
Четвертый, пятый, шестой день его не пускает.
День седьмой загорелся,
Я взял голубку, пустил наружу,
Улетела голубка и возвратилась,
Словно места себе не нашла, возвратилась.
Я ласточку взял, пустил наружу,
Улетела ласточка, возвратилась,
Словно места себе не нашла, возвратилась.
Я ворона взял, пустил наружу,
Умчался ворон, ущерб воды он увидел:
Он ест, он порхает, он каркает, он не хочет вернуться.
Я оставил его четырем ветрам, я совершил возлиянье,
Я жертву поставил на горной вершине.
Четырнадцать жертвенных урн я поставил,
Мирт, кедр и тростник разостлал под ними.
Боги почуяли запах,
Боги почуяли добрый запах,
Боги слетелись, как мухи, над приносящим жертву.
Только царица богов примчалась,
Украшенья она вознесла, что сделал ей Ану:
"О боги, стоящие здесь, как я не забуду моего ожерелья
из ляпис-лазури,
Так же и этих дней не забуду, всегда буду помнить!
Пусть боги подходят к жертве!
Но пусть Бел не подходит к жертве!
Потому что он не размыслил, потоп устроил,
Людям моим он назначил гибель".
Только бог Бел примчался,
Судно увидел он, Бел, и сделался гневным,
Гневом исполнился против Игиги:
"Разве какой-нибудь смертный спасся?
Жить человек не должен среди разрушенья!"
Нинив уста отверзает,
Говорит он герою Белу:
"Кто, кроме Эа, творец созданья?
Эа один знает все дело".
Эа уста отверзает,
Говорит он герою Белу:
"Ты, мудрец средь богов, воитель,
Как не размыслил ты, потоп устроил?
Грех на грешного возложи ты,
Вину на виновного возложи ты!
Но отступи, прежде чем он уничтожен будет!

Почему ты потоп устроил?
Пусть бы лев пришел и людей пожрал он!
Почему ты потоп устроил?
Пусть бы пришел леопард и людей пожрал он!
Почему ты потоп устроил?
Пусть бы голод явился, разорил бы землю!
Почему ты потоп устроил?
Пусть чума бы явилась, разорила бы землю!
Тайну великих богов не открыл я людям,
Мудрый, я сон им послал, и сон поведал им тайну".
Боги спросили тогда совета у Бела;
Бел поднялся на судно,
Взял меня за руку, вознес высоко;
И жену мою он вознес, поставил нас рядом;
Наших лиц он коснулся, стал между нас, благословил нас:
"Прежде Ут-напиштим был смертным,
Ныне и он, и жена нам, бессмертным, подобны:
Пусть он живет, Ут-напиштим, в устье рек далеко!"
Взяли меня и в устье рек поселили.
А тебя, Гильгамеш, кто из богов введет в их собранье,
Чтобы обрел ты бессмертье, которого ищешь?
Вот! Шесть дней, семь ночей не ложись, попробуй!"
Едва Гильгамеш опустился на землю,
Сон, словно буря, на него повеял.
Ут-напиштим говорит супруге:
"Видишь ли сильного, что хочет бессмертья?
Сон, словно буря, на него повеял!"
Говорит супруга отшельнику, Ут-напиштиму:
"Тронь его, пусть человек пробудится сразу
И путем, которым пришел он, невредим возвратится!
Чрез большие ворота, откуда он вышел, домой возвратится!"
Ут-напиштим говорит супруге:
"Человечество дурно и злом воздает за благо!
Но спеки ему хлебы, положи у его изголовья!"
И пока он спал на палубе судна,
Хлебы она испекла, положила у его изголовья.
И пока он спал, ему поведала знанье:
"Первый его хлеб заквашен,
Выдержан второй, третий сдобрен,
Четвертый поджарен, он сделался белым,
Пятый сделался старым,
Шестой проварен,

Седьмой!..” Он тронул его, человек пробудился сразу!
Гильгамеш говорит отшельнику, Ут-напиштиму:
”Я лежал без движенья! Простерли сон надо мною!
Вдруг ты меня коснулся, и я пробудился”.
Ут-нипиштим говорит Гильгамешу:
”Сосчитай, Гильгамеш, сосчитай твои хлебы!
Качество хлебов да будет тебе известно!”
Гильгамеш говорит Ут-напиштиму:
”Что, что я сделаю, Ут-напиштим? Куда пойду я?
Я, чьи радости похититель похитил,
Я, в чьей спальне кроется гибель?”
Ут-напиштим к Ур-Эа, лодочнику, обратился:
”Ур-Эа, пусть тобою море возвеселится!
Тот, кто бродит по берегу, пусть он уедет!
Человек, перед которым пришел ты,
Чье тело прикрыто грязной одеждой
И чью красоту закрывают шкуры,
Возьми его, Ур-Эа, и веди его в баню,
Пусть он моет одежду в воде, пока она чистой не станет.
С плеч пусть он сбросит шкуры, и пусть унесет их море,
Пусть его дивное тело возбудит в смотрящем зависть,
Пусть она станет новой, его головы повязка,
Пусть он покроется платьем, непостыдной одеждой!
Вплоть до дня, как он в свой город прибудет,
Вплоть до дня, как он окончит дорогу,
Платье его не износится, но останется новым”.
Гильгамеш и Ур-Эа взошли на судно,
Судно столкнули на волны они и отплыли.
Отшельнику Ут-напиштиму так сказала его супруга:
”Гильгамеш путешествовал, он устал, истомился,
Что ты дашь ему при его возвращеньи?”
Услыхал Гильгамеш и жердь поднимает,
К берегу он подводит судно.
Ут-напиштим говорит Гильгамешу:
”Тебе, Гильгамеш, я открою тайное слово,
Священное слово тебе скажу я:
Видишь растенье на дне океана,
Шип его, точно терновник, пронзит твою руку,
Если рука твоя это растенье достанет”.
Едва Гильгамеш услышал это,
К ногам привязал он тяжелые камни,
И они его в океан погрузили.

Взял он растенье, оно ему руку пронзило,
Отвязал он тогда тяжелые камни
И поднялся наверх со своей добычей.
К Ур-Эа Гильгамеш обратился:
"Ур-Эа, растенье это весьма знаменито,
Из-за него человек получает дыханье жизни.
Я возьму его в крепкий Урук, поделю средь сограждан,
Имя его — "старик становится юным".
Я его съем в Уруке и юношей стану".
Двадцать часов прошло, принесли они жертву умершим,
Тридцать часов прошло, завершили они причитанья;
Увидал Гильгамеш колодец с холодной водою,
Он спустился в него и водой омылся.
Змея услыхала запах растенья,
Подползла и растенье утащила.
Гильгамеш возвратился, крикнул проклятье,
Сел потом и заплакал;
По щеке его катятся слезы,
Лодочнику Ур-Эа говорит он:
"Для кого, о Ур-Эа, мои руки терпели усталость?
Для кого я растратил кровь из сердца?
Ведь не для себя совершил я подвиг,
Совершил я подвиг для львов пустыни,
И растенье мое колышут волны.
Когда я выходил на берег,
Видел я знак священный: время причалить,
Время оставить у берега судно".
Двадцать часов прошло, принесли они жертву умершим,
Тридцать часов прошло, завершили они причитанья,
И увидали тогда Урук блаженный.
К лодочнику Ур-Эа Гильгамеш обратился:
"Ур-Эа, поднимись прогуляться на стену Урука!
Созерцай основанье, на кладку взгляни, не прекрасна ли кладка?
Или не семь мудрецов заложили здесь основанье?
Один сар города, один сада, один развалин храма богини —
Три сара, и обломки Урука я возьму и ее закончу".

ТАБЛИЦА ДВЕНАДЦАТАЯ

Уста Гильгамеш отверзает, Ур-Эа вопрошает:
"Как мне спуститься в обитель мрака,
Как мне увидеть моего Эабани?"
Ур-Эа говорит Гильгамешу:
"О Гильгамеш, если хочешь увидеть ты Эабани,
Эабани, живущего в царстве мертвых,
Чистое платье сбрось, в грязное облекись ты платье,
Как если б в дворце Ниназу ты был гражданином!
Благовонным маслом из урны не умащайся:
Запах заслыша, тени к тебе устремятся!
Лука своего не ставь на землю:
Все пораженные луком тебя обступят!
Царского скипетра в руке не держи ты:
Тени тебя объявят пленным!
Ног твоих пусть не касается обувь:
Шума не делай, по земле ступая!
Не целуй жену твою, которую любишь,
И не бей жену твою, которую ненавидишь!
Не целуй твоего ребенка, которого любишь,
И не бей твоего ребенка, которого ненавидишь!
Жалобу земли тогда ты услышишь!
Та, что почиет, та, что почиет, мать Ниназу, та, что почиет.
Бедра ее блестящие не покрыты одеждой,
Грудь ее не похожа на урну!"
Три дня прошло, и закон Гильгамеш преступает,
Он целует жену, которую любит,
Ударяет ребенка, которого ненавидит.
Жалобу земли он услышать не может:
Та, что почиет, та, что почиет, мать Ниназу, та, что почиет.
Бедра ее блестящие не покрыты одеждой,
Грудь ее не похожа на урну.
Эабани не может выйти на землю.
Намтару не взял его, несчастье не взяло, земля не пускает,
Страж Нергала безжалостный не взял его, земля не пускает,
На месте битвы людей он не пал, земля не пускает.
Плачет Нинсун по своем слуге Эабани,

К дому Бела она поспешно одна приходит,
Бел не сказал ни слова, к Сину приходит,
Син не сказал ни слова, приходит к Эа,
Эа отец говорит Нергалу:
"Сильный Нергал, открой отверстие ада,
К брату да выйдет тень Эабани!"
Сильный Нергал внимает велению Эа,
Он открывает отверстие ада,
И оттуда, дыханью подобно, выходит тень Эабани.

С другом своим говорит Гильгамеш, говорит с Эабани:
"Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,
Скажи мне закон земли, который ты знаешь!" —
"Не скажу я, друг мой, не скажу я!
Если бы закон земли сказал я,
Сел бы ты тогда и заплакал!" —
"Что же? Пусть я сяду и заплачу!
Скажи мне закон земли, который ты знаешь". —
"Голова, которой ты касался и которой радовался сердцем,
Точно старую одежду, червь ее пожирает!
Грудь, которой ты касался и которой радовался сердцем,
Точно старый мешок, полна она пыли!
Все тело мое пыли подобно!" —
"Того, кто умер смертью железа, ты видел?" — "Видел!
Он лежит на постели, пьет прозрачную воду". —
"А того, кто убит в бою, ты видел?" — "Видел!
Мать и отец его голову держат, жена над ним наклонилась". —
"А того, чье тело брошено в поле, ты видел?" — "Видел!
Его тень не находит в земле покоя". —
"А того, о чьем духе никто не печется, ты видел?" — "Видел!
Остатки в горшках и объедки с улицы ест он".

СЛОВАРЬ ИМЕН

Адад — божество непогоды.
Айя — богиня, супруга Шамаша.
Анту — богиня неба, женское дополнение Ану.
Ану ("Небо") — божество неба, первый член верховной триады богов.

Анунна́ки — духи земли, обитающие в преисподней.
Аруру — богиня-гончарница, созидательница живых существ.
Белу́т-се́ри ("Госпожа поля") — богиня растительности и покровительница письменного искусства, ведущая Книги судеб.
Бел ("Господь") — одно из имен Эллиля, божества воздушной стихии, второго члена верховной триады богов.
Гу́ра — См. Сумукан.
Игу́ги — духи неба, соответствующие духам земли, Ануннакам.
Ирну́ни — эламская форма богини Иштар.
Иштар — главное женское божество вавилонского пантеона, дочь Ану по одним версиям, дочь Сина — по другим, богиня — покровительница Урука.
Ишулла́ну — садовник Иштар, один из героев мифа о семи любовниках богини.
Лугаль-ба́нде — личное божество Гильгамеша.
Маме́ту — богиня судеб.
Ма́шу — двойная гора на северо-западе и северо-востоке, охраняемое людьми-скорпионами место входа и выхода Шамаша-солнца.
На́бу — бог мудрости.
Намта́р — демон эпидемий, слуга Нергала.
Нергал — ("Владыка великого жилища") — бог преисподней, супруг богини Эрешкигаль.
Низу́р — гора, к вершине которой пристал ковчег Ут-напиштима.
Ниназу — женское божество врачеваний.
Нину́б (условное чтение имени) — божество военного дела, первенец бога Эллиля.
Нинсун — божественная мать Гильгамеша, служанка супруги Бела, богини Белит.
Ниппур — город на востоке южной Вавилонии, столица Шумершского союза.
Пузур-Бел — лодочник, управлявший ковчегом Ут-напиштима.
Ри́мат-Беле́т — эпитет богини Нинсун, матери Гильгамеша.
Сидури — нимфа на берегу океана, приютившая Гильгамеша.
Силу́ли — божественная мать коня в мифе о любовниках Иштар.
Син — лунное божество.
Сумука́н (Гира) — бог — покровитель зверей.
Таммуз — божественный любовник Иштар.
Убара-Туту — Отец Ут-напиштима.
Урук — город в южной Вавилонии, средоточие культа Иштар.
Ур-Эа — перевозчик Ут-напиштима.
Ут-напиштим (Ха́сис-а́тра, Ксисутр греческих историков) — Ной вавилонской мифологии, герой мифа о потопе.
Хумба́ба — мифический царь Элама.
Ша́маш — солнечное божество.
Шурмиппа́к — город в Вавилонии, родина Ут-напиштима.
Эа — божество земли и морских бездн, третий член верховной триады богов.
Эа́нна ("Небесный дом") — храм в Уруке, посвященный Иштар.
Эннугу́ ("Беспощадный владыка") — эпитет Нергала.
Эрешкигу́ль ("Владычица великой земли") — богиня преисподней, супруга Нергала.
Эта́на — один из героев вавилонской мифологии, совершивший полет на орле.

Уильям Шекспир

СОНЕТ XVII

Моим поэмам кто б поверить мог,
Коль Ваших качеств дал я в них картину?
Они — гроб Вашей жизни, знает Бог,
Их смогут передать лишь вполовину.

И опиши я Ваших взоров свет
И перечисли всё, что в Вас прелестно,
Грядущий век решил бы: "Лжет поэт,
То лик не человека, а небесный".

Он осмеял бы ветхие листы,
Как старцев, что болтливей, чем умнее.
Он эту правду счел бы за мечты
Иль старой песни вольные затеи.

Но будь у Вас ребенок в веке том,
Вы жили б дважды — и в стихах, и в нем.

Клод Жозеф Руже де Лиль

МАРСЕЛЬЕЗА

Идем, сыны страны родные!
День славы взрезывает мрак.
На нас поднялась тирания,

Взнесен окровавленный стяг.
Вы слышите в тиши безлюдий
Ревущих яростно солдат?
Они идут убить ребят
И жен, припавших к нашей груди!

К оружью, граждане! Вперед, плечо с плечом!
Идем! Идем!
Пусть кровь нечистая бежит ручьем!

Чего хотят злодеи эти,
Предатели и короли?
Кому кнуты, оковы, сети
Они заботливо сплели?
То вам, французы! А какое
Безумье нам наполнит грудь!
То нас хотят они вернуть
В повиновение былое!

К оружью, граждане! Вперед, плечо с плечом!
Идем! Идем!
Пусть кровь нечистая бежит ручьем!

Как! Иностранные когорты
Закон нам продиктуют свой?
Как! Наши львы падут, простерты
Перед наемною ордой?
О боги! Скованные руки
Для нас готовят узы пут!
Из подлых деспотов придут
Владыки множить наши муки!

К оружью, граждане! Вперед, плечо с плечом!
Идем! Идем!
Пусть кровь нечистая бежит ручьем!

Дрожите, низкие тираны,
Для каждой стороны позор,
Предательские ваши планы
Свой угадали приговор.
Чтоб с вами биться — все солдаты!
Пусть не один герой падет —
Земля других произведет,
Всегда готовых для расплаты!

К оружью, граждане! Вперед, плечо с плечом!
Идем! Идем!
Пусть кровь нечистая бежит ручьем!

Француз, как воин благородный,
Бей иль удары береги,
Не трогай жертвы несвободной,
Что гонят против нас враги.
Но этот деспот кровожадный,
С Буйе[1] в союз вступивший род,
Тигр этот злобный, что грызет
Грудь матернюю беспощадно!

К оружью, граждане! Вперед, плечо с плечом!
Идем! Идем!
Пусть кровь нечистая бежит ручьем!

Жозе Мария де Эредиа

НЕМЕЯ[2]

С того мгновения, как ловчий скрылся в лес,
Склоняя голову к раскидистому следу,
Одно рыкание означило победу,
Все смолкло. Солнца шар склонился и исчез.

Из-за кустарника, сквозь буковый навес
Пастух испуганный, бегущий к Итомеду,
Глядит, оборотясь, готов поверить бреду,
На зверя, вставшего с угрозой до небес.

Он вскрикнул. Видел он губителя Немеи.
На окровавленном закате взор страшнее
Клыков оскаленных и гривы золотой.

---

[1] *Буйе* — один из ближайших сторонников Людовика XVI; в октябре 1790 г. потопил в крови выступление швейцарского полка в Нанси.

[2] *Немея* — долина на юге Греции. В основе стихотворения миф о Геракле *(Геркулесе)*, победившем Немейского льва.

Ведь там, где вечера уже ползла завеса,
Сливая шкуру льва с плечами Геркулеса,
Шел человекозверь, чудовищный Герой.

Шарль Бодлер

АВЕЛЬ И КАИН

1

Сын Авеля, дремли, питайся;
К тебе склонен с улыбкой Бог.

Сын Каина, в грязи валяйся,
Свой испустив предсмертный вздох.

Сын Авеля, твое куренье —
Отрада ангельских сердец!

Сын Каина, твое мученье
Изведает ли свой конец?

Сын Авеля, ты о посеве
Не думай: Бог его вознес.

Сын Каина, в голодном чреве
Твоем как будто воет пес.

Сын Авеля, ты грейся перед
Патриархальным очагом.

Сын Каина, морозь свой веред,
Шакал несчастный, под кустом.

Сын Авеля, люби и множься,
Как деньги множатся твои.

Сын Каина, ты не тревожься,
Когда услышишь зов любви.

Сын Авеля, умножен Богом
Твой род, как по лесу клопы!

Сын Каина, ты по дорогам
Влачи с семьей свои стопы.

2

Ага, сын Авеля, в болото
Лечь плоть твоя осуждена!

Сын Каина, твоя работа
Как следует не свершена.

Сын Авеля, пощад не требуй,
Пронзен рогатиной насквозь!

Сын Каина, взбирайся к небу
И Господа оттуда сбрось.

СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКОВ

Ложем будут нам полные духами
Софы, глубоки, как могильный сон,
Этажерок ряд с редкими цветами,
Что для нас взрастил лучший небосклон.

И сердца у нас, их вдыхая пламя,
Станут, как двойной пламенник, возжен
Пред очами душ, теми зеркалами,
Где их свет вдвойне ясно отражен.

Вечер налетит, тихий, лебединый,
И зажжемся мы вспышкою единой,
Как прощанья стон, долог и тяжел,

Чтобы, приоткрыв двери золотые,
Верный серафим оживить вошел
Матовость зеркал и огни былые.

Артюр Рембо

ГЛАСНЫЕ

А – черно, бело – Е, У – зелено, О – сине,
И – красно... Я хочу открыть рождение гласных.
А – траурный корсет под стаей мух ужасных,
Роящихся вокруг как в падали иль в тине,
Мир мрака; Е – покой тумана над пустыней,
Дрожание цветов, взлет ледников опасных.

И – пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных
В их ярости иль в их безумье пред святыней.

У – дивные круги морей зеленоватых,
Луг, пестрый от зверья, покой морщин, измятых
Алхимией на лбах задумчивых людей.

О – звона медного глухое окончанье,
Кометой, ангелом пронзенное молчанье,
Омега[1], луч Ее сиреневых очей.

АБИССИНСКИЕ ПЕСНИ

Собранные и переведенные Н. ГУМИЛЕВЫМ

1

Приветствую Деву Марию,
Чистой, как голубь, Она создана
И милосердной.

Приветствую снова и снова
Мать Бога Младенца,
Сотворившего небо и землю.

[1] *Омега* – последняя буква греческого алфавита.

Благодарю Тебя, Светлая,
Слово Непреложное, Вера
Неразрушимая,
Которой служат Пять тысяч ангелов.

2

Смерти не миновать: был император
Аба-Данья,
Но у леопарда болят глаза,
Он не выходит из логовища.

Лошадь Аба-Даньи не сделалась бы
трусливой!
Трусливая лошадь тени боится,
Начиная со слона и кончая жирафом.

Кому завещал он держать свой щит?
Пока еще он грозит,
Но люди держат его лишь по привычке.

А ты, Ягато Маконен, где ты теперь?
Шелковые шаровары и зонтик из шелка
Даны были только харарскому негусу.

Но и он навсегда заснул в Кулюби.

3

Этой ночью мне снилась кошка,
Которая рожала котят.

Но мне говорят и правдиво, не ложно,
Что все живые умрут.

"Когда придет твой несчастный день,
Как ты его проведешь?" — спросили меня.

До сих пор я не знал ничего плохого,
Но что будет дальше, не знаю.

Днем и ночью думы — мои товарищи.

4

Менелик сказал: "Седлающих мулов и
коней,
Чтобы следовать за мною,
И остающихся в доме моем люблю.
Пусть живут подобно Аврааму[1],
Не хочу, чтобы они умирали".

Авраам был хорошим человеком,
Пятьсот лет проведшим в палатке.
Да живет и наш негус, как Авраам!
Ведь и звери любят своего старшего.
Харраритов, амгарцев, арабов,
Сомали, галла, шангале –
Всех собрала сила нашего отца Менелика.

5

Нападающий воин крепок как столб,
Он накалывает людей на копье, как четки.
Когда он трогает лошадь, трусы бегут.
С ним никто не поспорит, он – как гора.
Всё, что возможно собрать человеку, он
собрал,
Потому что ниже неба и выше земли
Судья всем – Менелик.
Он сказал: "Делай как приказано!"
Пришла битва, и был приказ
Всем стоять у императорского зонтика.
Но не все послушались, одни ушли влево.
Это были Тафаса Абайнех и Габая Гора.
Надавили на нас враги,
Сделали день как ярмарку,
Даже жен и матерей мы забыли.
Братья, скорей приходите!

6

Самое высшее счастье смотреть,
Как люди косят и грузят.
Если лошадь бежит по дороге

[1] *Авраам* – библейский патриарх.

Иль проходит по ней человек,
Поднимается пыль.
И во время сражения первым
Герой наносит удар.
А я заблудился в пустыне и кричу и взываю,
Вкруг меня ничего, кроме жары.
Ведь я не простой человек,
Вождь Дамоти Берты
Был мне отцом.

Эту песню спел я, вождь уламосов,
Убивший слона и льва.

7

В ружье негуса
И в пищали его — огонь.
Ты молчишь, гордая?
Гордой женщине — палка.

"Ямоти, начальник Губбы, корми свою рыжую
лошадь",—
Сказал отец Аррада.
Черная женщина для смуглого —
Как апельсин, варенный в меду.

Бальча продал землю людям Дераса,
Ягована сильней всех, кто жил до него.
Вместе пойдем прямой дорогой в Сидамо,
Если хочешь меня любить.

Река Борода, мы слышали, стала полной,
Фитаурари Гавайю, мы слышали, умер.
Я смеялся зубами, не сердцем,
У меня живого отрезали душу.
Удаджи давал причастие за причастием,
Но Ягована умер.
Прощай, девушка, ты отпустила волосы до
спины,
Твой пробор всё длиннее и длиннее.

8

Как люди, увидя Лидж йассу, трепещут,
Как дрожат, издали завидя Тафари,
Как рас Маконен не любит женщин,
Как Аба-Мулат секрет сохраняет,
Как рас Тасама секрет любит,
Как Стефанос любит резать руки,
Так же сильно и я хочу тебя убить.

9

Хой, хой, Аба-Мулат Хайле Георгие
Принимает по четвергам и пятницам,
Его слуги носят золотые ожерелья.

Европейское письмо доходит по проволоке,
Как во сне, без помощи посланного.
Я больна любовью и знаю моего врага:
Он из Тодога Мальна перескочил в
Дире-Дауа.

"Мы будем пить кофе с моим земляком,
Я сам такой и мой чин большой,
Но чесотка мешает мне спать с тобой".
Но хотя бы ты был таким же быстрым,
Как европейская железная дорога, что
никогда не устает,
Я всегда буду видеть тебя в мечтах.

Хочу быть монахиней, дайте мне клобук!
Тебя я не могу добыть,
А других мужчин не хочу.

10

Убивающего леопардов выше убивший слона,
Человек льва отрезает ему хвост, как колокольчик.

В высокой траве Аргайо лев оставил след и ушел,
Я презираю бездельника и, шутя, пошел за ним.

На высокой вершине Абонера он оставил след и ушел,
Я презираю бездельника и, шутя, пошел за ним.

Он показывает клыки, точно смеется,
Он машет хвостом, точно грозит копьем,
Теперь я вижу: он разъярен.

11

Хуме и Дагоме сообща владеют камнем мира,
Джарсо и Коле сообща владеют камнем мира,
Чорра не хочет мира, Ала не дружит с ними.

Война, война, начальник! Моя мать не могла заснуть,
Моя сестра не снимала пояса.

Я не хочу начальника, кроме Габре,
Я не хочу начальника сильнее Набро,
Для дневной войны я не хочу никого, кроме богатыря Банти

Сыну ангела, не носящему рубашки,
Не следует входить в дом черных хараритов.

Люди, что не смеют зачерпнуть воды в Назеро,
Те, что слепы и безноги, пусть идут собирать дрова.

Боязливый первым уходит в горы,
Подлый влезает на деревья.

Но сильный разбивает головы, как тыквы,
Его мать умеет рожать.

Война дневная, война с говорящими;
Сомалиец Робле был очень силен, и мать Робле, сомалийка,
Плачет на рассвете очень сильно.

Кровь мусульман не пьет земля, не надо ее проливать;
Если я бросаю копье, то попадаю, если я иду на войну, не боюсь.

Шавело́ прекрасное место, где растет
тростник,
Я знаю, как скачет моя лошадь Многахо,
Я знаю много пастбищ на вершинах гор.
Гурезо — река без воды,
Маканне — как вода с молоком,
По ту сторону Джигджила нет воды,
Но в пестрой Илихо много струй,
Я их не пил, целовал.

ПРИМЕЧАНИЯ Н. Гумилева

Напечатанные здесь песни собраны мной в течение трех моих путешествий в Абиссинию и переданы по возможности буквально. Ни одно еще, насколько мне известно, не было переведено на европейские языки. Свежесть чувства, неожиданность поворотов мысли и подлинность положений делают их ценными независимо от экзотичности их происхождения. Их примитивизм крайне поучителен наряду с европейскими попытками в том же роде.

2-й *стих*. Аба-Данья, собственно господин Даньи (названье лошади), — прозвище Менелика, пролежавшего последние годы своей жизни в параличе; Ягато Маконен — губернатор Харара, второй по значению после негуса; шелковые шаровары и зонтик — высшие знаки отличия.

4-й *стих*. В конце перечисление племен, завоеванных абиссинцами.

5-й *стих*. В конце рассказан эпизод из итальянско-абиссинской войны.

7-й *стих*. Галлаская песня. В ней чередуются две темы: политического затруднения, кончающегося войной, и отвергаемой любви. Любопытно сравнить с малайскими пантумами. Возможно даже влияние при посредстве мадагаскарских малгашей, у которых тоже встречаются упрощенные пантумы.

8-й и 9-й *стихи*. Женские. Лидж йассу — наследник престола. Тафари — его близкий родственник. Рас Маконен, Аба Мулат и рас Тасама — виднейшие вельможи. Стефанос — верховный судья; за воровство в Абиссинии отрубают руку. Хочу тебя убить означает высшее напряжение чувственной любви. Во втором: Тодога Мальна и Дире-Дауа — города. Упоминание о чесотке — предлог со стороны мужчины отклонить любовь.

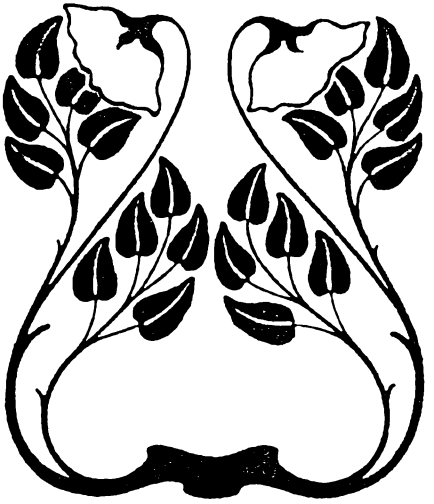
10 и 11 и 12-й *стихи*. Галлаские песни. Первая — охотничья. Аргайо и Абонер — местности. Вторая — военная. Хуме, Дагомеи пр. — галлаские и хараритские племена. Я не хочу начальника... — обычная форма лести. Сыну ангела, т. е. галласу. Назеро — неприятельская река. В третьей: Джигджила — город на границе сомалийской пустыни.

Избранная проза

Рассказы

Новеллы

Статьи



РАДОСТИ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Три новеллы

Посвящается Анне Андреевне Горенко

Одновременно с благородной страстью, которая запылала в сердце Данте Алигьери к дочери знаменитого Фолько Понтимари, называемой ее подругами нежной Беатриче, Флоренция видела другую любовь, радости и печали которой проходили не среди холодных небесных пространств, а здесь, на цветущей итальянской земле.

И для того, кому Господь Бог в бесконечной мудрости своей не позволил быть свидетелем этого прекрасного зрелища, я расскажу то немногое, что мне известно о любви благородного Гвидо Кавальканти к стройной Примавере.

I

Долго страдая от тяжелого, хотя и сладкого, недуга скрытой любви, Кавальканти наконец решил открыться благородной даме своих мыслей, нежной Примавере, рассказав в ее присутствии вымышленную историю, где истина открылась бы под сетью хитроумных выдумок, подобно матовой белизне женской руки, сплошь покрытой драгоценными кольцами венецианских мастеров.

Случай — увы! — слишком часто коварный союзник влюбленных — на этот раз захотел помочь ему и устроил так, что, когда Кавальканти посетил своего друга, близкого родственника прекрасной Примаверы, он нашел их обоих, беседующих в одной из зал их дома, и, не возбуждая никаких подозрений, мог просить разрешения рассказать рыцарскую историю, будто бы недавно прочитанную им и сильно поразившую его воображение. Его друг высказал живейшее нетерпение выслушать ее, а Примавера, опустив глаза, улыбкой дала понять свое желание, обнаружив при этом еще раз ту совершенную учтивость, которая

отличает лиц высокого происхождения и не менее высоких душевных качеств.

Кавальканти начал рассказывать о синьоре, который любил даму, не только не отвечавшую на его чувства, но даже выразившую желание не встречаться с ним совсем, ни на улицах их родного города, ни на собраниях благородных дам, где они показывают свою красоту, ни в церкви во время мессы; как этот рыцарь, с сердцем, где, казалось, все печали свили свои гнезда, скрылся в самый отдаленный из своих замков для странных забав, мучительных наслаждений неразделенной любви. Знаменитый художник из золота и слоновой кости сделал ему дивную статую дамы, любовь к которой стала властительницей его души. Потянулись одинокие дни, то печальные и задумчивые, как совы, живущие в бойницах замка, то ядовитые и черные, как змеи, гнездящиеся в его подвалах. С раннего утра до поздней ночи склонялся несчастный влюбленный перед бездушной статуей, наполняя рыданиями и вздохами гулко звучащие залы. И всегда только нежные и почтительные слова слетали с его уст, и всегда он говорил только о любимой даме. Никто не знает, сколько прошло тяжелых лет, и скоро погасло бы жгучее пламя жестокой жизни и полуослепшие от слез глаза взглянули бы в кроткое лицо вечной ночи, но великая любовь сотворила великое чудо: однажды, когда особенно черной тоской сжималось сердце влюбленного и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя. И, когда он припал к ней губами, лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, и он встал, сильный, смелый и готовый для новой жизни.

А статуя так и осталась с протянутой рукой.

Голос Кавальканти дрожал, когда он рассказывал эту историю, и он часто бросал красноречивые взгляды в сторону Примаверы, которая слушала, скромно опустив глаза, как и подобает девице столь благородного дома. Но — увы! — его хитрость не была понята, и, когда его друг принялся горько сетовать на жестокость прекрасных дам, Примавера заметила, что несмотря на всю занимательность только что рассказанной истории, она всем рыцарским романам и любовным новеллам предпочитает книги благочестивого содержания и в особенности "Цветочки" Фран-

циска Ассизского. Сказав это, она поднялась и вышла с таким благородным достоинством, что к ней можно было приложить слова древних поэтов, воспевающих походку богинь.

Видя столь полную неудачу давно лелеянного плана, Кавальканти ощутил в сердце горькое отчаяние и, не надеясь, что сумеет овладеть собой, попрощался со своим другом, прося его не отягощать себя скукой проводов. Солнце уже село, и по залам плавали сумерки, когда вдруг у самых дверей Кавальканти заметил нежную Примаверу, одну, смущенно наклонившуюся к синеватому мрамору пола. "Я уронила кольцо, — сказала она немного тише обыкновенного, — не хотите ли помочь мне его найти?" И когда он нагнулся, рука, тонкая, нежная, с бледно-голубыми жилками, будто случайно скользнула по его лицу, но на миг задержалась у губ. И быстрота, с которой он поднял голову, не могла сравниться с быстротой Примаверы, скрывшейся за тяжелой из французского дуба дверью. Тогда Кавальканти понял, что он все равно не найдет кольца, как если бы оно упало в пенные воды Адриатического моря, и пошел домой с душой, достигнувшей высшей степени блаженства.

II

Последнее время Кавальканти часто встречался с прекрасной Примаверой то на собраниях, где юноши благородных домов удостаиваются высокой чести быть служителями своих дам, то во время благочестивых процессий, то в доме ее родителей. И ни нежные взгляды, ни тяжелые вздохи или любовные сонеты не могли поколебать того особенно холодного невнимания, с каким Примавера относилась к внушенной ею любви. В то время вся Флоренция говорила о заезжем венецианском синьоре и о его скорее влюбленном, чем почтительном, преклонии перед красотой Примаверы. Этот венецианец одевался в костюмы, напоминающие цветом попугаев, ломаясь, пел песни, пригодные разве только для таверн или грубых солдатских попоек, и хвастливо рассказывал о путешествиях своего соотечественника Марко Поло, в которых сам и не думал участвовать. И как-то Кавальканти видел, что Примавера приняла предложенный ей сонет этого высокомерного глупца, где воспевалась ее красота в выражениях напыщенных и смешных: ее

груди сравнивались со снеговыми вершинами Гималайских гор, взгляды с отравленными стрелами обитателей дикой Тартарии, а любовь, возбуждаемая ею, с чудовищным зверем Симлой, который живет во владениях Великого Могола, ежедневно пожирая тысячи людей; вдобавок размер часто пропадал, и рифмы были расставлены неверно. Но все-таки в минуты унынья сердце Кавальканти томилось безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому как благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов.

Задумчивый, чувствуя себя первым в доме печалей, шел он однажды по площади, размышляя о том, чтобы уехать навсегда в далекие страны или просто ударом стилета оборвать печальную нить своей жизни. Был полдень, жаркий и душный. Тихие улицы старинной Флоренции, казалось, дремали в ожидании вечера, когда по ним грациозной вереницей пройдут прекрасные и нежные дамы, а влюбленные юноши, стоя в отдалении, будут опускать пылающие взоры. Кавальканти шел, весь отданный своим черным думам, и, только случайно подняв глаза, заметил Лоренцо, старого нищего, хитрость которого была хорошо известна среди молодежи. Он стерег влюбленных во время их встреч и условно постукивал костылем, когда приближались нескромные или ревнивцы. Нежные дамы только ему доверяли относить письма, назначая тайные свидания. И сейчас старый Лоренцо с лукавой усмешкой запрятывал что-то в бездонные складки своего шерстяного плаща, а рядом с ним, тщетно стараясь скрыть смущение, стояла стройная Примавера в платье, сверкающем ослепительной белизною.

Столь же острая, сколь и внезапная, мука ревнивого подозрения огненным облаком окутала взоры Кавальканти, и, когда он снова получил возможность владеть своими чувствами, Лоренцо уже скрылся за соседним углом, а Примавера торопливыми шагами направлялась домой. Его присутствие осталось не замеченным обоими. С горьким отчаянием в сердце, чувствуя на лице смертельную бледность, Кавальканти быстро догнал Примаверу и голосом, дрожащим от страха быть прерванным, начал рассказывать, как давно он любит ее, как велики его страдания, и просил, как последней милости, сказать, какому счаст-

ливцу старый Лоренцо понес письмо; он выражал надежду, что ее сердце отдано действительно достойному, и клялся умереть сегодня же, никому не открыв доверенной ему тайны.

Примавера шла, не поднимая головы и смущенно перебирая тонкими пальцами ароматные четки, но по мере того, как Кавальканти говорил, ее губы вздрогнули, щеки покрылись румянцем, и, не дослушав, она принялась отвечать горячо и быстро. Она удивлялась даже мысли, что ею может быть послано письмо. Никогда благородные дамы не решились бы на такой поступок. Так можно думать и говорить разве только о бродячих певицах из Неаполя или о женщинах предместья, с которыми Кавальканти, конечно, очень хорошо знаком. Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи? И, не закончив свою речь, с лицом, розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома.

Полный стыда за свои подозрения и неосновательную ревность, Кавальканти медленно пошел обратно, утешая себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех, и обещая себе в будущем не тревожить ее стыдливости ни вздохами, ни взглядами, чтобы хоть когда-нибудь заслужить прощение своей вины. Из этих размышлений его вывел старый Лоренцо, давно бродивший вокруг его дома, как большая летучая мышь. "От прекрасной Примаверы,— сказал он, осторожно протягивая письмо,— она дала мне за это целый дукат".

III

Немного времени спустя случилось так, что Кавальканти заболел и волею Всемогущего Господа Бога должен был перейти в число граждан вечной жизни. Заплакала стройная и нежная Примавера, роняя частые крупные слезы на положенное в мраморную гробницу тело ее возлюбленного, а благородные синьоры с грустными лицами вспоминали, какие прекрасные вещи сделал отошедший в своем неустанном служении великолепной музе итальянской поэзии; называли его сонеты, баллады и дивную

канцону о природе любви. Задумчивая Флоренция одевалась в траур.

Светлый Ангел ввел Кавальканти в райские двери, на которых зеленоватым лучистым светом были начертаны следующие слова: "Высшая радость, вечное счастье вам, входящие, отныне бессмертные". И сказал Ангел: "Хочешь, я поведу тебя туда, где в свите девушек, окружающих Деву Марию, находится нежная, как шелковистое облачко, кроткая Беатриче, прелести которой дивятся даже ангелы". И Кавальканти ответил: "Как мне благодарить тебя, о светоносный? Ты знаешь, чем усладить страдающее сердце. Веди меня к прекрасной Беатриче и дай мне смелости хоть изредка взглядывать на ее сверкающие одежды. Ведь она была подругой Примаверы".

И сказал Ангел: "Хочешь, я поведу тебя туда, где в серебряных рощах рая проходит яркий, как солнце, невинный, как восточная лилия, Иисус Христос; с нежной лаской целует он всякого вновь приходящего к Нему". И Кавальканти ответил: "Светоносный, твоя благость превосходит все мои ожидания! Я попрошу у Иисуса Христа то золото, которое принесли Ему с востока три мудрых царя, и, сделав узорное кольцо, как жемчужину, возьму я слезу, ночью упавшую из кротких глаз в саду Гефсиманском. И у меня будет что подарить Примавере, когда она придет".

И сказал Ангел: "Хочешь, я поведу тебя туда, где в Силе и Славе, окруженный легионами светлых духов, восседает на троне Бог Отец? Золотой венец над головой, на плечах золотая мантия, а в ногах лестница, сияющая золотом, по которой ангелы сходят на землю, а души праведных поднимаются к райским блаженствам". И Кавальканти ответил: "Если хочешь исполнить самое сокровенное желание мое, о светоносный, пойдем туда и ускорим наши шаги, и по той золотой лестнице, о которой ты говоришь, я спущусь на землю, где живет моя Примавера".

ПРИНЦЕССА ЗАРА

— Ты действительно из племени Зогар, что на озере Чад? — спросила старуха, когда ее спутник вступил в полосу лунного света.

Не отвечая, он откинул ткань, скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под темной бронзовой кожей родившегося в Африке араба. Открылся и священный знак на лбу, даваемый только особенно важным посланцам. Он успокоил подозрительность старческих дум.

— Ну, хорошо, — бормотала старуха, — я знаю, что людям из племени Зогар можно верить. Это не то, что наши занзибарские молодцы. Их бы уж я не повела в покои принцессы Зары. Что для них дочь великого бея? Товар, каким они нагружают свои суда для отправки в Константинополь. Но ты показал мне амулет, который заставил биться мое старческое сердце. Ведь я тоже с озера Чад. Да и червонцы твои звончей и полновеснее наших, сплошь опаленных иерусалимскими ростовщиками.

Ее спутник не отвечал ни слова, был бледен и, казалось, напряженно думал о чем-то. Они осторожно крались вдоль стены по мощенному белыми плитами двору занзибарского дворца.

Где-то совсем около них, невидимый, глухо клокотал океан, и неподвижный воздух тропической ночи был напоен его свежим дыханием. Лунный свет серебряными полосами ложился на влаге черных бассейнов и отсвечивался в каплях, застывших на розовом мраморе ступеней. Звезды наклонялись близко-близко и были лживы и уверенны, как очи девушки, которая согрешила и хочет скрыть свой позор. Зачем в этот мир роскоши и греха пришел обитатель широких равнин и зеленых дебрей, воин стройный, в ожерелье из львиных зубов?

Давно спутаны страницы в книге судеб, и никто не знает, какими удивительными путями придет он к своей гибели.

Вот перед путниками зачернели арка и маленькая дверь, ведущая в девичью половину гарема. Два условных удара бронзовым молотком, сверкающие зрачки молодой негритянки, и они вошли. Было тускло-красноватое пламя светильника, но и оно позволяло разглядеть сказочное богатство персидских ковров, украсивших стены и пол, сиденья сандального дерева с инкрустациями слоновой кости, небрежно брошенные музыкальные инструменты и фразы святого Корана, зеленой эмалью начертанные на золотых щитах.

Неподвижный и легкий стоял аромат мускуса, индийских духов и юного девичьего тела. Принцесса Зара, вся закутанная в шелка, сидела на низкой и широкой тахте. Казалось, не для любви, а для чего-то высшего были созданы ее неподвижные, точно из коралла вырезанные губы, слишком тонкий стан и прекрасные глаза с их загадочно-печальным взглядом. На руках, обнаженных по локоть, позванивали золотые чеканные браслеты, и узкий обруч поддерживал роскошную тяжесть темных кудрей. Статный пришелец понял, что он не ошибся, придя сюда.

Склонившись, срывающимся от волнения голосом он просил принцессу удалить женщин, потому что только наедине он мог открыть ей свою великую тайну, от дымных озер и опасных долин приведшую его в Занзибар. Ничего не ответила Зара, но старуха заторопилась, увлекая за собой невольницу.

— Не бойся ничего, дитя мое,— шептала она принцессе,— он не сделает тебе дурного. Людям из племени Зогар можно верить. — И скрылась, подобострастная, с успокоительными подмигиваниями и смешками, и, как покорная собака, последовала за ней негритянка.

Пришелец и Зара остались одни.

— Кто ты? — спросила Зара тихо, так тихо, что можно было только догадаться о красоте и звучности ее голоса. — Кто ты и зачем ты пришел?

И, содрогнувшись, ответил ей высокий пришелец.

— Я из племени Зогар, с великого и священного озера Чад. Младший сын вождя, я считался сильным среди сильных, отважным среди отважных. В ночных битвах я не раз побеждал рыкающих золотогривых львов, и свирепые пантеры, заслыша мои шаги, прятались, боязливые, в глухих оврагах. Смуглые девы чужих племен не раз звонко рыдали над трупами павших от моей руки. Но однажды не военные барабаны загрохотали над равниной, люди племени Зогар сошлись на холм, и великий жрец, начертав на моем лбу священный знак посланника, указал мне путь к тебе. По течению реки Шари я прошел в область Ниам-Ниам, где низкорослые, безобразные люди пожирают друг друга и молятся богу, живущему в черном камне. Ядовитые туманы Укереве напоили мое тело огнем лихорадки, около Нгези я выдержал бой с громадной змеею, люди Ньязи сорок дней гнались за

мной по пятам, пока наконец слева от меня не засверкали серебряные снега Килиманджаро. И восемь раз полумесяц становился луной прежде, чем я пришел в Занзибар.

Высокий пришелец перевел дыхание, и Зара молчала, только взглядом, простым и усталым, спросила его:

— Зачем?

И он продолжал:

— Верно Пророку племя Зогар, и милостив к нему Пророк. Дивным счастьем одарил он его. В наших лесах живет Светлая Дева, любимейшее создание Аллаха, радость и слава людей. По природе единая и божественная, она не умирает, но иногда оставляет свою прежнюю оболочку, является в другой среди бедных человеческих селений, и тогда великий жрец указывает, где можно ее искать. За ней отправляется славнейший из племени, открывает ей ее высокое назначение и уводит в царство изумрудных степей и багряных закатов. Там живет она в счастливом уединении. Только случайно можно увидеть ее. Но мы молимся ей, невидимой, как залогу высшего достоинства, которые праведные получают в садах Аллаха. Потому что если мужчины сильны и благочестивы, жены прекрасны и верны, то только у непорочных девушек есть крылья широкие и белоснежные, хотя и не замечаемые земным взором. Их голос — как лютня старинных поэтов, их взоры прозрачны, как влага источника, в изгнании утолившего жажду Пророка. Он выше гурий, выше ангелов, они как души в седьмом кругу райских блаженств.

Снова замолчал пришелец, и не отвечала Зара, только взгляд ее стал загадочен и непроницаем, как те звезды, что светили пришельцу в его пути. Но, захваченный своей великой мыслью, ничего не заметил красивый араб; он продолжал:

— Называющая себя принцессой Зарой, ныне великий жрец указал на тебя. Это ты — Светлая Дева лесов, и я зову тебя к твоим владениям. Легконогий верблюд царственной породы с шерстью шелковой и белой, как молоко, ждет нас, нетерпеливый, привязанный к пальме. Как птицы, будем мы мчаться по лесам и равнинам, в быстрых пирогах переплывать вспененные реки, пока перед нами не засинеют священные воды озера Чад. На берегу его есть долина,

запрещенная для людей. Там рощи стройных пальм с широкими листами и спелыми оранжевыми плодами теснятся вокруг серебряных ручьев, где запах ирисов и пьяного алоэ. Там солнце, ласковое и нежное, не дышит зноем, и его сияние сливается с прохладой ветров. Там пчелы темного золота садятся на розы краснее, чем мантии древних царей. Там все — и солнце, и розы, и ветер — говорят и мечтают о тебе. Ты поселишься в красивом мраморном гроте, и резвые, как кони, водопады будут услаждать твои тихие взоры, золотой песок зацелует твои стройные ноги, и ты будешь улыбаться причудливым раковинам. И когда на закате к водопою придет стадо жирафов, ты погладишь шелка их царственно-богатых шкур, и, ласкаясь, они заглянут в твои восхищенные глаза.

Так будешь ты жить, пока не наскучишь волшебствами счастия и не пожелаешь, подобно вечернему солнцу, уйти для новых воплощений. Тогда снова на стук барабанов сойдется могучее племя, и снова великий жрец укажет достойному, где найти тебя, скрывшуюся под новой личиной. Не раз это было и не раз повторится среди тысячелетий. Но теперь мы должны спешить. Уж опаловая луна в своем неуклонном падении коснулась леса магнолий, скоро юное солнце встанет над розовым океаном. Торопись, пока не проснулись слуги великого бея. Звонкие червонцы крепко скуют уста старухи, а если нет, племя Зогар испытано в искусстве владеть кинжалом.

Кончил пришелец и с надеждой протянул руки к Заре. Тихо и сонно было в гареме, только за стеной рокотал океан, и печально кричала какая-то неизвестная, но тревожная птица. Медленная, гибкая, как лилия, встала принцесса Зара и устремила на араба свой загадочный взор. Тихие и странные, зашелестели ее слова:

— Ты хорошо говорил, пришелец, но я не знаю того, о чем ты говорил. Если же я нравлюсь тебе и ты хочешь меня ласкать, я охотно подчинюсь твоим желаниям. Ты красивее того европейца, что недавно тоже ценой золота проник сюда, в гарем. Но он не говорил мне ничего, он только улыбался и обнимал меня, как хотел. Купленной рабыней стояла я перед ним, но мне была сладка горечь его ласк, и я плакала, когда он уехал. Теперь передо мною ты; если хочешь, я буду твоей.

И, полуоткрыв на груди шелковую ткань и полузакрыв глаза, она ждала.

Безумным от муки взором смотрел на нее высокий пришелец. Так вот она, Светлая Дева Лесов, которой он молился всю свою жизнь, которой молились его отцы и деды! Вот она, униженная и не сознающая своего позора, с грешной улыбкой на нежных устах! Красные молнии мысли сплетались в его мозгу, кто-то чудовищный и торжествующий уродливой ногой наступил ему прямо на сердце. Широкие равнины, дни веселых охот, радости славы, что все это перед нечеловеческой болью, обуявшей его душу?! Случайно нащупанный острый кинжал. Верный и твердый удар в грудь. И, пошатнувшись, упал сильный воин лицом вниз, вздрагивая и обагряя горячей кровью дорогие персидские ковры.

Неподвижно, еще не в силах сообразить происшедшее, стояла гибкая Зара, прислонясь к узорчатой стене. Гордая своею красотой, она хотела только испытать, останется ли ее прелесть необоримой и в унижении, она не поняла, к чему ее звали. И в ее душе уже шевелилось сожаление, зачем, подчиняясь опасному девичьему капризу, она солгала и обманула пришельца, звавшего ее к возможному и ослепительному счастью.

А на самом рассвете свирепая гиена растерзала привязанного к пальме белоснежного верблюда.

ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ

Золотым блистательным полднем въехало семеро рыцарей-крестоносцев в узкую глухую долину восточного Ливана. Солнце метало свои лучи, разноцветные и страшные, как стрелы неверных, кони были утомлены долгим путем, и могучие всадники едва держались в седлах, изнемогая от зноя и жажды. Знаменитый граф Кентерберийский Оливер, самый старый во всем отряде, подал знак отдохнуть. И как нежные девушки, ошеломленные неистово-пряным и томящим индийским ветром, бессильные попадали рыцари на голые камни. Долго молчали они, ясно чувствуя, что уже не подняться им больше и не сесть

на коней и что скоро жажда, подобно огневому дракону, свирепыми лапами став им на грудь, перервет их пересохшие горла.

Наконец сэр Гуго Эльвистам, темплиер с душою сирийского льва, приподнявшись на локте, воскликнул: "Благородные сэры и дорогие братья во Христе, вот уже восемь дней, как мы блуждаем одни, отбившись от отряда, и два дня тому назад мы отдали последнюю воду нищему прокаженному у высохшего колодца Мертвой Гиены. Но если мы должны умереть, то умрем, как рыцари, стоя — и споем в последний раз приветственный гимн нашему небесному Синьору, Господу Иисусу Христу". И он медленно поднялся, с невидящим взором, цепляясь за колючий кустарник, и один за другим начали подниматься его товарищи, шатаясь и с трудом выговаривая слова, как бы упившиеся кипрским вином в строгих и сумрачных залах на торжественном приеме византийского императора.

И странно, и страшно было бы на душе одинокого пилигрима или купца из далекой Армении, если бы случайно, проходящие, увидели они семерых безвестно умирающих рыцарей и услышали бы их тихое созвучное пение.

Но внезапно слова их молитвы прервал приближающийся топот коня, звучный и легкий, как звон серебряного меча в ножнах архистратига Михаила. Нахмурились гордые брови молящихся, и их души, уже сдружившиеся с мягким сумраком смерти, омрачились ненужной помехой, а на повороте ущелья появился неизвестный рыцарь, тонкий и стройный, красиво-могучий в плечах, с опущенным забралом и в латах чистого золота, ярких, как блеск звезды Альдебаран. И конь золотистой масти дыбился и прыгал и еле касался копытами гулких утесов.

Голубой герольд на коне белоснежном, с лицом кротким и мудрым, тайно похожим на образ апостола Иоанна, спешил за своим господином. Чудные всадники быстро приближались к умирающим рыцарям, певшим гимн.

Одетый в золото осадил коня и наклонил копье, как перед началом сражения, а герольд, поднимая щит со странным гербом, где мешались лилии и звез-

ды, столпы Соломонова храма и колючие терны, воскликнул слова, издавна принятые для турниров:

"Кто из благородных рыцарей, присутствующих здесь, хочет сразиться с моим господином, пеший или конный, на копьях или на мечах?" — И отъехал в сторону, ожидая.

Неожиданный подул откуда-то ветер, принося освежительную прохладу, внезапно окрепли мускулы дотоле бессильных рыцарей, и огненный дракон жажды перестал терзать их горло и грудь, сделался совсем маленьким и с беспокойным свистом уполз в темную расщелину скал, где таились его братья скорпионы и мохнатые тарантулы.

Граф Кентерберийский Оливер первый ответил голубому герольду от имени всех. В речи, изысканно-вежливой, но полной достоинства, он сказал, что они нисколько не сомневаются в благородном происхождении неизвестного рыцаря, но тем не менее желали бы видеть его поднявшим забрало, ибо этого требует старинный рыцарский обычай. Едва он успел окончить свои слова, как тяжелое сияющее забрало поднялось, открывая лицо совершеннейшей красоты, которая когда-нибудь цвела на земле и на небе, глаза, полные светлой любовью, щеки нежные, немного бледные, алые губы, о которых столько мечтала святая Магдалина, и золотую бородку, расчесанную и надушенную самой Девой Марией.

Не посмели догадаться благочестивые рыцари, кто пришел облегчить их страдания и разделить забавы, хотя волна мистического восторга и захватила их души, как ураган в открытом море схватывает оробелых пловцов, чтобы, повертев их среди изумрудных брызг и клокочущей пены, бросить на отлогий берег островов неведомого счастья. И, полные чувством благоговения и таинственной любви к своему противнику, они просили его принять дань их уважения перед началом турнира.

Первым выступил герцог Нортумберландский, но не помогли ему ни руки, бросавшие на землю сильнейших, ни очи, побеждавшие прекраснейших дам при дворе веселого короля Ричарда. Он был выбит из седла и покорно отошел в сторону, удивляясь, что его сердце, несмотря на поражение, поет и смеется. Его товарищей одного за другим постигла та же участь.

И когда золотой незнакомец с заразительно-веселым, нежным смехом повалил на землю последнего, вышедшего против него, барона Норвичского, огромного и могучего, как медведь Пиренеев, все рыцари согласно решили, что копье их противника не знает равного во всем английском войске, а следовательно и во всем мире.

За турниром должен следовать пир. Так было принято в старой веселой Англии. И захваченные чарами рыцари не удивились, когда на месте их копий, воткнутых в трещины скал, поднялись цветущие пальмы с обольстительно-спелыми плодами и прозрачный ручеек выбежал из голой скалы, звеня, как бронзовые запястья любимейшей дочери арабского шейха.

Весело пировали утомленные рыцари, говорили о битвах и любви и пели стройные песни, сложенные о них менестрелями.

Было сладко им, заглянувшим в лицо смерти, смотреть на солнце и зелень, каждый глоток плескался радостью в широко открытое сердце, и каждый проглоченный кусок приобщал их к новой жизни.

Золотой победитель сидел с другими и ел, и пил, и смеялся.

А вечером, когда зашептались далекие кедры и тени все чаще и чаще стали задевать своими мягкими крыльями лица сидящих, он сел на коня и углубился в ущелье. Остальные, точно завороженные, последовали за ним. Там возвышалась широкая и отлогая лестница из белого мрамора с голубыми жилками, ведущая прямо на небо. Тяжко зазвучали на мраморе копыта земных коней, и легкий ласкался к ним конь золотистый. Неизвестный рыцарь показывал дорогу, и скоро уже ясно стали различаться купы немыслимо дивных деревьев, утопающих в синем сиянии. Среди них свирельными голосами пели ангелы. Навстречу едущим вышла нежная и благостная Дева Мария, больше похожая на старшую сестру, чем на мать золотого рыцаря, Властительного Синьора душ, Иисуса Христа.

* * *

Через несколько дней английское войско, скитаясь в горах, набрело на трупы своих заблудившихся товарищей. Отуманилось сердце веселого короля Ричарда, и, призвав арабского медика, он долго рас-

спрашивал его о причине смерти столь знаменитых воинов.

— Их убило солнце,— ответил ученый,— но не грусти, король, перед смертью они должны были видеть чудные сны, каких не дано увидеть нам, живым.

СКРИПКА СТРАДИВАРИУСА

Мэтр Паоло Белличини писал свое соло для скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога нервно отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы от проказы, рассеянно гнули гибкое дерево смычка. Многочисленные ученики мэтра боялись этих странных рук с пальцами, похожими на белых индийских змей.

Старый мэтр был знаменит, и, точно, никто не превзошел его в дивном искусстве музыки. Владетельные герцоги, как чести, добивались знакомства с ним, поэты посвящали ему свои поэмы, и женщины забывали его возраст, забрасывали его улыбками и цветами. Но все же за его спиной слышались перешептывания, и они умели отравить сладкое и пьяное вино славы. Говорили, что его талант не от Бога и что в безрассудной дерзости он кощунственно порывает со священными заветами прежних мастеров. И как ни возмущались любящие мэтра, сколько ни твердили о зависти оскорбленных самолюбий, эти толки имели свое основание. Потому что старый мэтр никогда не бывал на мессе, потому что его игра была только бешеным взлетом к невозможному, быть может запретному, и, беспомощно-неловкий, при своем высоком росте и худощавости он напоминал печальную болотную птицу южных стран.

И кабинет мэтра был похож скорее на обитель чернокнижника, чем простого музыканта. Наверху для лучшего распространения звуков были устроены каменные своды с хитро задуманными выгибами и арками. Громадные виолончели, лютни и железные пюпитры удивительной формы, как бредовые видения, как гротески Лоррэна, Калло, теснились в темных углах.

А стены были исписаны сложными алгебраическими уравнениями, исчерчены ромбами, треугольниками и кругами. Старый мэтр, как матема-

тик, расчислял свои творения и называл музыку алгеброй души.

Единственным украшением этой комнаты был футляр, обитый малиновым бархатом, — хранилище его скрипки. Она была любимейшим созданием знаменитого Страдивариуса, над которым он работал целые десять лет своей жизни. Еще о неоконченной, слава о ней гремела по всему культурному миру. За обладание ею спорили властелины, и король французский предлагал за нее столько золота, сколько может увезти сильный осел. А папа — пурпур кардинальской шляпы. Но не прельстился великий мастер ни заманчивыми предложениями, ни скрытыми угрозами и даром отдал ее Паоло Белличини, тогда еще молодому и неизвестному. Только потребовал от него торжественной клятвы никогда, ни при каких условиях не расставаться с этой скрипкой. И Паоло поклялся. Только ей он был обязан лучшими часами своей жизни, она заменила ему мир, от которого он отрекся для искусства, была то стыдливой невестой, то дразняще-покорной любовницей. Трогательно замирала в его странных белых руках, плакала от прикосновения гибкого смычка. Даже самые влюбленные юноши сознавались, что ее голос мелодичнее голоса их подруг.

Было поздно. Ночь, словно сумрачное ораторио старинных мастеров, росла в саду, где звезды раскидались, как красные, синие и белые лепестки гиацинтов, — росла и, поколебавшись перед высоким венецианским окном, медленно входила и застывала там, под сводами. Вместе с ней росло в душе мэтра мучительное нетерпение и, как тонкая ледяная струйка воды, заливало спокойный огонь творчества. Начало его соло было прекрасно. Могучий подъем сразу схватывал легкую стаю звуков, и, перегоняя, перебивая друг друга, они стремительно мчались на какую-то неведомую вершину, чтобы распуститься там мировым цветком — величавой музыкальной фразой. Но этот последний решительный взлет никак не давался старому мэтру, хотя его чувства были напряжены и пронзительны чрезвычайно, хотя непогрешимый математический расчет неуклонно вел его к прекрасному заключению. Внезапно его мозг словно бичом хлестнула страшная мысль. Что, если уже в начале его гений дошел до своего предела, и у него не

хватит силы подняться выше? Ведь тогда неслыханное дотоле соло не будет окончено! Ждать, совершенствоваться? Но он слишком стар для этого, а молитва помогает только при создании вещей простых и благочестивых. Вот эти муки творчества, удел всякого истинного мужчины, перед которым жалки и ничтожны женские муки деторождения. И с безумной надеждой отчаяния старый мэтр схватился за скрипку, чтобы она закрепила ускользающее, овладела для него недоступным. Напрасно! Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась и пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового предела, останавливалась, как кровный арабский конь, сдержанный легким движением удил. И казалось, что она ласкается к своему другу, моля простить ее за непослушание. Тяжелые томы гордых древних поэтов чернели по стенам, сочувствовали скрипке и как будто напоминали о священной преемственности во имя искусства. Но неистовый мэтр не понял ничего и грубо бросил в футляр не помогшую ему скрипку.

Лежа в постели, он еще долго ворочался, не будучи в силах заснуть. Словно грозящий багряный орел, носилась над ним мысль о неоконченном соло. Наконец милосердный сон закрыл его очи, смягчил острую боль в висках и с ласковой неудержимостью повлек по бесконечному коридору, который все расширялся и светлел, уходя куда-то далеко. Что-то милое и забытое сладко вздыхало вокруг, и в ушах звучал неотвязный мотив тарантеллы. Утешенный, неслышный, как летучая мышь, скользил по нему Паоло и вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним, быть может уже давно, шел невысокий гибкий незнакомец с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изображали немецких миннезингеров. Его обнаженные руки и ноги были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового, а сказочно-дивная алого шелка туника свела бы с ума самую капризную и самую любимую наложницу константинопольского султана.

Доверчиво улыбнулся Паоло своему спутнику, и тот начал говорить голосом бархатным и приветливым:

"Не бойся ничего, почтенный мэтр, я умею уважать достойных служителей искусства. Мне льстят, когда меня называют темным владыкой и отцом греха: я

только отец красоты и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покончил старые счеты с нездешним и захотел заняться строительством мира, я был его наставником в деле искусства. Это я научил его ритмом стиха преображать нищее слово, острым алмазом на слоновой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музыкальные инструменты и владеть ими. Дивные арии разыгрывали мы с ним в прохладные вечера под развесистыми кедрами гор Ливана. Приносился ветер от благовонных полей эздрелонских, крупные южные звезды смотрели, не мигая, и тени слетали как пыль с крыльев гигантской черной бабочки — ночного неба. Внизу к потоку приходили газели. Долго вслушивались, подняв свои грациозные головки, потом пили лунно-вспененную влагу. Мы любовались на них, играя. После мир уже не слышал такой музыки. Хорошо играл Орфей, но он удовлетворялся ничтожными результатами. Когда от его песен заплакали камни и присмирели ленивые тигры, он перестал совершенствоваться, думая, что достиг вершины искусства, хотя едва лишь подошел к его подножию. Им могли восхищаться только греки, слишком красивые, чтобы не быть глупыми. Дальше наступили дни еще печальнее и бледнее, когда люди забыли дивное искусство звуков. Я занимался логикой, принимал участие в философских диспутах и, беседуя с Горгием, иногда даже искренно увлекался. Вместе с безумными монахами придумывал я статуи чудовищ для башен Парижского собора Богоматери и нарисовал самую соблазнительную Леду, которую потом сожгли дикие последователи Савонаролы. Я побывал даже в Австралии.

Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг — великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный. Право, он стоит ваших пищалей и мортир.

Но все же это были пустяки, и я серьезно тосковал по звукам. И когда Страдивариус сделал свою первую скрипку, я был в восторге и тотчас предложил ему свою помощь. Но упрямый старик и слушать не хотел ни о каких договорах и по целым часам молился Распятому, о котором я не люблю говорить. Я пред-

видел страшные возможности. Люди могли достичь высшей гармонии, доступной только моей любимой скрипке-Прообразу, но не во имя мое, а во имя Его. Особенно меня устрашало создание скрипки, которая теперь у тебя.

Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия. Но, к счастью, она попала к тебе, а ты не захочешь ждать тысячелетия, ты не простишь ей ее несовершенства. Сегодня ты совершенно случайно напал на ту мелодию, которую я сочинил в ночь, когда гунны лишили невинности полторы тысячи девственниц, спрятанных в стенах франконского монастыря. Это — удачная вещь. Если хочешь, я сыграю тебе ее, оконченную".

Внезапно в руках незнакомца появилась скрипка, покрытая темно-красным лаком и с виду похожая на все другие. Но опытный взгляд Паоло по легким выгибам и особенной постановке грифа сразу определил ее достоинство, и старый мэтр замер от восторга.

"Хорошенькая вещица! — сказал, засмеявшись, его спутник.— Но упряма и капризна, как византийская принцесса с опаловыми глазами и дорогими перстнями на руках. Она вечно что-нибудь затевает и рождает мелодии, о которых я не подозревал. Даже мне нелегко справиться с нею".— И он заиграл.

Словно зарыдала Афродита на белых утесах у пенного моря и звала Адониса. Сразу Паоло сделалось ясно все, о чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно ему в земной жизни. Все изменилось. Тучные нивы шелестели под ветром полудня, но колосья были голубовато-золотые, и вместо зерен алели рубины. Роскошное солнце сверкало на небе, как спелый плод на дереве жизни, и странные птицы кричали призывно, и бабочки были порхающими цветами. А скрипка-Прообраз звенела и пела, охватывая небо, и землю, и воздух томительной негой счастья, которого не может вынести, не разбившись, сердце человека.

И сердце Паоло разбилось. Были унылы его глаза и сумрачны думы, когда встал он от рокового сна. Что из того, что он помнит услышанную мелодию? Разве есть на земле скрипка, которая повторит ее, не искажая? Коварный демон достиг своей цели и своей иг-

рой, своими хитро сплетенными речами отравил слабое и жадное сердце человека.

Бедная, любимая скрипка Страдивариуса! В недобрый час отдал тебя великий мастер в руки Паоло Белличини. Ты, которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли, говорила с людьми на их языке, ты погибаешь ненужной жертвой неизбежному!

И опять на много веков отдалится священный миг победы человека над материей.

Мэтр Паоло Белличини крался, как тигр, приближаясь к заветному футляру. Осторожно вынул он свою верную подругу и горестно поникнул, впервые заметив ее несовершенства. Но при мысли, что он может отдать ее другому, старый мэтр вздрогнул в остром порыве ревности. Нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной. И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки.

Вбежавшие на шум ученики отвезли мэтра в убежище для потерявших рассудок. Было такое здание, угрюмое и мрачное, на самом краю города. Визги и ревы слышались оттуда по ночам, и сторожа носили под платьем кольчугу, опасаясь неожиданного нападения. Там, в низком и темном подвале, поместили безумного Паоло. Ему казалось, что на его руках кровь. И он тер их о шероховатые каменные стены, выливал на них всю воду, которую получал для питья. Через пять дней сторож нашел его умершим от жажды и ночью закопал во рву, как скончавшегося без церковного покаяния.

Так умерла лучшая скрипка Страдивариуса, так позорно погиб ее убийца.

ЧЕРНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Наталье Сергеевне Гончаровой[1]

Правду сказать, отец его был купцом. Но никто не осмелился вспомнить об этом, когда, по возвращении из Кембриджа, он был принят самим вице-королем.

На артистических вечерах он появлялся в таких ярких одеждах, так мелодично декламировал отрывки из Махабхараты, так искренне ненавидел все европейское, что его успех в Англии был обеспечен, и не одно рекомендательное письмо от престарелых лэди увез он, отправляясь во втором классе в Бомбей.

В родном княжестве, потрясенный его великолепными кожаными чемоданами, раджа предложил ему на выбор или место сборщика податей с проходивших караванов, или чин генерала. Все думали, что он выберет первое, потому что караванов было много, солдат мало. Он выбрал последнее. Никто не знал, что старый американец, которому он объяснял радж-йогу, умер, оставив ему в завещании столько же, сколько своему лакею, то есть довольно много.

В день своего назначения генерал явился во дворец. Хитрец, он предвидел все, и в его великолепных чемоданах оказалась совсем готовая великолепная генеральская одежда. Весь город собрался смотреть на него. Старуха мать рыдала от гордости, когда он промчался мимо нее на специально привезенной мотоциклетке. А лучший художник города отдал целую рупию слугам раджи за право смотреть в замочную скважину. Он смотрел долго, терпеливо и умело, как губка воду впитывая впечатление от роскошного костюма генерала и от его непомерно чванного лица. А потом пошел раскачивающейся верблюжьей походкой, что означало у него творческую задумчивость.

Самые нежные, самые яркие краски горели в точеных, как лепестки лотоса, деревянных чашечках, самые тонкие кисточки летали по ним с такой же быстротой и легкостью, как пальцы девушки летают

[1] Наталья Сергеевна Гончарова (1881 – 1962) – русская художница, жившая во Франции.

по клавишам фортепиано. Возникала лакированная красная стена, возникало томительно-синее небо, и на фоне всего этого возникал непомерно чванный генерал. Как были белы его штаны, как богато золотое шитье мундира, как величественны перья на треугольной шляпе! Воистину такого генерала можно было видеть, как цветение лотоса, только раз в столетие.

Умиленная толпа собиралась за спиной художника. Слышался гул восторга, раздавались дерзновенные предположения. Верно, генерал сделает его начальником над своими слугами; позволит всю жизнь кормиться на кухне; даст мешок со ста рупиями. А захожий поэт, высокий и костлявый старик из Тибета, позавидовал чужой славе и сложил песню по строгим правилам тибетского стихосложения:

Раджа,
Генерал раджи,
Мундир генерала раджи,
Девушка, которая расстегнет мундир генерала раджи,
Любовь, которая овладеет девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи,
Сын, который родится от любви, овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи,
Трон, который завоюет сын, родившийся от любви, овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи,
Слава, которая окружит трон, завоеванный сыном, родившимся от любви, овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи,
Индия, которая будет спасена славой, окружившей трон, завоеванный сыном, родившимся от любви, овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи.

Песня тотчас была переписана тремя писцами на большом листе пергамента. Плату они должны были получить от генерала.

Вот опять по тихим улицам города, пугая обезьян и павлинов, зашумела, завоняла и промчалась мотоциклетка — генерал возвратился домой. "Ванну!" — дрессированный, служивший прежде у европейцев слуга из Бомбея с поклоном указал на большой резиновый таз с тепловатой водой, потому что генерал не был спортсменом и боялся холодной. Вот плавно опустился на спинку кресла мундир, расстегнутый

на этот раз не девушкой, а самим генералом. Вот примеру мундира последовали белые штаны с золотым лампасом. Только одна треуголка медлила покинуть свое место, когда артисты вошли. Художник впереди, поэт позади, в руках у каждого его произведение. За ними толпа почитателей и любопытных, среди нее заинтересованные в деле писцы. Генерал ахнул, гаркнул и задрожал. Точь-в-точь так же ахнул, гаркнул и задрожал, по его воспоминаниям, русский генерал, которому в ресторане подали незамороженное шампанское. "Эти черные... какая наглость!"

Художник уронил картину. Генерал стал топтать ее ногами. Тибетское стихотворение было разорвано в клочки. Толпа замерла. Генерал бесновался. Он прыгал по комнате, как освирепелая обезьяна, голый, в одной треуголке, он визжал как шакал, которому переломили лапу. О, это был действительно страшный генерал.

Слуга из Бомбея напер плечом на вошедших. Точь-в-точь так же, по воспоминаниям, европейские слуги напирали на гостей, неугодных их господам. Через минуту все было кончено. Слуга вытирал пол, оттого что ванна опрокинулась, а генерал успокаивался, разбирая свои чемоданы. Вот с торжественной медлительностью он навесил на стену свою увеличенную фотографию в генеральском мундире. Хитрец, он предвидел свое назначение и снялся еще в Лондоне. Вот с счастливой улыбкой он приколол под портретом вырезку из газеты, где его имя упоминалось в числе приглашенных на какой-то светский вечер. А слуга прятал индийский портрет, чтобы продать его за грош старьевщику из Калькутты.

В дальнем квартале писцы, не получившие платы, били тибетского поэта, а слуги раджи били художника, требовавшего назад свою рупию.

* * *

У восточной сказки должен быть нравоучительный конец. Попытаюсь посрамить злого генерала. Вот он приехал в Париж. Посетил двух кафешантанных певиц, трех депутатов-социалистов и решил ознакомиться с артистической жизнью Франции. Выслушал несколько колкостей от Анатоля Франса, купил ри-

сунок Матисса; был побит в одном кафе Аполлинером; и добился разрешения посмотреть работы Гончаровой. Там он увидел свой индийский портрет, попавший через Калькутту, Лондон и черного гусара в руки этой художницы.

О, если бы он сконфузился, если бы испытал позднее раскаяние! Тогда бы моя сказка была подлинно восточной. Но нет, негодяй воскликнул: "Мадам, неужели вы интересуетесь такой дрянью? Тогда я пришлю вам из Индии их хоть тысячу".

И соврал, не пришлет. Потому что из-за таких, как он, не стало больше в Индии художников.

ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТА

I

Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы — поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы — это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. "Вы — наши отцы, — говорит кавалерист пехотинцу, — за вами, как за каменной стеной".

.....

Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но, где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке пулемет лепетал непонятное.

Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.

Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул "ура", с которым был взя[т] В. Огнезарная птица победы в этот день коснулась своим огромным крылом и меня.

На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла: он отступал нерасстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый повернуть — совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов.

По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.

.....

Мы были в Германии.

Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения — каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше,

чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?

Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.

.....

Передо мной на высоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.

Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый с небритым подбородком и корявыми руками. Наверное, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из монте-кристо. Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то — я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздававшу-

юся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвивавшееся в пяти шагах от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и, как последнее впечатление, я запомнил крупную фигуру в черной шинели с каской на голове, на четвереньках с медвежьей ухваткой вылезавшую из соломы.

Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника — это единственное оправдание всей жизни кавалериста.

.....

На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась штукатурка, да кое-где загорелись дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.

II

1

Самое тяжелое для кавалериста на войне — это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уйдет из-под самого носа одураченного врага.

.....

Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, глубокое холодное небо, на редко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченевшие пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и, молча, целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними.

О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром вприкусу, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу,— никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас!.. И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа: "Вшистко германи забрали" — хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И

горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!

.....

2

Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была — заставить заговорить артиллерию, и та, действительно, заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья — в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: "Правее, правее!"

.....

Мы повернули и галопом стали уходить.

.....

Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение.

На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения.

Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами.

.....

Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высо-

вываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.

.....

3

Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать — всегда радость, но наступать по неприятельской земле — это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевато усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.

.....

Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок.

Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.

.....

Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома.

Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: "Серьезный барин, наверно, генерал... ну и вредный, надо быть, когда ругается..."

.....

Вот за лесом послышалась ружейная пальба — партия отсталых немецких разведчиков. Туда по-

мчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали продвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую, частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими.

Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.

.....

Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедляя аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того чтобы опять вскочить на лошадь.

4

Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, об-

разцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное.

Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежащую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколол дров, растопил печь и, как был в шинели, бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже заполночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел в кухню, мечтая погреться у пылающих углей.

.....

И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею.

На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать, и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы.

В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски, она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать громкое: "Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?"

Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо крыш, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска: "Ресторан". Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.

.....

Вечером мы узнали, что наступление будет продолжено, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат. . . . . но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение.

III

Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.

Леса сосновые, са́женые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые как стрелы аллеи, полные зеленым сумраком с сияющими просветами вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.

Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.

В таких мечтах, что бы ни делал — любил или воевал, все представляется значительным и чудесным.

Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударилась пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?

.....

На другой день среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими панненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: "Ой, Матка Бозка". И выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.

Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спеши-

ваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.

Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное "ура", а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое "а...а...а..." властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод — те же медленность и неуклонность.

Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: "Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли", и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет, как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.

.....

Поздно ночью мы отошли на бивак. . . . . в большое имение.

.....

В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь

отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет оснований мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидимой дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.

Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами, как на ладони, виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.

Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой, словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.

Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее

кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.

.....

На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко-чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.

Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я, не отрываясь, смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, побоялись, что подстрелят их же товарищи.

Все это в минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, сознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по минованию опасности.

Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую

я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: "Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили". Я вполне с ним согласился.

Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.

IV

Немецкое наступление оыло приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылается ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я.

Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: "Ой, паныч, не езжайте туда, там вас забьют германи".

В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли,— дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направлялись к нему.

Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени, валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и

раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути.

До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса.

Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего "вольного", когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: "Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно". Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка.

Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.

2

На другой день уже смеркалось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер.

Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдятся напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.

Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.

Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвратиться.

Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди него, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играл летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запо-

минаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно.

Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком — нет, это — бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля ноет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов — тра, тра, тра — и пули свистят, ноют, визжат.

Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но — увы! — ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и, назло судьбе, все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность

немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.

3

Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой (?) гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий, тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие, диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи.

Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабаллы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они по-

смотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках — курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.

В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всяком полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроилась стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.

V

1

Было решено выравнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали; он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас.

Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в "Войне и мире" посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в

большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу — это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: "Так... отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо..." И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно.

Мы, уланы, беседовали со степенными, бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей.

К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок.

По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где "кози", то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и наконец объявили, что "кози" именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись оживленно о чем-то спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер

потянул за рукав австрийского и одобрительно сказал: "Ничего, пойдем, я знаю, куда идти". Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций.

В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони — гусарский разъезд. "Вот и кози!" — воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. "Ну-ка, дядя, покажи себя", — попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.

2

На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ними отошли версты за четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом — вольноопределяющийся, куда? — и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. "Не проедете, — сказали они, — вон уже где палят". Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки.

На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил: "Ну что, не проехали?" — "Никак нет, там уже неприятель". — "Вы его сами видели?" — "Так точно, сам". Он повернулся к своим ординарцам: "Пальба из всех орудий по местечку". Я поехал дальше.

Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем — с до-

несением всегда посылают двоих — и расспрашивая местных жителей, я окружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников — нас преследовали; они поняли, что нас только двое.

В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака — двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней. "Что там у вас?" — спросил я бородача. "Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?" — "Восемь конных". Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. "Ну, поедем, что ли!" — вдруг словно нехотя сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него.

Но всему бывает конец! Немцы свернули круто

влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. "Батурину пригодится,— говорили они,— у него вчера убили доброго коня". Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки.

Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.

3

К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки... и отшатнулись, услыша громкий голос толстого, старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. "Что это такое,— кричал он,— мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!"

Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров. "Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки". Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесение и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: "Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!" Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал: "Вы вольноопределяющийся?" — "Доброволец".— "Чем прежде зани-

мались?" — "Был писателем". — "Настоящим?" — "Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги." — "Теперь пишете какие-нибудь записки?" — "Пишу". Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным. "Так уж пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились". Я искренно обещал ему это. "Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!" И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию.

Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.

VI

1

Фронт был выравнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу; и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи,

и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать.

Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтерофицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии: холмы, из-за которых можно было неожиданно показаться, и овраги, по которым легко было уходить.

Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел — это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка — никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеженарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу, и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.

2

Дивное зрелище — наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это

были отдельные люди, скорее, это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотермумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок; как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы.

Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах.

Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы, все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю халупу, где собирались раненые. Их было человек десять. Они были заняты работой. Раненные в руку притаскивали жерди, доски и веревки, раненные в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец, с горлом, проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и беспрерывно курил цигарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками — говорить он не мог — показал, что хочет помогать их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две цигарки. Мы возвращались обратно немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдывалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прикончился.

3

Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем боя. . . . . Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого, отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться за халупами, которые уже начинали загораться.

Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, кинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного геройства. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер, пулеметчик, схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на двадцать и крикнул: "Везите пулеметы обратно, или убью вас и себя!" Несколько немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкри-

кивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: "Вижу, пулеметы тащат. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же пулеметы... — и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев: — Ну, ну, иди, не задерживайся!"

VII

1

Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь, — тайна следования сохраняется строго, — мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о панненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных теплушек. Высадившись, удивляешься пейзажами, знакомишься с характером жителей, — главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко, — жадно запоминаешь слова еще неслышанного языка. Это целый спорт — скорее других научиться болтать по-польски, малороссийски или литовски.

Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями.

Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, а местами даже сами отступали. Теперь фронт был выравнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником.

Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело по-

скакáл по размытой, весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, — кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне (только что произведенному в унтер-офицеры) с четырьмя солдатами было поручено рассмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд — жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой — никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника. Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велев поддержать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев.

Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных лошадей; потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе: он, очевидно, собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать по крайней мере. Пули засвистели над головой, защелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли.

Когда мы поднялись на холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее.

2

В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер, и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжении ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: "Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте, посмотрите, так ли это, и, если понадобится, выставьте промежуточный пост". Я отставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила, так было темно и холодно. Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывавшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед нами в темноте послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. "Кто идет?" — крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас. Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываешься о дороге, скачешь по следам... Я уже почти настиг беглеца, как вдруг он сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкно-

венную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту, и он, так же как мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост, восемь полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма, и выставил промежуточный пост в лощине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это — счастливейший миг моей жизни. Но, увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли — заблудший ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы, от горячего и чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.

3

Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу возвращающимся постам. Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет — и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: "К пешему строю..." — и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и германцы поползли на нас. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там, то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно,

наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличивалась, как разгорающийся огонь. Наши цепи пошли было в наступление, но их пришлось вернуть.

Тогда, словно богословы из "Вия", вступавшие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея. Торопливо рявкали орудия, шрапнель с визгом и ревом неслась над нашими головами и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного.

Наша пехота где-то наступала, и немцы перед ними отходили, выравнивая фронт. Иногда и мы на них напирали, чтобы ускорить очищение какого-нибудь важного для нас фольварка или деревни, но чаще приходилось просто отмечать, куда они отошли. Время было нетрудное и веселое. Каждый день разъезды, каждый вечер спокойный бивак — отступающие немцы не осмеливались тревожить нас по ночам. Однажды даже тот разъезд, в котором я участвовал, собрался на свой риск и страх выбить немцев из одного фольварка. В военном совете приняли участие все унтер-офицеры. Разведка открыла удобные подступы. Какой-то старик, у которого немцы увели корову и даже стащили сапоги с ног,— он был теперь обут в рваные галоши,— брался провести нас болотом во фланг. Мы все обдумали, рассчитали, и это было бы образцовое сражение, если бы немцы не ушли после первого же выстрела. Очевидно, у них была не застава, а просто наблюдательный пост. Другой раз, проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью пооди-

ночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся... Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые, или наш солдатик оказался героем — неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло.

Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно. Он был один в деревне, когда туда зашел сильный неприятельский разъезд. Удирать было поздно. Он быстро расседлал свою лошадь, запрятал седло в солому, сам накинул на себя взятый у хозяина зипун, и вошедшие немцы застали его усердно молотящим в сарае хлеб. В его дворе был поставлен пост из четырех человек. Казаку захотелось поближе посмотреть на германцев. Он зашел в халупу и нашел их играющими в карты. Он присоединился к играющим и за час выиграл около десяти рублей. Потом, когда пост сняли и разъезд ушел, он вернулся к своим. Я его спросил, как ему понравились германцы. "Да ничего,— сказал он,— только играют плохо, кричат, ругаются, все отжилить думают. Когда я выиграл, хотели меня бить, да я не дался". Как это он не дался, мне не пришлось узнать: мы оба торопились.

4

Последний разъезд был особенно богат приключениями. Мы долго ехали лесом, поворачивая с тропинки на тропинку, объехали большое озеро и совсем не были уверены, что у нас в тылу не осталось какой-нибудь неприятельской заставы. Лес кончался кустарниками, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы или нет, вот вопрос... Понемногу мы стали выдвигаться из кустов — все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился

к нам, крича: "Германи, германи, их много... бегите!" И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что окружены, и обнажили шашки, чтобы, как только подъедут дозорные, пробиваться в конном строю. Но, к счастью, мы скоро догадались, что в тылу никого нет — это просто рвутся разрывные пули, ударяясь в стволы деревьев. Дозорные справа уже вернулись. Они задержались, потому что хотели подобрать предупредившего нас жителя, но увидали, что он убит — прострелен тремя пулями в голову и в спину. Наконец прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отрапортовал офицеру: "Ваше сиятельство, германец наступает слева... и я ранен". На его бедре виднелась кровь. "Можешь сидеть в седле?" — спросил офицер. "Так точно, пока могу!" — "А где же другой дозорный?" — "Не могу знать; кажется, он упал". Офицер повернулся ко мне: "Гумилев, поезжайте, посмотрите, что с ним". Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы.

Собственно говоря, я подвергался не большей опасности, чем оставаясь на месте: лес был густой, немцы стреляли, не видя нас, и пули летели всюду: самое большее, я мог наскочить на их передовых. Все это я знал, но ехать все-таки было очень неприятно. Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним — частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на корточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади.

"Что ты здесь делаешь?" — "Лошадь убили... седло снимаю".— "Скорей иди, такой-сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается". — "Сейчас, сейчас, я вот только белье достану.— Он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток.— Вот, подержите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, не-

мец близко". Мы поскакали, провожаемые пулями, и он все время вздыхал у меня за спиной: "Эх, чай позабыл! Эх, жалость, хлеб остался!"

Обратно доехали без приключений. Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия. Но мы все часто вспоминали убитого за нас поляка и, когда заняли эту местность, поставили на месте его смерти большой деревянный крест.

VIII

1

Поздно ночью или рано утром, во всяком случае, было еще совсем темно, в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге. Первым моим движением было натянуть сапоги, вторым — пристегнуть шашку и надеть фуражку. Мой архимед — в кавалерии вестовых называют архимедами, испорченное ридкнехт — уже седлал наших коней. Я вышел на двор и прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни непременного спутника ночных тревог, стука пулемета,— ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С., и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я проделал несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело.

Но — увы, преследование вышло не совсем таким, как я думал. Едва мы вышли на шоссе, нас остановили и заставили ждать час — еще не собрались полки, действовавшие совместно с нами. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Как мы сердились, что она нам загораживает дорогу! Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план — вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше,

чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже высшее начальство. Но тогда мы этого не знали и продвигались медленно, негодуя на самих себя за эту медленность.

От передовых разъездов к нам приводили пленных. Были они хмурые, видимо, потрясенные своим отступлением. Кажется, они думали, что идут прямо на Петроград. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струнку.

В одной халупе, около которой мы стояли, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в двадцатый раз, рассказывал про немцев: один и тот же немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении и при отступлении. Первый раз он все время бахвалился победой и повторял: "Русс капут, русс капут!" Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на вопрос: "Ну что же, русс капут?" — ответил с чисто немецкой добросовестностью: "Не, не, не! Не капут!"

Уже поздно вечером мы свернули с шоссе, чтобы ехать на бивак в назначенный нам район. Вперед, как всегда, отправились квартирьеры. Как мы мечтали о биваке! Еще днем мы узнали, что жители сумели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг впереди послышалась стрельба. Что такое? Это не по аэроплану — аэропланы ночью не летают, это, очевидно, неприятель. Мы осторожно въехали в назначенную нам деревню, а прежде въезжали с песнями, спешились, и вдруг из темноты к нам бросилась какая-то фигура в невероятно грязных лохмотьях. В ней мы узнали одного из наших квартирьеров. Ему дали хлебнуть мадеры, и он, немного успокоившись, сообщил нам следующее: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, выскакивали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, ворота были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых, кое-кто уже попадал, оставили лошадей и побежали в сад. Рассказчик наткнулся на каменную стену в сажень вышиной, с

верхушкой, усыпанной битым стеклом. Когда он почти влез и на нее, его за ногу ухватил немец. Свободной ногой, обутой в тяжелый сапог, да со шпорой вдобавок, он ударил врага прямо в лицо, тот упал, как сноп. Соскочив на ту сторону, ободранный, расшибшийся улан потерял направление и побежал прямо перед собой. Он был в самом центре неприятельского расположения. Мимо него проезжала кавалерия, пехота устраивалась на ночь. Его спасла только темнота и обычное во время отступления замешательство, следствие нашего ловкого маневра, о котором я писал выше. Он был, по его собственному признанию, как пьяный и понял свое положение только тогда, когда, подойдя к костру, увидел около него человек двадцать немцев. Один из них даже обратился к нему с каким-то вопросом. Тогда он повернулся, пошел в обратном направлении и таким образом наткнулся на нас.

2

Выслушав этот рассказ, мы призадумались. О сне не могло быть и речи, да к тому же лучшая часть нашего бивака была занята немцами. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за нами тоже на бивак въехала наша артиллерия. Гнать ее назад, в поле, мы не могли, да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о судьбе своей дамы, как кавалерист о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием. То, что он может каждую минуту ускакать, заставляет его оставаться на своем посту до конца.

У нас оставалась слабая надежда, что в имении перед нами был только небольшой немецкий разъезд. Мы спешились и пошли на него цепью. Но нас встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда мы залегли перед деревней, чтобы не пропускать хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию.

Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули — самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там

не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех, двое, очевидно, попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит. Был он красивый, стройный отличный наездник. Его револьвер валялся около него, а на теле кроме огнестрельной было несколько штыковых ран. Видно было, что он долго защищался, пока не был приколот. Мир праху твоему, милый товарищ! Все из нас, кто мог, пришли на твои похороны.

В этот день наш эскадрон был головным эскадроном колонны и наш взвод — передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы.

Наш путь лежал через имение, где накануне обстреляли наших квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегающими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы, офицер горячился и напирал на него своим конем. Наш командир разрешил вопрос, сказав допрашивающему: "Ну его к черту, в штабе разберутся. Поедем дальше!"

Дальше мы осмотрели лес, в нем никого не оказалось, поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке напротив неприятель. Фольварков в конном строю атаковать не приходится: перестреляют; мы спешились и только что хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше нас подоспевшим гусарским разъездом. Наше вмешательство было бы нетактичным, нам оставалось лишь наблюдать за боем и жалеть, что мы опоздали.

IX

1

Бой длился недолго. Гусары бойко делали перебежку и уже вошли в фольварк. Часть немцев сдалась, часть бежала, их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел нас и взмолился к нашему офицеру: "Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть". Офицер согласился. "И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил", — просил гусар. Ему обещали, и это потому, что в мелких кавалерийских стычках сохраняется средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит его победителю.

Вскоре нам привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих пруссаков, действительной службы вдобавок, а забирающих было не больше двадцати.

Когда путь был расчищен, мы двинулись дальше. В ближайшей деревне нас встретили старообрядцы, колонисты. Мы были первыми русскими, которых они увидели после полуторамесячного германского плена. Старики пытались целовать наши руки, женщины выносили крынки молока, яйца, хлеб и с негодованием отказывались от денег, белобрысые ребятишки смотрели на нас с таким интересом, с каким вряд ли глазели на немцев. И приятнее всего было то, что все говорили на чисто русском языке, какого мы давно не слышали.

Мы спросили, давно ли были немцы. Оказалось, что всего полчаса тому назад ушел немецкий обоз и его можно было бы догнать. Но едва мы решили сделать это, как к нам подскакал посланный от нашей колонны с приказанием остановиться. Мы стали упрашивать офицера притвориться, что он не слышал этого приказания, но в это время примчался второй посланный, чтобы подтвердить категорическое приказание ни в коем случае не двигаться дальше.

Пришлось покориться. Мы нарубили шашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Скоро к нам подтяну-

лась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около девятисот человек. И вдруг над этим сборищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, раздался характерный вой шрапнели, и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди нас. Послышалась команда: "По коням! Садись". И как осенью стая дроздов вдруг срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щебеча, так помчались и мы, больше всего боясь оторваться от своей части. А шрапнель все неслась и неслась. На наше счастье, почти ни один снаряд не разорвался (и немецкие заводы подчас работают скверно), но они летели так низко, что прямо-таки прорезывали наши ряды. Несколько минут мы скакали через довольно большое озеро, лед трещал и расходился звездами, и я думаю, у всех была лишь одна молитва, чтобы он не подломился.

2

Когда мы проскакали озеро, стрельба стихла. Мы построили взводы и вернулись обратно. Там нас ожидал эскадрон, которому было поручено стеречь пленных. Оказывается, он так и не сдвинулся с места, боясь, что пленные разбегутся, и справедливо рассчитав, что стрелять будут по большей массе скорее, чем по меньшей. Мы стали считать потери — их не оказалось. Был убит только один пленный и легко поранена лошадь.

Однако нам приходилось призадуматься. Ведь нас обстреливали с фланга. А если у нас с фланга оказалась неприятельская артиллерия, то, значит, мешок, в который мы попали, был очень глубок. У нас был шанс, что немцы не сумеют использовать его, потому что им надо отступать под давлением пехоты. Во всяком случае надо было узнать, есть ли для нас отход, и если да, то закрепить его за собой. Для этого были посланы разъезды, с одним из них поехал и я.

Ночь была темная, и дорога лишь смутно белела в чаще леса. Кругом было неспокойно. Шарахались лошади без всадников, далеко была слышна перестрелка, в кустах кто-то стонал, но нам было не до него, чтобы его подбирать. Неприятная вещь — ночная разведка в лесу. Так и кажется, что из-за каждого

дерева на тебя направлен и сейчас ударит широкий штык.

Совсем неожиданно и сразу разрушив тревожность ожидания, послышался окрик: "Вэр ист дас?" — и раздалось несколько выстрелов. Моя винтовка была у меня в руках, я выстрелил не целясь, все равно ничего не было видно, то же сделали мои товарищи. Потом мы повернули и отскакали сажен двадцать назад.

"Все ли тут?" — спросил я. Послышались голоса: "Я тут". "Я тоже тут, остальные не знаю". Я сделал перекличку — оказались все. Тогда мы стали обдумывать, что нам делать. Правда, нас обстреляли, но это легко могла оказаться не застава, а просто партия отсталых пехотинцев, которые теперь уже бегут сломя голову, спасаясь от нас. В этом предположении меня укрепляло еще то, что я слышал треск сучьев по лесу: посты не стали бы так шуметь.

Мы повернули и поехали по старому направлению. На том месте, где у нас была перестрелка, моя лошадь начала храпеть и жаться в сторону от дороги. Я соскочил и, пройдя несколько шагов, наткнулся на лежащее тело. Блеснув электрическим фонариком, я заметил расщепленную пулей каску под залитым кровью лицом, а дальше — синевато-серую шинель. Все было тихо. Мы оказались правы в своем предположении.

Мы проехали еще верст пять, как нам было указано, и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Тогда нас поставили на бивак, но какой это был бивак! Лошадей не расседлывали, отпустили только подпруги, люди спали в шинелях и сапогах. А наутро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.

X

Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть

выходящую из леса пехоту, которой мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные новые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой.

Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступающих рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге — след немецкой пики: он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек восемь, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны, а потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае.

Но едва мы выехали из леска, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешились, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника — в бинокль я разглядел большие светлые усы. "Вот он, вот он, черт с рогом", — шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении.

Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам предоставил поступать с немцами по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: "Взвод, пли!" В тот же миг немец скрылся, очевидно, упал за бугор. Больше никто не показывался. Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут уже без всякой команды

поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно. Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку.

И действительно, они повернули и врассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем и, когда они поднимались на возвышенность, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал.

* * *

Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаху ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла, и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды.

По дороге мы увидали наших пехотинцев, угрюмо выходящих из леса и собирающихся кучками. "Что, земляки, отходите?" — спросил я их. "Приказывают, а нам что? Хоть бы и не отходить... что мы позади потеряли",— недовольно заворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил: "Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет". В это время с нашей стороны показалась еще одна рота. "Братцы, к нам резерв подходит, продержимся еще немного!" — крикнул пехотный офицер. "И то",— по-прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные.

В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы.

Немного дальше мы встретили окруженного своим штабом командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздыхались: "Седой какой, в дедушки нам годится. Нам, молодым, война так, заместо игры, а вот старым плохо".

Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собраться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму.

Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге.

Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой и он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта сосульками, а дыхание застывало, не выходя из ноздрей. Наконец я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: "К коням... садись". Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна.

Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая

шашки, толкали меня ногами: "Тревога! Сейчас выезжаем". Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса.

Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали на седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

* * *

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так во время одной из остановок я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целые десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня.

Часов в десять утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позиции, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки и, так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню, должно быть, что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. "Ага, артиллерийский обстрел",— подумал я, и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновение сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли.

Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, очевидно не заметившие, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик: "Хальт!" Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я побежал к нему и попросил подвезти меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади, она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами, но зато какая радость была сознавать, что я уже не несчастный заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно и всей русской армии.

Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за двадцать на бивак. Наша пехота зашла наступавшим немцам во фланг, и чем дальше они продвинулись бы, тем хуже было бы для них. Бивак был отличный, халупы просторные, и первый раз за много дней мы увидели свою кухню и поели горячего супа.

XI

Как-то утром вахмистр сказал мне... "Поручик Ч. едет в дальний разъезд, проситесь с ним".

Я послушался, получил согласие и через полчаса уже скакал по дороге рядом с офицером.

Тот на мой вопрос сообщил мне, что разъезд действительно дальний, но что, по всей вероятности, мы скоро наткнемся на немецкую заставу и принуждены будем остановиться. Так и случилось. Проехав верст пять, головные дозоры заметили немецкие каски и, подкравшись пешком, насчитали человек тридцать.

Сейчас же позади нас была деревня, довольно благоустроенная, даже с жителями. Мы вернулись в нее, оставив наблюдение, вошли в крайнюю халупу и, конечно, поставили вариться традиционную во всех разъездах курицу. Это обыкновенно берет часа два, а я был в боевом настроении. Поэтому я попросил у офицера пять человек, чтобы попробовать пробраться в тыл немецкой заставе, пугнуть ее, может быть, захватить пленных.

Предприятие было небезопасное, потому что если я оказывался в тылу у немцев, то другие немцы оказывались в тылу у меня. . . . Но предприятием заинтересовались два молодых жителя, и они обещали окружной дорогой подвести нас к самым немцам.

Мы все обдумали и поехали сперва задворками, потом низиной по грязному талому снегу. Жители шагали рядом с нами . . . . . Мы проехали ряд пустых окопов, великолепных, глубоких, выложенных мешками с песком.

. . . . . В одиноком фольварке старик все звал нас есть яичницу, он выселялся и ликвидировал свое хозяйство и на вопрос о немцах отвечал, что за озером с версту расстояния стоит очень много, очевидно несколько эскадронов кавалерии.

Дальше мы увидали проволочное заграждение, одним концом упершееся в озеро, а другим уходящее . . . . . Я оставил человека у проезда через проволочное заграждение, приказал ему стрелять в случае тревоги, с остальными отправился дальше.

Тяжело было ехать, оставляя за собой такую пре-

граду с одним только проездом, который так легко было загородить рогатками. Это мог сделать любой немецкий разъезд, а они крутились поблизости, это говорили и жители, видевшие их полчаса тому назад. Но нам слишком хотелось обстрелять немецкую заставу.

* * *

Вот мы въехали в лес, мы знали, что он неширок и что сейчас за ним немцы. Они нас не ждут с этой стороны, наше появление произведет панику. Мы уже сняли винтовки, и вдруг в полной тишине раздался отдаленный звук выстрелов. Громовой залп испугал бы нас менее. Мы переглянулись. "Это у проволоки", — сказал кто-то, мы догадались и без него. "Ну, братцы, залп по лесу и айда назад... авось поспеем!" — сказал я. Мы дали залп и повернули коней.

Вот это была скачка! Деревья и кусты проносились перед нами, комья снега так и летели из-под копыт, баба с ведром в руке у речки глядела на нас с разинутым от удивления ртом... Если бы мы нашли проезд задвинутым, мы бы погибли. Немецкая кавалерия переловила бы нас в полдня. Вот и проволочное заграждение — мы увидели его с холма. Проезд открыт, но наш улан уже на той стороне и стреляет куда-то влево. Мы взглянули туда и сразу пришпорили коней. Наперерез нам скакало десятка два немцев. От проволоки они были на том же расстоянии, что и мы. Они поняли, в чем наше спасение, и решили преградить нам путь.

"Пики к бою, шашки вон!" — скомандовал я, и мы продолжали нестись. Немцы орали и вертели пики над головой. Улан, бывший на той стороне, подцепил рогатку, чтобы загородить проезд, едва мы проскачем. И мы действительно проскакали. Я слышал тяжелый храп и стук копыт передовой немецкой лошади, видел всклокоченную бороду и грозно поднятую пику ее всадника. Опоздай мы на пять секунд, мы бы сшиблись. Но я проскочил за проволоку, а он с размаху промчался мимо.

Рогатка, брошенная нашим уланом, легла криво, но немцы все же не решились выскочить за проволочное заграждение и стали спешиваться, чтобы от-

крыть по нам стрельбу. Мы, разумеется, не стали их ждать и низиной вернулись обратно. Курица уже сварилась и была очень вкусна.

К вечеру к нам подъехал ротмистр со всем эскадроном. Наш наблюдательный разъезд развертывался в сторожевое охранение, и мы, как проработавшие весь день, остались на главной заставе.

* * *

Ночь прошла спокойно. Наутро запел телефон, и нам сообщили из штаба, что с наблюдательного пункта замечен немецкий разъезд, направляющийся в нашу сторону. Стоило посмотреть на наши лица, когда телефонист сообщил нам об этом. На них не дрогнул ни один мускул. Наконец ротмистр заметил: "Следовало бы еще чаю вскипятить". И только тогда мы рассмеялись, поняв всю неестественность нашего равнодушия.

Однако немецкий разъезд давал себя знать. Мы услыхали частую перестрелку слева, и от одного из постов приехал улан с донесением, что им пришлось отойти. "Пусть попробуют вернуться на старое место, – приказал ротмистр, – если не удастся, я пришлю подкрепление". Стрельба усилилась, и через час-другой посланный сообщил, что немцы отбиты и пост вернулся. "Ну и слава Богу, ни к чему было и поднимать такую бучу!" – последовала резолюция.

Во многих разъездах я участвовал, но не припомню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К., в один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное заграждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюхо в снегу, проваливаясь в ямы, натыкаясь на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы. Мы проехали таким образом верст двадцать.

Под конец остановились. Взвод остался в деревне; вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было выслано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем

фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. Шагах в восьмистах остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепились, не стреляли, видимо надеясь, что мы подойдем ближе. Тогда я решился на последний опыт — симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернулись и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли.

Другому разъезду менее посчастливилось. Он наткнулся на засаду, и у него убили лошадь. Потеря небольшая, но не тогда, когда находишься за двадцать верст от полка. Обратно мы ехали шагом, чтобы за нами мог поспешать пеший.

Метель улеглась, и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком, задремал и стал мерзнуть, а потом и замерзать. Было такое ощущение, что я, голый, сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал.

А мы еще не сразу нашли свой бивак и с час стояли, коченея, перед халупами, где другие уланы распивали горячий чай — нам было видно это в окна.

* * *

С этой ночи начались мои злоключения. Мы наступали, выбивали немцев из деревень, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7.

Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: "Герман-

цы наступают, мы сейчас уезжаем!" Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него.

Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда.

Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлечения брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу.

Весь следующий день я употребил на скитания по штабам: сперва — дивизии, потом бригады и наконец — полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград.

Целый месяц после этого мне пришлось пролежать в постели.

XII

Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое шестого июля 1915 г. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем.

Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз,

как надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию.

Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма — полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходится скакать и натыкаться на обвисшие ветви и стволы, пока наконец не наскочишь на круп передних коней. Не один глаз был подбит, и не одно лицо расцарапано в кровь.

На поляне — мы только ощупью определили, что это поляна,— мы спешились. Здесь должны были остаться коноводы, остальные — идти в окоп. Пошли, но как? Вытянувшись гуськом и крепко вцепившись друг другу в плечи. Иногда кто-нибудь, наткнувшись на пень или провалившись в канаву, отрывался, тогда задние ожесточенно толкали его вперед, и он бежал и окликал передних, беспомощно хватая руками мрак. Мы шли болотом и ругали за это проводника, но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото.

Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить.

Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос: "А вот сами увидите, стреляет немец, должно быть, утром в атаку пойдем".— "Типун тебе на язык,— подумали мы,— в такую погоду да еще атака!"

Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюдение, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили: неприятель делает перебежку и окапывается, открыт частый огонь.

Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил... Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил

снова и увидел новый взмах лопаты. Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались.

Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было полтора эскадрона, то есть человек восемьдесят, австрийцев раз в пять больше. Неизвестно, могли ли мы удержаться в случае атаки.

Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и наконец заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. "Ура! — крикнул я.— Это наша артиллерия кроет по их окопам".

В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. "Ничего подобного,— сказал он,— это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!"

Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была минута или две, а надо было предупредить об отходе всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: "К коням... живо! Нас обходят!" Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща под мышкой лопаты и шашки, которые они быстро сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил не целясь и со всех ног бросился догонять моих товарищей.

* * *

Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя. Дальше был бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес. Там можно было бы и отстреливаться и продолжать отход, судя по обстоя-

тельствам. Теперь же, в виду поминутно стреляющего врага, оставалось только бежать, и притом как можно скорее.

Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать и под градом пуль и снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь. Особенно страшно было видеть ротмистра, который каждую минуту привычным жестом снимал пенсне и аккуратно протирал сыреющие стекла совсем мокрым носовым платком.

За сараем я заметил корчившегося на земле улана. "Ты ранен?" — спросил я его. "Болен... живот схватило!" — простонал он в ответ.

"Вот еще, время болеть! — начальническим тоном закричал я.— Беги скорей, тебя австрийцы приколют!" Он сорвался с места и побежал: после очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере.

Вскоре на бугре показались австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага.

Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: "Уланы, братцы, помогите!" Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды да офицер.

"Возьмите кто-нибудь пулемет",— приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шагу.

Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнул шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать — раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. "Ничего на этот раз,

везем дальше... что задерживаться?" — радостно объявил мне пулеметчик. И мы продолжали свой путь.

Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены ноги и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили несколько несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спасаться. Нам всем было его жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется.

XIII

Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь; один из коноводов даже был ранен, но мы все вздохнули свободно, минут десять пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней.

Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступавшему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал оборачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку — не пропадать же, денег стоит — и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил: "Вот, Георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб". Действительно, австриец был украшен каким-то крестом.

Только подойдя к деревне З., мы выпутались из австрийского леска и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что

бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища, перед ржаным полем, пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на две тысячи шагов и постепенно опуская, но наши разъезды, видевшие австрийцев, выходящих из лесу, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать.

Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки впятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторявшаяся команда: "Опустить прицел на сто!" Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель.

* * *

Оборачиваясь, я позади себя сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это был кустарник, но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец один дальнозоркий крикнул: "Это наша пехота идет!" — и даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули.

Вскоре сомнениям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких, коренастых бородачей, и мы услыхали ободряющие слова: "Что, братики, или туго пришлось? Ничего, сейчас все устроим!" Они бежали мерным шагом (так пробежали десять верст) и нисколько не задыхались, на бегу свертывали цигарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью.

Вот уж они скрылись во ржи, и я услышал чей-то звонкий голос, кричавший: "Мирон, ты фланг-то загибай австрийца!" — "Ладно, загнем", — был ответ. Сейчас же грянула пальба пятисот винтовок. Они увидели врага.

Мы послали за коноводами и собрались уходить, но я был назначен быть для связи с пехотой. Когда я приближался к их цепи, я услышал громовое "ура!". Но оно как-то сразу оборвалось, и разлетелись отдельные крики: "Лови, держи! Ай, уйдет!" — совсем, как при уличном скандале. Неведомый мне Мирон оказался на высоте положения. Половина нашей пехоты под прикрытием огня остальных зашла австрийцам во фланг и отрезала полтора их батальона. Те сотнями бросали оружие и покорно шли в указанное им место, к группе старых дубов. Всего в этот вечер было захвачено восемьсот человек и, кроме того, возвращены утерянные вначале позиции.

Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. "Спасибо, братцы,— говорили мы,— без вас бы нам была крышка!" — "Незачем,— отвечали они,— как вы до нас-то держались? Ишь ведь их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, австрийцы". Мы согласились, что это действительно было счастье.

XIV

В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов. Иногда случалось, что после ожесточенного боя отступали обе стороны, и кавалерии потом приходилось восстанавливать связь с неприятелем.

Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый и благоуханный вечер, когда мы поседлали по тревоге и крупной рысью, порой галопом, помчались неизвестно куда, мимо полей, засеянных клевером, мимо хмелевых беседок и затихающих ульев, сквозь редкий сосновый лес, сквозь дикое, кочковатое болото. Бог знает, как разнесся слух, что мы должны идти в атаку. Впереди слышался шум боя. Мы спрашивали встречных пехотинцев, кто наступает, немцы или мы, но их ответы заглушались стуком копыт и бряцаньем оружия.

Мы спешились в перелеске, где уже рвались не-

мецкие снаряды. Теперь мы знали, что нас прислали прикрывать отход нашей пехоты. Целые роты в полном порядке выходили из лесу, чтобы построиться на поляне позади нас. Офицеры старательно выкликали: "В ногу, в ногу!" Ждали командира дивизии, и все подтянулись, лихо заломили фуражки набекрень и даже выровнялись, совсем как на плацу.

В это время наш разъезд привез известие, что мимо нас, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в составе одной бригады. Нами овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча. Мы видели, как наш командир подъехал к начальнику дивизии, офицеры говорили, что надо, чтобы пехота поддержала нас ружейным и пулеметным огнем. Однако из этих переговоров ничего не вышло. У начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас поддержать.

Пехота ушла, немцев не было. Темнело. Мы шагом поехали на бивак и по дороге поджигали скирды хлеба, чтобы не оставался врагу. Жалко было подносить огонь к этим золотым грудам, жалко было топтать конями хлеб на корню, он никак не хотел загораться, но так весело было скакать потом, когда по всему полю, докуда хватал глаз, зашевелились, замахали красными рукавами высокие костры, словно ослепительные китайские драконы, и послышалось иератическое бормотание раздуваемого ветром огня.

* * *

Весь конец этого лета для меня связан с воспоминаниями об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть: хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы. Однажды нас перебросили верст за тридцать на берег Буга. Там совсем не было наших войск, но не было и немцев, а они могли появиться каждую минуту.

Мы с восхищением обозревали еще не затронутую войной местность. Те из нас, что были прожорливее других, отправились поужинать у беженцев гусей, поросят и вкусный домашний сыр; те, что были по-

чистоплотнее, принялись купаться на отличной песчаной отмели. Последние прогадали. Им пришлось спасаться нагишом, таща в руках свою одежду, под выстрелами неожиданно показавшегося на той стороне немецкого разъезда.

На берег были высланы цепь стрелков и разъезд на случай, если понадобится переправляться. С лесистого пригорка нам отлично было видно деревню на том берегу реки. Перед ней уже кружили наши разъезды. Но вот оттуда послышалась частая стрельба, и всадники карьером понеслись назад через реку, так что вода поднялась белым клубом от напора лошадей. Тот край деревни был занят, нам следовало узнать, не свободен ли этот край.

Мы нашли брод, обозначенный вехами, и переехали реку, только чуть замочив подошвы сапог. Рассыпались цепью и медленно поехали вперед, осматривая каждую ложбинку и сарай. Передо мной в тенистом парке возвышался великолепный помещичий дом с башнями, верандой, громадными венецианскими окнами. Я подъехал и из добросовестности, а еще больше от любопытства, решил осмотреть его изнутри.

Хорошо было в этом доме! На блестящем паркете залы я сделал тур вальса со стулом — меня никто не мог видеть,— в маленькой гостиной посидел на мягком кресле и погладил шкуру белого медведя, в кабинете оторвал уголок кисеи, закрывавший картину, какую-то Сусанну со старцами, старинной работы. На мгновение у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства; может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу.

Что бы тогда подумал об уланах вернувшийся хозяин? Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше.

Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот тогда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин.

XV

Ночь была тревожная, все время выстрелы, порою треск пулемета. Часа в два меня вытащили из риги, где я спал, зарывшись в снопы, и сказали, что пора идти в окоп. В нашей смене было двенадцать человек под командой подпрапорщика. Окоп был расположен на нижнем склоне холма, спускавшегося к реке. Он был неплохо сделан, но зато никакого отхода, бежать приходилось в гору по открытой местности. Весь вопрос заключался в том, в эту или следующую ночь немцы пойдут в атаку. Встретившийся ротмистр посоветовал не принимать штыкового боя, но про себя мы решили обратное. Все равно уйти не представляется возможности.

Когда рассвело, мы уже сидели в окопе. От нас было прекрасно видно, как на том берегу немцы делали перебежку, но не наступали, а только окапывались. Мы стреляли, но довольно вяло, потому что они были очень далеко. Вдруг позади нас рявкнула пушка,— мы даже вздрогнули от неожиданности,— и снаряд, перелетев через наши головы, разорвался в самом неприятельском окопе. Немцы держались стойко. Только после десятого снаряда, пущенного с той же меткостью, мы увидели серые фигуры, со всех ног бежавшие к ближнему лесу, и белые дымки шрапнелей над ними. Их было около сотни, но спаслось едва ли человек двадцать.

За такими занятиями мы скоротали время до смены и уходили весело, рысью и по одному, потому что какой-то хитрый немец, очевидно отличный стрелок, забрался нам во фланг и, невидимый нами, стрелял, как только кто-нибудь выходил на открытое место. Одному прострелили накидку, другому поцарапали шею. "Ишь, ловкий!" — без всякой злобы говорили о нем солдаты. А пожилой, почтенный подпрапорщик на бегу приговаривал: "Ну и веселые немцы! Старичка и того расшевелили, бегать заставили".

На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты. Мы заняли каждый свое место и, в ожидании

утренней атаки, задремали, кто стоя, кто присев на корточки.

* * *

Песок со стены окопа сыпался нам за ворот, ноги затекали, залетавшие время от времени к нам пули жужжали, как большие, опасные насекомые; а мы спали, спали слаще и крепче, чем на самых мягких постелях. И вещи вспоминали все такие милые — читанные в детстве книги, морские пляжи с гудящими раковинами, голубые гиацинты. Самые трогательные и счастливые часы — это часы перед битвой.

Караульный пробежал по окопу, нарочно по ногам спящих и для верности толкая их прикладом, повторяя: "Тревога, тревога!" Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы, мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участившимся жужжанием немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать, послышалась команда: "Не стрелять",— и мы поняли, что отбили первую атаку.

После первой минуты торжества мы призадумались: что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная, по силе нашего огня немцы определили, сколько нас, а вторая атака, конечно, будет решительная, они могут выставить пять человек против одного. Отходов нет, нам приказано держаться, что-то останется от эскадрона?

Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигуру в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже кишел людьми, как городская площадь в базарный день.

— Пехота? — спросил я.

— Пехота. Вас сменять, — ответило сразу два десятка голосов.

— А сколько вас?

— Дивизия.

Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот что ожидает немцев, сейчас пойдущих в атаку, чтобы раздавить один-единственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться

и посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить.

Мы уже садились на коней, когда услыхали частую немецкую пальбу, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание, и мы только многозначительно переглянулись.

XVI

Корпус, к которому мы были прикомандированы, отходил. Наш полк отправили посмотреть, не хотят ли немцы перерезать дорогу, и если да, то помешать им в этом. Работа чисто кавалерийская.

Мы на рысях пришли в деревушку, расположенную на единственной проходимой в той местности дороге, и остановились, потому что головной разъезд обнаружил в лесу накапливающихся немцев. Наш эскадрон спешился и залег в канаве по обе стороны дороги.

Вот из черневшего вдали леса выехало несколько всадников в касках. Мы решили подпустить их совсем близко, но наш секрет, выдвинутый вперед, первый открыл по ним пальбу, свалил одного человека с конем, другие ускакали. Опять стало тихо и спокойно, как бывает только в теплые дни ранней осени.

Перед этим мы больше недели стояли в резерве, и неудивительно, что у нас играли косточки. Четыре унтер-офицера (я в том числе) выпросили у поручика разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг германцам и, если удастся, немного их пугнуть. Получили предостережение не утонуть в болоте и отправились.

С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву мы наконец, не замеченные немцами, добрались до перелеска, шагах в пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась низко выкошенная поляна. По нашим соображениям, в перелеске непременно должны были стоять немецкие посты, но мы положились на воинское счастье и, согнувшись, по одному быстро перебежали поляну.

Забравшись в самую чащу, передохнули и при-

слушались. Лес был полон неясных шорохов. Шумели листья, щебетали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки, стук копыта, роющего землю, звон шашки, человеческого голоса. Мы крались, как мальчишки, играющие в героев Майн Рида или Густава Эмара, друг за другом, на четвереньках, останавливаясь каждые десять шагов. Теперь мы были уже совсем в неприятельском расположении. Голоса слышались не только впереди, но и позади нас. Но мы еще никого не видели.

Не скрою, что мне было страшно тем страхом, который лишь с трудом побеждается волей. Хуже всего было то, что я никак не мог представить германцев в их естественном виде. Мне казалось, что они то, как карлики, выглядывают из-под кустов злыми крысиными глазками, то огромные, как колокольни, и страшные, как полинезийские боги, неслышно раздвигают верхи деревьев и следят за нами с недоброй усмешкой. А в последний миг крикнут: "А, а, а!" — как взрослые, пугающие детей. Я с надеждой взглядывал на свой штык, как на талисман против колдовства, и думал, что сперва всажу его в карлика ли, в великана ли, а потом пусть будет, что будет.

* * *

Вдруг ползший передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой, темной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно случайно отошедших от своих: один — в мягкой шапочке, другой — в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками.

Только на охоте за крупными зверями, леопардами, буйволами, я испытывал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить

великую добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ как будто согнулся и как кошка бросился в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги.

"А теперь айда!" — шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты.

После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красноватый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению свободен.

* * *

Когда мы вернулись к своим, оказалось, что мы были в отсутствии не более двух часов. Летние дни длинны, и мы, отдохнув и рассказав о своих приключениях, решили пойти снять седло с убитой немецкой лошади.

Она лежала на дороге перед самой опушкой. С нашей стороны к ней довольно близко подходили кусты. Таким образом, прикрытие было и у нас, и у неприятеля.

Едва высунувшись из кустов, мы увидели немца,

нагнувшегося над трупом лошади. Он уже почти отцепил седло, за которым мы пришли. Мы дали по нему залп, и он, бросив все, поспешно скрылся в лесу. Оттуда тоже загремели выстрелы.

Мы залегли и принялись обстреливать опушку. Если бы немцы ушли оттуда, седло и все, что в кобурах при седле, дешевые сигары и коньяк, все было бы наше. Но немцы не уходили. Наоборот, они, очевидно, решили, что мы перешли в общее наступление, и стреляли без передышки. Мы пробовали зайти им во фланг, чтобы отвлечь их внимание от дороги, они послали туда резервы и продолжали палить. Я думаю, что, если бы они знали, что мы пришли за седлом, они с радостью отдали бы нам его, чтобы не затевать такой истории. Наконец мы плюнули и ушли.

Однако наше мальчишество оказалось очень для нас выгодным. На рассвете следующего дня, когда можно было ждать атаки и когда весь полк ушел, оставив один наш взвод прикрывать общий отход, немцы не тронулись с места, может быть ожидая нашего нападения, и мы перед самым их носом беспрепятственно подожгли деревню, домов в восемьдесят по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоня перед собой отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым.

XVII

На этот раз мы отступали недолго. Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы растрепали ружейным огнем не один зарвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались, а две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть ночью поодиночке выбраться из нашего кольца.

Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника.

Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое.

Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. "Совсем как на войне", — пошутил я, думая, что это выехала на позиции наша батарея. А хохол, эскадронный забавник — в каждой части есть свои забавники, — бросился на спину и заболтал ногами и руками, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами.

И в то же время в лесу затрещали винтовки и вокруг нас засвистели пули. Офицер скомандовал: "К коням!", но испуганные лошади уже метались по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я — в лощине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее, прежде чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаясь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине.

Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: "В порядке, в порядке!" Я подскакиваю и докладываю: "Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!" Он останавливается и отвечает: "Поезжайте, найдите его".

Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденькой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах, и он сел на первую ему предложенную.

Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши — потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, что снаряды летали и в нас.

Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей.

* * *

Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два улана, полгода назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии. Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и сорок дней шли с боем по Германии.

Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек двенадцать. Из глубоких рвов, заброшенных риг, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии — бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами. Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозными и патрулями.

У Немана на них наткнулся маршевый немецкий батальон и после ожесточенной перестрелки почти

окружил их. Тогда они бросились в реку и переплыли ее, только потеряли восемь винтовок и очень этого стыдились. Все-таки, подходя к нашим позициям, опрокинули немецкую заставу, преграждавшую им путь, и пробились в полном составе.

Слушая, я все время внимательно смотрел на рассказчика. Он был высокий, стройный и сильный, с нежными и правильными чертами лица, с твердым взглядом и закрученными русыми усами. Говорил спокойно, без рисовки, пушкински-ясным языком, с солдатской вежливостью отвечая на вопросы: "Так точно, никак нет". И я думал, как было бы дико видеть этого человека за плугом или у рычага заводской машины. Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать "в гражданстве северной державы", то они незаменимы "в ее воинственной судьбе", а поэт знал, что это — одно и то же.

СТАТЬИ

АНАТОМИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ

Среди многочисленных формул, определяющих существо поэзии, выделяются две, предложенные поэтами же, задумавшимися над тайнами своего ремесла. Формула Кольриджа гласит: "Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке". И формула Теодора де Банвиля: "Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не нуждается в переделке". Обе эти формулы основаны на особенно ясном ощущении законов, по которым слова влияют на наше сознание. Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком, а не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы. Перечисление и классификация этих законов составляют теорию поэзии. Теория поэзии должна быть дедуктивной, не основанной только на изучении поэтических произведений, подобно тому

как механика объясняет различные сооружения, а не только описывает их. Теория же прозы (если таковая возможна) может быть только индуктивной, описывающей приемы тех или иных прозаиков, иначе она сольется с теорией поэзии.

Кроме того, по определению Потебни, поэзия есть явление языка или особая форма речи. Всякая речь обращена к кому-нибудь и содержит нечто, относящееся как к говорящему, так и к слушающему, причем последнему говорящий приписывает те или иные свойства, находящиеся в нем самом. Человеческая личность способна на бесконечное дробление. Наши слова являются выражением лишь части нас, одного из наших ликов. О своей любви мы можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, цветам, Богу. Ясно, что каждый раз наш рассказ будет иным, так как мы меняемся в зависимости от обстановки. С этим тесно связано такое же многообразие слушающего, так как мы обращаемся тоже лишь к некоторой его части. Так, обращаясь к морю, мы можем отметить его родственность нам или, наоборот, отчужденность, приписать ему заботу о нас, равнодушие или враждебность. Описание моря с фольклористической, живописной, геологической точки зрения, часто связанное с обращением, сюда не относится, так как явно, что обращение здесь лишь прием и подлинный собеседник — некто иной.

Так как в каждом обращении есть некоторое волевое начало, то поэт для того, чтобы его слова были действенными, должен ясно видеть соотношение говорящего и слушающего и чувствовать условия, при которых связь между ними действительно возможна. Это является предметом поэтической психологии.

В каждом стихотворении обе эти части общей поэтики дополняют одна другую. Теория поэзии может быть сравнена с анатомией, а поэтическая психология — с физиологией. Стихотворение же — это живой организм, подлежащий рассмотрению: и анатомическому и физиологическому.

Теория поэзии может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха, ритмы, т. е. смену повышений и понижений голоса, инструментовку, т. е. качество и связь между собою

различных звуков, науку об окончаниях и науку о рифме с ее звуковой стороны.

Стилистика рассматривает впечатление, производимое словом, в зависимости от его происхождения, возраста, принадлежности к той или иной грамматической категории, места во фразе, а также группой слов, составляющих как бы одно целое, например сравнением, метафорой и пр.

Композиция имеет дело с единицами идейного порядка и изучает интенсивность и смену мыслей, чувств и образов, вложенных в стихотворение. Сюда же относится и учение о строфах, потому что та или иная строфа оказывает большое влияние на ход мысли поэта.

Эйдолология подводит итог темам поэзии и возможным отношениям к этим темам поэта.

Каждый из этих отделов незаметно переходит в другой, а эйдолология непосредственно примыкает к поэтической психологии. Разграничительных линий провести нельзя, да и не надо. В действительно великих произведениях поэзии всем четырем частям уделено равное внимание, они взаимно дополняют одна другую. Таковы поэмы Гомера, такова "Божественная комедия". Крупные поэтические направления обыкновенно устремляют особое внимание на два каких-нибудь отдела, объединяя их между собой и оставляя в тени два других. Меньше выделяют лишь один отдел, иногда даже один какой-нибудь прием, входящий в его состав. Укажу кстати, что возникший в последние годы акмеизм выставляет основным требованием равномерное внимание ко всем четырем отделам. Того же требования придерживаются и французские поэты, составляющие распавшуюся ныне группу Abbaye <"Аббатство"> .

Попробуем произвести опыт такого четверного разбора на материале, взятом из области конденсированной поэзии, которой является богослужение. Дионисий Ареопагит рассказывает, что ангелы, славословя Бога, восклицают: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Василий Великий объясняет, что это на человеческом языке означает: Слава Тебе, Боже! Наши старообрядцы поют: аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Отсюда большой спор.

В фонетическом отношении мы видим в пении

старообрядцев одну строчку семистопного хорея с цезурой после четвертой стопы, размера цельного и по взволнованности своей вполне отвечающего назначению; у православных девятистопный хорей неминуемо распадается на две строки, шестистопную и трехстопную, благодаря чему цельность обращения пропадает. К тому же, так как при смежности строк длинной и короткой мы всегда стремимся уравнять наше впечатление от них, выделяя короткую и затушевывая длинную, то ангельские слова получают характер какого-то припева, дополнения к человеческим, а не равнозначащи с ним.

В стилистическом отношении в старой редакции мы наблюдаем правильную замену чужого слова родным, как, например, во фразе: "Avez-vous vu тетю Машу?", тогда как в новой "слава Тебе, Боже!" является совершенно ненужным переводом, вроде: приходите к нам на five o'clock в пять часов.

В композиционном отношении старая редакция опять-таки имеет преимущество благодаря своей трехчленности, гораздо более свойственной нашему сознанию, чем четырехчленность новой редакции.

И в эйдолологическом отношении мы чувствуем в старой редакции обращение порознь ко всем лицам Пресвятой Троицы, тогда как в новой четвертое обращение относится неизвестно к кому.

Будем верить, что наступит время, когда поэты станут взвешивать каждое свое слово с той же тщательностью, как и творцы культовых песнопений.
<1921>

ЖИЗНЬ СТИХА

I

Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и судит судья. Что же делает поэт? Почему легко запоминаемыми стихами не изложит он условий произрастания различных злаков, почему отказывается сочинить новую "Дубинушку" или обсахаривать горькое лекарство религиозных тезисов? По-

чему только в минуты малодушия соглашается признать, что чувства добрые он лирой пробуждал? Разве нет места у поэта, все равно, в обществе ли буржуазном, социал-демократическом или общине религиозной? Пусть замолчит Иоанн Дамаскин!

Так говорят поборники тезиса "Искусство для жизни". Отсюда Франсуа Коппе, Сюлли-Прюдом, Некрасов и во многом Андрей Белый.

Им возражают защитники "Искусства для искусства": "Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас... душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры, довольно с вас, рабов безумных..." Для нас, принцев Песни, жизнь только средство для полета: чем сильнее танцующий ударяет ногами землю, тем выше он поднимается. Чеканим ли мы свои стихи, как кубки, или пишем неясные, словно пьяные, песенки, мы всегда и прежде всего свободны и вовсе не желаем быть полезными.

Отсюда — Эредиа, Верлен, у нас — Майков.

Этот спор длится уже много веков, не приводя ни к каким результатам, и неудивительно: ведь от всякого отношения к чему-либо, к людям ли, к вещам или к мыслям, мы требуем прежде всего, чтобы оно было целомудренным. Под этим я подразумеваю право каждого явления быть самоценным, не нуждаться в оправдании своего бытия, и другое право, более высокое, — служить другим.

Гомер оттачивал свои гекзаметры, не заботясь ни о чем, кроме гласных звуков и согласных, цезур и спондеев, и к ним приноравнивал содержание. Однако он счел бы себя плохим работником, если бы, слушая его песни, юноши не стремились к военной славе, если бы затуманенные взоры девушек не увеличивали красоту мира.

Нецеломудренность отношения есть и в тезисе "Искусство для жизни" и в тезисе "Искусство для искусства".

В первом случае искусство низводят до степени проститутки или солдата. Его существование имеет ценность лишь постольку, поскольку оно служит чуждым его целям. Неудивительно, если у кротких муз глаза становятся мутными и они приобретают дурные манеры.

Во втором — искусство изнеживается, становится мучительно-лунным, к нему применимы слова Малларме, вложенные в уста его Иродиады:

J'aime e'horreur d'etre vierge et je veux
Vivre parmi l'effroi que me font mes cheveux...

(Я люблю позор быть девственной и хочу жить среди ужаса, рождаемого моими волосами...).

Чистота — это подавленная чувственность, и она прекрасна, отсутствие же чувственности пугает, как новая, неслыханная форма разврата.

Нет! Возникает эра эстетического пуританизма, великих требований к поэту как творцу и мысли или слову — как материалу искусства. Поэт должен возложить на себе вериги трудных форм (вспомним гекзаметры Гомера, терцины и сонеты Данте, старошотландские строфы поэм Байрона) или форм обычных, но доведенных в своем развитии до пределов возможного (ямбы Пушкина), должен, но только во славу своего Бога, которого он обязан иметь. Иначе он будет простым гимнастом.

Все же, если выбирать из двух вышеприведенных тезисов, я сказал бы, что в первом больше уважения к искусству и понимания его сущности. На него накладывается новая цепь, указывается новое применение кипящим в нем силам, пусть недостойное, низкое — это не важно: разве очищение Авгиевых конюшен не упоминается наравне с другими великими подвигами Геракла? В старинных балладах рассказывается, что Роланд тосковал, когда против него выходил десяток врагов. Красиво и достойно он мог биться только против сотни. Однако не надо забывать, что и Роланд мог быть побежден...

Сейчас я буду говорить только о стихах, помня слова Оскара Уайльда, приводящие в ужас слабых и вселяющие бодрость в сильных: "Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альта или лютни, не только — краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полотнах Венецианцев и Испанцев; не только пластичные формы, не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе,— у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность.

Все это есть у одних слов".

А что стих есть высшая форма речи, знает всякий, кто, внимательно оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы сдержать рождающийся ритм.

II

Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития — и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью.

Наконец в муках, схожих с муками деторождения (об этом говорит и Тургенев), появляется стихотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству соображениями, если, кроткий, как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое, и, мудрый, как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму.

Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе, и, даже умерев, подобно царю Соломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. Такова "Илиада"...

Но есть стихотворения невыношенные, в которых вокруг первоначального впечатления не успели наслоиться другие, есть и такие, в которых, наоборот, подробности затемняют основную тему, они — калеки в мире образов, и совершенство отдельных их частей не радует, а скорее печалит, как прекрасные глаза горбунов. Мы многим обязаны горбунам, они рассказывают нам удивительные вещи, но иногда с такой тоской мечтаешь о стройных юношах Спарты, что не жалеешь их слабых братьев и сестер, осужденных суровым законом. Этого хочет Аполлон, немного страшный, жестокий, но безумно красивый бог.

Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в

банке со спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и могучей, чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования? Каким требованиям должно оно удовлетворять?

Я ответил бы коротко: в с е м.

В самом деле, оно должно иметь: мысль и чувство,— без первой самое лирическое стихотворение будет мертво, а без второго даже эпическая баллада покажется скучной выдумкой (Пушкин в своей лирике и Шиллер в своих балладах знали это),— мягкость очертаний юного тела, где ничто не выделяется, ничто не пропадает, и четкость статуи, освещенной солнцем; простоту — для нее одной открыто будущее — и утонченность как живое признание преемственности от всех радостей и печалей прошлых веков; и еще превыше этого — стиль и жест.

В стиле Бог показывается из своего творения, поэт дает самого себя, но тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о цвете своих глаз, о форме своих рук. А это так важно. Ведь у Данте Алигьери — мальчика, влюбившегося в бледность лица Беатриче,— неистового гиббелина и веронского изгнанника мы любим не меньше, чем его "Божественную комедию"... Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой. Жалобы поэтов на тот факт, что публика не сочувствует их страданиям, упиваясь музыкой стиха, основаны на недоразумении. И радость, и грусть, и отчаяние читатель почувствует только с в о и. А чтобы возбуждать сочувствие, надо говорить о себе суконным языком, как это делал Надсон.

Возвращаюсь к предыдущему: чтобы быть достойным своего имени, стихотворение, обладающее перечисленными качествами, должно сохранить между ними полную гармонию и, что всего важнее, быть вызванным к жизни не "пленной мысли раздражени-

ем", а внутренней необходимостью, которая даст ему душу живую — темперамент. Кроме того, оно должно быть безукоризненно даже до неправильности. Потому что индивидуальность стихотворению придают только сознательные отступления от общепринятого правила, причем они любят рядиться в бессознательные. Так, Charles Asselineau рассказывает о "распутном сонете", где автор, сознательно нарушая правила, притворяется, что делает это в порыве поэтического вдохновения или увлечения страстью. И Ронсар, и Мейнар, и Малерб писали такие сонеты. Эти неправильности играют роль родинок, по ним легче всего восстановить в памяти облик целого.

Одним словом, стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию. Такое стихотворение самоценно, оно имеет право существовать во что бы то ни стало. Так для спасения одного человека снаряжаются экспедиции, в которых гибнут десятки других людей. Но, однако, раз он спасен, он должен, как и все, перед самим собой оправдывать свое существование.

III

Действительно, мир образов находится в тесной связи с миром людей, но не так, как это думают обыкновенно. Не будучи аналогией жизни, искусство не имеет бытия, вполне подобного нашему, не может нам доставить чувственного общения с иными реальностями. Стихи, написанные даже истинными визионерами в момент транса, имеют значение лишь постольку, поскольку они хороши. Думать иначе — значит повторять знаменитую ошибку воробьев, желающих склевать нарисованные плоды.

Но прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают. Для многих отношений они являются высшими судьями, вроде тотемов североамериканских дикарей. Пример — тургеневское "Затишье", где сти-

хотворение "Анчар" своей силой и далекостью ускоряет развязку одной, по-русскому тяжелой любви; или "Идиот" Достоевского, когда "Бедный Рыцарь" звучит как заклинание на устах Аглаи, безумной от жажды полюбить героя; или "Ночные Пляски" Сологуба с их поэтом, зачаровывающим капризных царевен дивной музыкой лермонтовских строф.

В современной русской поэзии как на пример таких "живых" стихотворений я укажу всего на несколько, стремясь единственно к тому, чтобы иллюстрировать вышесказанное, и оставляя в стороне многое важное и характерное. Вот хотя бы стихотворение Валерия Брюсова "В склепе":

Ты в гробнице распростерта в миртовом венце.
Я целую лунный отблеск на твоем лице!..

Сквозь решетчатые окна виден круг луны,
В ясном небе, как над нами, тайна тишины.

За тобой у изголовья венчик влажных роз,
На твоих глазах, как жемчуг, капли прежних слез.

Лунный луч, лаская розы, жемчуг серебрит,
Лунный свет обходит кругом мрамор старых плит.

Что ты видишь, что ты помнишь в непробудном сне?
Тени темные все ниже клонятся ко мне.

Я пришел к тебе в гробницу через черный сад,
У дверей меня лимуры злобно сторожат.

Знаю, знаю, мне не долго быть вдвоем с тобой!
Лунный свет свершает мерно путь свой круговой.

Ты — недвижна, ты — прекрасна, в миртовом венце.
Я целую свет небесный на твоей лице!

Здесь, в этом стихотворении, брюсовская страстность, позволяющая ему невнимательно отнестись даже к высшему ужасу смерти, исчезновения, и брюсовская нежность, нежность почти девическая, которую все радует, все томит, и лунный свет, и жемчуг, и розы, — эти две самые характерные особенности его творчества помогают ему создать образ, слепок, быть может, мгновения встречи безвозвратно разлученных и навсегда отравленных этой разлукой влюбленных.

В стихотворении "Гелиады" ("Прозрачность") Вячеслав Иванов, поэт, своей солнечностью и чисто

мужской силой столь отличный от лунной женственности Брюсова, дает образ Фаэтона. Светлую древнюю сказку он превращает в вечно юную правду. Всегда были люди, обреченные на гибель самой природой их дерзаний. Но не всегда знали, что поражение может быть плодотворнее победы.

Он был прекрасен, отрок гордый,
Сын Солнца, юный Солнцебог,
Когда схватил рукою твердой
Величья роковой залог,

Когда бразды своей державы
Восхитил у зардевших Ор, –
А кони бились о заставы,
Почуя пламенный простор!

И, пущены, взнеслись, заржали,
Покинув алую тюрьму,
И с медным топотом бежали,
Послушны легкому ярму... И т. д.

"Отрок гордый" не появляется в самом стихотворении, но мы видим его в словах и песнях трех девушек Гелиад, влюбленных в него, толкнувших его на погибель и оплакивающих его "над зеленым Эридаком". И мучительно-завидна судьба того, о ком девушки поют такие песни!

И. Анненский тоже могуч, но мощью не столько Мужской, сколько Человеческой. У него не чувство рождает мысль, как это вообще бывает у поэтов, а сама мысль крепнет настолько, что становится чувством, живым до боли даже. Он любит исключительно "сегодня" и исключительно "здесь", и эта любовь приводит его к преследованию не только декораций, но и декоративности. От этого его стихи мучат, они наносят душе неисцелимые раны, и против них надо бороться заклинаниями времен и пространства.

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых!
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.

О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: — Ты та ли, та ли? —
И струны ластились к нему,
Звеня, но ластясь, трепетали.

Не правда ль? Больше никогда
Мы не расстанемся — довольно?
И скрипка отвечала: "Да",
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке это все держалось,
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
До утра свеч... и струны пели,
Лишь утро их нашло без сил
На черном бархате постели.

С кем не случалось этого? Кому не приходилось склоняться над своей мечтой, чувствуя, что возможность осуществить ее потеряна безвозвратно? И тот, кто, прочитав это стихотворение, забудет о вечной, девственной свежести мира, поверит, что есть только мука, пусть кажущаяся музыкой, — тот погиб, тот отравлен. Но разве не чарует мысль о гибели от такой певучей стрелы?

Затем, минуя "Незнакомку" Блока, — о ней столько писалось, — я скажу еще о "Курантах Любви" Кузмина. Одновременно с ними автором писалась к ним и музыка, и это положило на них отпечаток какого-то особого торжества и нарядности, доступной только чистым звукам. Стих льется, как струя густого, душистого и сладкого меда, веришь, что только он — естественная форма человеческой речи, и разговор или прозаический отрывок после кажутся чем-то страшным, как шепот в тютчевскую ночь, как нечистое заклинание. Эта поэма составлена из ряда лирических отрывков, гимнов любви и о любви. Ее слова можно повторять каждый день, как повторяешь молитву, вдыхаешь запах духов, смотришь на цветы. Я приведу из нее один отрывок, который совершенно зачаровывает наше представление о завтрашнем дне, делает его рогом изобилия:

Любовь расставляет сети
Из крепких шелков;
Любовники, как дети,
Ищут оков.

Вчера ты любви не знаешь,
Сегодня весь в огне,
Вчера меня отвергаешь,
Сегодня клянешься мне.

Завтра полюбит любивший
И не любивший вчера,
Придет к тебе не бывший
Другие вечера.

Полюбит, кто полюбит,
Когда настанет срок,
И будет то, что будет,
Что приготовил нам рок.

Мы, как малые дети,
Ищем оков
И слепо падаем в сети
Из крепких шелков.

Так искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному.

IV

На днях прекратил свое существование журнал "Весы", главная цитадель русского символизма. Вот несколько характерных фраз из заключительного манифеста редакции, напечатанного в № 12:

"Весы" были шлюзой, которая была необходима до тех пор, пока не слились два идейных уровня эпохи, и она становится бесполезной, когда это достигнуто наконец ее же действием. Вместе с победой идей символизма в той форме, в какой они исповедовались и должны были исповедоваться "Весами", ненужным становится и сам журнал. Цель достигнута, и ео ipso[1] средство бесцельно! Растут иные цели!"

"Мы не хотим сказат этим, что символическо вижение умерло что символизм перестал играт роль идейного лозунг нашей эпохи. Но завтра то же слово станет иным лозунгом загорится пламе нем, и оно уже горит -иному над нами

Со всем этим нельзя не согласиться, особенно если дело коснется поэзии. Русский символизм, представленный полнее всего "Весами", независимо от того,

[1]Тем самым *(лат.)*.

что он явился неизбежным моментом в истории человеческого духа, имел еще назначение быть бойцом за культурные ценности, с которыми от Писарева до Горького у нас обращались очень бесцеремонно. Это назначение он выполнил блестяще и внушил дикарям русской печати если не уважение к великим именам и идеям, то по крайней мере страх перед ними. Но вопрос, надо ли ему еще существовать как литературной школе, сейчас имеет слишком мало надежд быть вполне разрешенным, потому что символизм создался не могучей волей одного лица, как "Парнас" волей Леконта де Лиля, и не был результатом общественных переворотов, как романтизм, но явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление. Так что устаревшим он окажется только тогда, когда человечество откажется от этого тезиса — и откажется не только на бумаге, но всем своим существом. Когда это случится, предоставляю судить философам. Теперь же мы не можем не быть символистами. Это не призыв, не пожелание, это только удостоверяемый мною факт.

1910

ПОЭЗИЯ В "ВЕСАХ"

До 1905 года, когда в "Весах" появился беллетристический отдел, в русской символической поэзии царил хаос. "Мир искусства" выдвигал, наряду с Бальмонтом и Брюсовым, такую сомнительную поэтическую величину, как Минский; "Новый путь" печатал стихи Рославлева, Фофанова и др. Даже "Скорпион", осторожный "Скорпион", и тот не избежал общей участи: издал Бунина и в "Северных цветах" поместил поэму того же Фофанова.

За всем этим следила и злорадно хихикала критика, враждебная новым течениям в искусстве. Прежние возгласы негодования по поводу "чудачества декадентов" сохранились только в самых захолустных изданиях, а в более видных они заменились или указаниями на то, что "декадентство" выдохлось, или заявлениями, что "оно" никогда не представляло из себя ничего существенно нового.

Не знаю, намеренно или нет, "Весы", вводя литературный отдел, всей своей деятельностью опровергали оба эти мнения. От этого стихи в "Весах" делятся на две резко, особенно впоследствии, разграниченные группы: группу революционеров и группу хранителей традиции. Право на революцию сохранили за собой вожди, молодежи был поручен арьергард. Благодаря такому строю вся колонна приобрела стремительность, недоступную для течений, где вожди должны одновременно направлять и сдерживать. Но это же и послужило причиной ее расстройства: нельзя, да и не следует, пройти весь мир кавалерийской атакой...

Символизм угасал. Уже самые споры, возникшие из-за определения этого, казалось бы, вполне выясненного литературного учения, указывали на недовольство им в кругу поэтов. Появились новые задачи, особые у каждого мастера, и их произведения назывались символическими только за неимением более подходящего названия.

Несколько замечаний о поэтах, представленных "Весами".

К. Бальмонт, такой хрупкий, такой невещественный в первый период своего творчества, страстно полюбил вещи и выше всего поставил потенциально скрытую в них музыку. В своих эпитетах он не гонится за точностью; он хочет, чтобы не скрытые в них представления, а самый звон их определял нужный ему образ. Однако и тут он, где можно, превращает прилагательные в существительные: безглагольный — безглагольность, лелейный — лелейность и т. д. Последний пример особенно характерен: глагол "лелеять" он превратил в прилагательное и потом сделал из него существительное. Пренебрежение к глаголам — вот что делает его последние стихи мертвенными и неподвижными, потому что поэзия есть мысль, а мысль — прежде всего движение. Как бы то ни было, его попытка имеет громадный теоретический интерес, и со временем она будет оценена по достоинству.

Брюсов, восстановивший в России позабытое со времен Пушкина благородное искусство просто и правильно писать стихи, в "Urbi et Orbi" и в "Венке" давший образцы классической чистоты и силы, в "Весах", как Иаков, вступил в бой со своим Богом. Он

вводит в поэтический обиход ассонансы, пользуется ипердактилическими рифмами, новыми строфами, повторениями одной и той же строчки. Наконец, в стихотворении "К кому-то", начинающемся строкой "Фарман иль Райт, иль кто б ты ни был!", он вплотную подходит к современности, которой так боятся поэты, и остается победителем.

Далее следует Вячеслав Иванов, все поэтическое творчество которого — сплошная революция, иногда даже против канонов, установленных им самим; М. Кузмин, со всей неожиданной смелостью своих тем и приемов, с неслыханным в русской поэзии словарем и со стихом, звучащим утонченно и странно; Андрей Белый, пытающийся внести красочный импрессионизм своих юношеских произведений в самые повседневные переживания.

Отдельно стоят З. Гиппиус, со своим застывшим на одной точке мастерством, и Ф. Сологуб и А. Блок, печатавшие свои наиболее характерные стихи в других изданиях.

Из молодых поэтов, "хранителей традиций", особенно выдвинуты "Весами": Сергей Соловьев, Борис Садовский и Виктор Гофман.

С. Соловьев печатал в "Весах" лучшие свои стихотворения, в которых, под руководством поэзии Брюсова, он продолжает работу А. Майкова, иногда даже превосходя последнего чеканкой стиха и силой изобразительности.

Борис Садовский поддерживает воспоминание о традициях пушкинской эпохи, учась у ее второстепенных поэтов. Кажется, его совершенно не коснулось веяние модернизма. Однако сухая четкость ритмов и образов, вкус и благородное стремление к работе над стихом обличают близость поэта к новому направлению без которого ему вряд ли бы удалось освободиться от пут реализма, так как по темпераменту он не завоеватель

Виктор Гофман — ученик то Бальмонта, то Брюсова. Недаром в юности он написал по стихотворению-приветствию им обоим. Но это ученичество не пошло дальше заимствования приемов и близости образов. Сквозь молодое любование утонченностями культуры проглядывает его собственное ощущение мира — томная, но подчас и острая чувственность. И

жаль, что за последнее время он стал подражать серафическому Блоку.

Из реже печатавшихся в "Весах" можно отметить Юрия Верховского — поэта типа Бориса Садовского, но более расплывчатого и книжного, и Одинокого, поставившего себе ряд интересных задач и серьезно работающего над их разрешением.

Нельзя сказать, что в стихотворном отделе "Весов" не было серьезных упущений; таково, например, замалчивание И.Ф. Анненского (за все время о нем было, кажется, всего три заметки и ни одного его стихотворения); непривлечение к сотрудничеству П. Потемкина, одного из самых своеобразных молодых поэтов современности; наконец, выдвигание за последний год Эллиса.

Но, несмотря на все промахи, история "Весов" может быть признана историей русского символизма в его главном русле.

1910

НАСЛЕДИЕ СИМВОЛИЗМА И АКМЕИЗМ

Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. И то, что символические произведения уже почти не появляются, а если и появляются, то крайне слабые даже с точки зрения символизма, и то, что все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций, и то, что появились футуристы, эго-футуристы и прочие гиены, всегда следующие за львом. На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова axmi — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь),— во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все по-

ставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом.

Французский символизм, родоначальник всего символизма как школы, выдвинул на передний план чисто литературные задачи: свободный стих, более своеобразный и зыбкий слог, метафору, вознесенную превыше всего, и пресловутую "теорию соответствий". Последнее выдает с головой его не романскую и, следовательно, не национальную, наносную почву. Романский дух слишком любит стихию света, разделяющего предметы, четко вырисовывающего линию; эта же символическая слиянность всех образов и вещей, изменчивость их облика могла родиться только в туманной мгле германских лесов. Мистик сказал бы, что символизм во Франции был прямым последствием Седана. Но наряду с этим он вскрыл во французской литературе аристократическую жажду редкого и труднодостижимого и таким образом спас ее от угрожающего ей вульгарного натурализма.

Мы, русские, не можем считаться с французским символизмом хотя бы уже потому, что новое течение, о котором я говорил выше, отдает решительное предпочтение романскому духу перед германским. Подобно тому как французы искали новый, более свободный стих, акмеисты стремятся разбивать оковы метра пропуском слогов, более, чем когда-либо, свободной перестановкой ударений, и уже есть стихотворения, написанные по вновь продуманной силлабической системе стихосложения. Головокружительность символических метафор приучила их к смелым поворотам мысли; зыбкость слов, к которым они прислушивались, побудила искать в живой народной речи новых — с более устойчивым содержанием; и светлая ирония, не подрывающая корней нашей веры,— ирония, которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей,— стала теперь на место той безнадежной, немецкой серьезности, которую так возлелеяли наши символисты. Наконец, высоко ценя символистов за то, что они указали нам значение в искусстве символа, мы не согласны приносить ему в жертву прочих способов поэтического воздействия и ищем их полной согласованности. Этим мы отвечаем на вопрос о сравнительной "прекрасной трудности" двух течений: акмеистом труднее быть, чем симво-

ляистом, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления — всегда идти по линии наибольшего сопротивления.

Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена выдвигал вопрос о роли человека в мироздании, индивидуума в обществе и разрешал его, находя какую-нибудь объективную цель или догмат, которым должно было служить. В этом сказывалось что германский символизм не чувствует самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком оправдании извне. Для нас иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки неизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия все явления — братья.

Мы не решились бы заставить атом поклониться Богу, если бы это не было в его природе. Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним — открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть — занавес, отделяющий нас от актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — что будет дальше? Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению. Но тут время говорить русскому символизму.

Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти при-

ближались к созданию мифа. И он вправе спросить идущее ему на смену течение, только ли звериными добродетелями оно может похвастать и какое у него отношение к непознаваемому. Первое, что на такой вопрос может ответить акмеизм, будет указанием на то, что непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. Второе — что все попытки в этом направлении нецеломудренны. Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе. Бедность воображения обнаружит тот, кто эволюцию личности будет представлять себе всегда в условиях времени и пространства. Как можем мы вспоминать наши прежние существования (если это не явно литературный прием), когда мы были в бездне, где мириады иных возможностей бытия, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существуют? Ведь каждая из них отрицается нашим бытием и в свою очередь отрицает его. Детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что нам дает неведомое. Франсуа Вийон, спрашивая, где теперь прекраснейшие дамы древности, отвечает сам себе горестным восклицанием:

...Mais où sont les neiges d'antan![1]

И это сильнее дает нам почувствовать нездешнее, чем целые томы рассуждений, на какой стороне луны находятся души усопших... Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма. Это не значит, чтобы он отвергал для себя право изображать душу в те моменты, когда она дрожит, приближаясь к иному; но тогда она должна только содрогаться. Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художников и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы.

Всякое направление испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы

[1]Но где же прошлогодний снег *(фр.)*.

связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Вийона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие, Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами.

1913

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРНЫЕ

I

Существуют три способа переводить стихи: при первом переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм, своим собственным словарем, часто чуждым автору, по личному усмотрению то удлиняет, то сокращает подлинник; ясно, что такой перевод можно назвать только любительским.

При втором способе переводчик поступает в общем так же, только приводя теоретическое оправдание своему поступку; он уверяет, что, если бы переводимый поэт писал по-русски, он писал бы именно так. Этот способ был очень распространен в XVIII веке. Поп в Англии, Костров у нас так переводили Гомера и пользовались необычайным успехом. XIX век отверг этот способ, но следы его сохранились до наших дней. И теперь еще некоторые думают, что можно заменять один размер другим, например шестистопный — пятистопным, отказываться от рифм, вводить новые образы и так далее. Сохраненный дух должен оправдать все. Однако поэт, достойный этого имени, поль-

зуется именно формой как единственным средством выразить дух. Как это делается, я постараюсь наметить сейчас.

II

Первое, что привлекает внимание читателя и, по всей вероятности, является важнейшим, хотя часто бессознательным, основанием для создания стихотворения, — это мысль или, точнее, образ, потому что поэт мыслит образами. Число образов ограничено, подсказано жизнью, и поэт редко бывает их творцом. Только в его отношении к ним проявляется его личность. Например, персидские поэты мыслили розу как живое существо, средневековые — как символ любви и красоты, розы Пушкина — это прекрасный цветок на своем стебле, роза Майкова — всегда украшение, аксессуар, у Вячеслава Иванова роза становится мистической ценностью и т. д. Понятно, что во всех этих случаях и выбор слов, и сочетание их существенно иные. В пределах одного и того же отношения существуют тысячи оттенков: так, реплики байроновского Корсара на фоне психологически-цветистого описания его автором выделяются своей лаконичностью и техническим подбором выражений. Эдгар По в своей глоссе к "Ворону" говорит о подводном течении темы, чуть намеченной и тем самым производящей сильное впечатление. Если кто-нибудь, переводя того же самого "Ворона", передал бы с большей тщательностью внешне фабульные движения птицы и с меньшей — тоску поэта по мертвой возлюбленной, тот согрешил бы против замысла автора и не выполнил бы взятой на себя задачи.

III

Непосредственно за выбором образа перед поэтом ставится вопрос о его развитии и пропорциях. То и другое определяет выбор числа строк и строфы. В этом переводчик обязан слепо следовать за автором. Невозможно сокращать или удлинять стихотворение, не меняя в то же время его тона, даже если при этом сохранено количество образов. И лаконичность и аморфность образа предусматриваются замыслом, и

каждая лишняя или недостающая строка меняет степень его напряженности.

Что же касается строф, то каждая из них создает особый, непохожий на другие ход мысли. Так, сонет, давая в первой катрене какое-нибудь положение, во второй — выявляет его антитезу, в первом терцете намечает их взаимодействие и во втором терцете дает ему неожиданное разрешение, сгущенное в последней строке, часто даже в последнем слове, почему оно и называется ключом сонета. Шекспировский сонет с не рифмованными между собой катренами гибок, податлив, но лишен достаточной силы; итальянский сонет с одними женскими рифмами мощно лиричен и торжественен, но мало пригоден для рассказа или описания, для чего прекрасно подходит обыкновенный. В газэлле одно и то же слово, иногда выражение, повторяясь в конце каждой строки (европейцы неправильно разбивают ее на две), создает впечатление пестрого орнамента или заклинания. Октава, растянутая и просторная, как ни одна строфа, подходит для спокойного и неторопливого рассказа. Даже такие простые строфы, как четверостишие или двустишие, имеют свои особенности, учитываемые поэтом хотя бы бессознательно. К тому же для сколько-нибудь серьезного знакомства с поэтом необходимо знать, какие строфы он предпочитал и как ими пользовался. Поэтому точное сохранение строфы является обязанностью переводчика.

IV

В области стиля переводчику следует хорошо усвоить поэтику автора по отношению к этому вопросу. У каждого поэта есть свой собственный словарь, часто подкрепленный теоретическими соображениями. Уордсворд, например, настаивает на употреблении разговорного языка. Гюго — на пользовании словами в их прямом значении. Эредиа — на их точности, Верлен, наоборот, на их простоте и небрежности и т. д. Следует выяснить также — это особенно важно — характер сравнений у переводимого поэта. Так, Байрон сравнивает конкретный образ с отвлеченным (знаменитый пример у Лермонтова — "Воздух чист и свеж, как поцелуй младенца"), Шекспир — абстракт-

ный с конкретным (пример у Пушкина — "Когтистый зверь, грызущий сердце, совесть"), Эредиа — конкретный с конкретным ("Как стая кречетов, слетев с родимых скал... прощались с Палосом бойцы и капитаны"), Кольридж берет образ сравнения из числа образов данной пьесы ("И пела каждая душа, как та моя стрела"), у Эдгара По сравнение переходит в развитие образа и т. д. В стихах часто встречаются параллелизмы, повторения полные, перевернутые, сокращенные, точные указания времени или места, цитаты, вкрапленные в строфу, и прочие приемы особого, гипнотизирующего воздействия на читателя. Их рекомендуется сохранять тщательно, жертвуя для этого менее существенным. Кроме того, многие поэты обращали большое внимание на смысловое значение рифмы. Теодор де Банвиль утверждал даже, что рифмующие слова, как руководящие, первыми возникают в сознании поэта и составляют скелет стихотворения: поэтому желательно, чтобы хоть одно из пары срифмованных слов совпадало со словом, стоящим в конце строки оригинала.

Необходимо предупредить большинство переводчиков относительно употребления таких частиц, как "уже", "лишь", "ведь" и т. д. Все они обладают могучей выразительностью и обыкновенно удваивают действенную силу глагола-сказуемого. Их можно избежать, производя выбор между равнозначащими, но неравносложными словами, каких в русском языке множество, например: "дорога — путь", "Господь — Бог", "любовь — страсть" и т. д., или же прибегая к усечениям, как: "ветер — ветр", "мечтанье — мечта", "песня — песнь" и проч.

Славянизмы же или архаизмы допустимы, и то с большой осторожностью, лишь при переводе старых поэтов до "Озерной школы" и романтизма или стилизаторов, вроде Вильяма Морриса в Англии, а во Франции Жана Мореаса.

V

Наконец, остается звуковая сторона стиха: ее труднее всего передать переводчику. Русский силлабический стих еще слишком мало разработан, чтобы воссоздать французские ритмы; английский стих до-

пускает произвольное смещение мужских и женских рифм, которое несвойственно русскому. Приходится прибегать к условной передаче: силлабические стихи переводить ямбами (изредка хореями), в английские стихи вводить правильное чередование рифм, прибегая там, где это возможно, к одним мужским, как более характерным для языка. Тем не менее этой условности необходимо строго придерживаться, потому что она создалась не случайно и по большей части действительно дает впечатление, адекватное впечатлению подлинника.

У каждого метра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням (ударяемый слог по тону ниже неударяемого), свободен, ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли. Хорей, поднимающийся, окрыленный, всегда взволнован и то растроган, то смешлив; его область — пение. Дактиль, опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен, торжественен, говорит о стихиях в их покое, о деяниях богов и героев. Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, это стихии в движении, напряжении нечеловеческой страсти. И амфибрахий, их синтез, баюкающий и прозрачный, говорит о покое божественно легкого и мудрого бытия. Различные размеры этих метров тоже разнятся по их свойствам: так, четырехстопный ямб чаще всего употребляется для лирического рассказа, пятистопный — для рассказа эпического или драматического, шестистопный — для рассуждения и т. д. Поэты нередко борются с этими свойствами формы, требуют от них иных возможностей и подчас успевают в этом. Однако такая борьба никогда не проходит даром для образа, и потому ее следы необходимо сохранить в переводе, точно соблюдая метры и размер подлинника.

Вопрос о рифмах много занимал поэтов: Вольтер требовал слуховых рифм, Теодор де Банвиль — зрительных, Байрон охотно рифмовал имена собственные и пользовался составными рифмами, парнасцы — богатыми, Верлен, наоборот,— потушенными, символисты часто прибегают к ассонансам. Переводчику следует выяснить себе характер рифм автора и следовать ему.

Крайне важен также вопрос о переносе предложения из одной строки в другую, так называемом enjambement. Классические поэты, как Корнель и Расин, не допускали его, романтики ввели в обиход, модернисты развили до крайних пределов. Переводчику и в этом следует считаться со взглядами автора.

Из всего сказанного видно, что переводчик поэта должен быть сам поэтом, а кроме того, внимательным исследователем и проникновенным критиком, который, выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необходимости, жертвовать остальным. И он должен забыть свою личность, думая только о личности автора. В идеале переводы не должны быть подписными.

Желающий двинуть вперед дело техники перевода может пойти и дальше: например, выдерживать рифмы в звуковом соответствии с рифмами подлинника, передавать силлабический стих таким же русским, подыскивать слова для передачи характерных говоров (английского солдатского языка Киплинга, парижского жаргона Лафорга, синтаксиса Малларме и пр.).

Разумеется, для рядового переводчика это ни в какой мере не обязательно.

Повторим же вкратце, что обязательно соблюдать: 1) число строк, 2) метр и размер, 3) чередование рифм, 4) характер enjambement, 5) характер рифм, 6) характер словаря, 7) тип сравнений, 8) особые приемы, 9) переходы тона.

Таковы девять заповедей для переводчика; так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, что они будут исполняться.

1919

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные прижизненные и посмертные издания Н.С.Гумилева

Путь конквистадоров. — СПб., 1905
Романтические цветы. — Париж, 1908; СПб., 1918 (изд. 3-е).
Жемчуга. — М., 1910; СПб., 1918.
Чужое небо. — СПб., 1912.
Колчан. — М.; Пг., 1916.

Мик: Африканская поэма. – Пг., 1918.
Фарфоровый павильон: Китайские стихи. – СПб., 1918.
Костер. – СПб., 1918.
Дитя Аллаха: Арабские сказки. – Берлин, 1921.
Шатер. – Севастополь, 1921; Ревель, 1922.
Огненный столп. – Пб., 1921.
Стихотворения: Посмертный сборник. – Пг., 1922; 1923.
К Синей звезде. – ПГ., Берлин, 1923.
Письма о руской поэзии. – ПГ., 1923.

Современные издания

Письма к А.А.Ахматовой: 1912–1917 /Публ., сост., примеч. Э.Г.Герштейн // Новый мир. 1986. №9. С.219–227. [Публикация включает 13 писем Н.Гумилева.]

Избранные стихотворения /Сост., вступ. ст. В. Енишерлова. – М.: Правда, 1988. – 64с. (Б-ка "Огонек").

Стихотворения и поэмы/ Вступ. ст. А.И.Павловского; Биогр. очерк В.Карпова. – Л.: Сов. писат., 1988. – 632 с.: ил. – (Б-ка поэта. Большая серия).

Стихи. Поэмы/ Предисл. В.Енишерлова. – Тбилиси: Мерани, 1988. – 493 с.: ил. – (XX век. Россия – Грузия. Сплетения судеб.). [В книгу включены "Материалы к биографии Н.Гумилева" В.К.Лукницкой.]

Стихотворения и поэмы /Вступ. ст. Н.Скатова. – М.: Современник, 1989. – 461 с.: ил. – (Феникс. Из поэтического наследия XX в.).

Избранное / Сост., вступ. ст., примеч. Л.Смирновой. – М.: Сов.Россия, 1989. – 491 с.: ил.

Костер: Репринт. изд. – М.: Книга, 1989. – 59 с.

Стихи. Письма о русской поэзии / Вступ. ст. Вяч.Иванова; Сост.: научн. подгот. текста, послесл. Н.Богомолова. – М.: Худож. лит., 1989; 1990. – 447 с. – (Забытая книга). [В кн. дана краткая биография Н.С.Гумилева; авт. – Н.А.Богомолов.]

Стихотворения / Сост., вступ. ст., примеч. В.П.Смирнова. – М.: Мол.гвардия, 1989. – 190 с. – (XX век: поэт и время).

Письма о русской поэзии / Сост. Г.М.Фридлендер (при участии Р.Д.Тименчика). – М.: Современник, 1990. – 338 с. – (Б-ка "Любителям российской словесности"). [Издание снабжено именным указателем.]

Драматические произведения. Переводы. Статьи / Сост. Д.Золотницкий. – Л.: Искусство, 1990. – 409 с. (Б-ка русской драматургии).

Золотое сердце России: Сочинения / Сост., вступ. ст. и коммент. В.Полушина; Автор семейной хроники Гумилевых О.Высотский. – Кишинев: Лит. артистикэ, 1990. – 374 с. [В кн. помимо стихов Н.Гумилева включены его проза, драматургия, критика, публицистика, переводы].

Избранное / Вступ. ст., коммент., лит.-биогр. хроника И.Панкеева. – М.: Просвещение, 1991. – 383 с. – (Б-ка словесника).

В огненном столпе / Вступ. ст., сост., ист.-лит.коммент. и именной указатель В.Полушина. – М.: Сов.Россия. – 416 с. – (Рус. дневники). [Издание включает дневники, письма, статьи, а

также высказывания Н.Гумилева о литературе. Во вступит.ст. дается биография поэта и родословная Гумилевых.]

Собрание сочинений: В 4 т./ Под ред. проф. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. — М.: Терра, 1991.

Сочинения: В 3 т. — Худож. лит., 1991.

Т.1. Стихотворения; Поэмы / Вступ. ст., сост., примеч. Н.Богомолова. — 590 с.

Т.2. Драмы; Рассказы / Сост., подгот. текста, примеч. Р.Щербакова; Подгот. текста "Записки кавалериста", примеч. Е.Степанова. — 478 с.

Т.3. Письма о русской поэзии / Подгот. текста, примеч. Р.Тименчика. — 430 с. [Издание включает подробную хронику жизни и творчества н. Гумилева; сост. Е.Степанов.]

Литература о Н.С.Гумилеве

Тименчик Р. Иннокентий Анненский и Николай Гумилев // Вопросы литературы, 1986. №6.

Тименчик Р.Д. Неизвестные письма Н.С.Гумилева // Известия АН СССР. 1987 №46.

Лукницкая В. Из двух тысяч встреч: Рассказ о летописце. — М.: Правда, 1987. — 64 с. — (Б-ка "Огонек"). [В кн. приводятся отрывки из дневников биографа Н.Гумилева — П.Н.Лукницкого; запечатлены встречи с Анной Ахматовой и ее воспоминания о Н.Гумилеве.]

Одоевцева И.В. На берегах Невы: Литературные мемуары / Вступ. ст. К.Кедрова; Послесл. А.Сабова. — М.: Худо. лит.. 1988. — 334 с. [Большая часть воспоминаний связана с Н.Гумилевым; однако многие свидетельства чисто субъективного характера требуют критического осмысления.]

Лукницкая В. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких / Предисл. Д.Лихачева, В.Лукницкой. — Л.: Лениздат, 1990. — 303 с.: ил.

Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Сост., предисл. и коммент. В.Крейд: Репринт. изд. — М.: Вся Москва, 1990. — 316 с. [В кн. включены мемуары Э.Голлербаха. А.Белого, А.Толстого, В.Пяста, невестки Гумилева А. Гумилевой, М.Волошина, Б.Лившица, Г.Адамовича, Вл.Ходасевича и других современников поэта.]

Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост. Ю.В.Зобнин, В.П.Петрановский, А.К.Станюкович. — Л.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1991. — 333 с.

Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 т. — М.: Худож. лит., 1991 (Репринт. изд. Международного литерат. содружества, 1966). [В Т.1 — очерк "Николай Гумилев". с. 97 — 112.]

Чуковский К. Дневник: 1901 — 1929. — М.: Сов. писат., 1991. [Многие дневниковые записи разных лет посвящены Н.Гумилеву.]

Давидсон А. Муза Странствий Николая Гумилева: — М.: Наука; Издат. фирма "Восточная литература", 1992. — 319 с.: ил.

Слободнюк С. Н.С.Гумилев: Проблемы мировоззрения и поэтики. — Душанбе: Сино, 1992. — 181 с.

Комолова Н.П. "Италия" Ахматовой и Гумилева // Россия и Италия: [Книга-исследование]. — М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 1993. (с.250 — 280).

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Гумилев, его жизнь, его сочинения. *Лев Озеров* 5

Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы

Два эпиграфа: Николай Гумилев к читателям

Мои читатели ("Старый бродяга в Аддис-Абебе...") 42
Читатель (статья) 43

ПУТЬ КОНКВИСТАДОРОВ

"Я конквистадор в панцире железном..." 47

Мечи и поцелуи

"С тобой я буду до зари..." 48
Песнь Заратустры 49
Credo —
Греза ночная и темная 50
Песня о певце и короле 51
Рассказ девушки 53

Поэмы

Дева солнца 54
Осенняя песня 58
Сказка о королях 65

Высоты и бездны

"Когда из темной бездны жизни..." 70
Людям настоящего —
Людям будущего 71
Пророки 72
Русалка —
На мотивы Грига 73
Осень 74
"Иногда я бываю печален..." —
"По стенам опустевшего дома..." 75

РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ

"Юный маг в пурпуровом хитоне.. " 77
"Над тростником медлительног Нил. 78
"Что ты видишь во взор моем.. 79
"Там, где похоронен старый маг..." —
"Мой старый друг, мой верный Дьявол.. 80
"За покинутым бедным жилищем " 81
Император Каракалла
Ахилл и Одиссей 84
Любовникам 85
Помпей у пиратов 86
"Улыбнулась и вздохнула..." —
Влюбленная в Дьявола 87
Смерти 88

Измена 88
"Под землей есть тайная пещера..." 89
"Я долго шел по коридорам..." 90
"Царица иль, может быть, только печальный ребенок..." 91
"В темных покрывалах летней ночи..." —
"Приближается к Каиру судно..." 92
"Сады моей души всегда узорны..." 93
Озеро Чад —
"Следом за Синдбадом-Мореходом..." 97
"Над пучиной в полуденный час..." 98
"Мне снилось: мы умерли оба..." —
"На руке моей перчатка..." 99
"Нас было пять... Мы были капитаны..." —
Японской артистке Сада Якко, которую я видел в Париже 100
"В полутемном строгом зале..." —
"Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны..." 101

ЖЕМЧУГА

Волшебная скрипка 102
Потомки Каина 103
Камень —
Одержимый 105
Поединок 106
Портрет мужчины 107
Лесной пожар 108
Царица 109
Товарищ 110
В библиотеке 111
В пути 113
Семирамида 114
Старый конквистадор —
Варвары 115
Воин Агамемнона 116
Андрогин 117
Орел 118
Покорность —
Рыцарь с цепью 119
Христос 120
Маркиз де Карабас 121
Путешествие в Китай 122
Завещание 123
Озера 124
Свидание 125
"Ты помнишь дворец великанов..." 126
Старина 127
"Он поклялся в строгом храме..." —
Ворота Рая 128
Заводи 129
Кенгуру —
Маэстро 130
Дон Жуан 131
Попугай —
Читатель книг 132
"У меня не живут цветы..." —
Это было не раз 133

Молитва 133
"Рощи пальм и заросли алоэ..." —
Вечер 134

Беатриче

1. "Музы, рыдать перестаньте..." 134
2. "В моих садах — цветы, в твоих — печаль..." 135
3. "Пощади, не довольно ли жалящей боли..." —
4. "Я не буду тебя проклинать..." 136

Возвращение Одиссея

У берега 136
Избиение женихов 137
Одиссей у Лаэрта 139

Капитаны

1. "На полярных морях и на южных..." 140
2. "Вы все, паладины Зеленого Храма..." 141
3. "Только глянет сквозь утесы..." 142
4. "Но в мире есть иные области..." 143

Сон Адама 144

ЧУЖОЕ НЕБО

I

Ангел-хранитель 148
Две розы —
Девушке 149
На море —
Сомнение 150
Сон 151
Отрывок ("Христос сказал: "Убогие блаженны...") —
Тот другой 152
Вечное —
Константинополь 153
Современность 154
Сонет ("Я, верно, болен: на сердце туман...") —
Однажды вечером 155
Она —
Жизнь 156
Из логова змиева —

II

Посвящается Анне Ахматовой

Я верил, я думал... 157
Ослепительное 158
Родос 160
Паломник 161
Жестокой 163
Любовь 164
Баллада ("Влюбленные, чья грусть, как облака...") —
Укротитель зверей 166
Отравленный —
У камина 167

Маргарита 168
Оборванец 169
Туркестанские генералы 170

Абиссинские песни

Военная 171
Пять быков 172
Невольничья 173
Занзибарские девушки —

III

Из Теофиля Готье

На берегу моря 174
Искусство 175
Анакреонтическая песенка 177
Рондолла ("Ребенок с видом герцогини...") —
Гиппопотам 179

IV

Поэмы

Блудный сын 180
Открытие Америки 183

V

Дон Жуан в Египте. *Одноактная пьеса в стихах* 190

КОЛЧАН

Памяти Анненского 203
Война 204
Венеция 205
Старые усадьбы 206
Фра Беато Анджелико 208
Разговор 209
Рим 211
Пятистопные ямбы 212
Пиза 215
Юдифь 216
Стансы ("Над этим островом какие выси.. ") 217
Возвращение 218
Леонард 219
Птица 220

Канцоны

1. "Словно ветер страны счастливой..." 220
2. "Об Адонисе с лунной красотой..." 221

Персей. *Скульптура Кановы* 222
Солнце духа 223

Средневековье 223
Падуанский собор 224
Отъезжающему 225
Снова море 226
Африканская ночь 227
Наступление 228
Смерть —
Видение 229
"Я вежлив с жизнью современною..." 230
"Какая странная нега..." 231
"Я не прожил, я протомился..." —
Счастье 232
Восьмистишие ("Ни шороха полночных далей...") 234
Дождь —
Вечер 235
Генуя —
Китайская девушка 236
Рай 237
Ислам 238
Болонья —
Сказка 239
Неаполь 241
Старая дева 242
Почтовый чиновник 243
Больной 244
Ода Д'Аннунцио. *К его выступлению в Генуе* 245

КОСТЕР

Деревья 247
Андрей Рублев 248
Осень —
Детство 249
Городок 250
Ледоход 251
Природа —
Я и вы 252
Змей 253
Мужик 254
Рабочий 255
Швеция 256
Норвежские горы 257
На Северном море 258
Стокгольм 259
Творчество —
Утешение 260
Прапамять 261
Канцона первая ("В скольких земных океанах я плыл...") —
Канцона вторая ("Храм Твой, Господи, в небесах...") 262
Канцона третья ("Как тихо стало в природе!..") —
Самофракийская Победа 263
Роза 264
Телефон —
Юг —
Рассыпающая звезды 265

О тебе 266
Сон —
Эзбекие 267

ФАРФОРОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Китай

Фарфоровый павильон 269
Луна на море 270
"Сердце радостно, сердце крылато..." —
Природа 271
Дорога —
Три жены мандарина 272
Счастье 273
Соединение —
Странник —
Поэт 274
Дом 275

Индокитай

Аннам 276
Девушки —
Детская песенка —
Лаос 277
Кха 278

ШАТЕР

Вступление 279
Красное море 280
Египет 282
Сахара 286
Суэцкий канал 288
Судан 290
Абиссиния 292
Галла 295
Сомалийский полуостров 297
Мадагаскар 298
Замбези 300
Дамара 301
Экваториальный лес 303
Дагомея 305
Нигер 306

ОГНЕННЫЙ СТОЛП

Память 308
Лес 310
Слово 311

Душа и тело

1. "Над городом плывет ночная тишь..." 312
2. "Закат из золотого стал как медь..." —

3. "Когда же Слово Бога с высоты..." 313
Канцона первая ("Закричал громогласно...") 314
Канцона вторая ("И совсем не в мире мы, а где-то...") —
Подражанье персидскому 315
Персидская миниатюра 316
Шестое чувство 317
Слоненок 318
Заблудившийся трамвай —
Ольга 320
У цыган 321
Пьяный дервиш 323
Леопард —
Молитва мастеров 325
Перстень 326
Дева-птица 327
Звездный ужас 329

Посредине странствия земного

"Из букета целого сирени..." 334
"Много есть людей, что, полюбив..." —
"Мы в аллеях светлых пролетали..." 335
Позор 336
"Мой альбом, где страсть сквозит без меры..." —
"Лишь черный бархат, на котором..." 337
"Пролетала золотая ночь..." 338
"Однообразные мелькают..." 339
"Отвечай мне, картонажный мастер..." —
"Дремала душа, как слепая..." 340
"Я вырван был из жизни тесной..." 341
"В этот мой благословенный вечер..." —
"Еще не раз Вы вспомните меня..." 343
"Так долго сердце боролось..." —
"Я говорил: "Ты хочешь, хочешь?.." 344
"Ты не могла иль не хотела..." —
"Нежно-небывалая отрада..." 345
"Ты пожалела, ты простила..." —
Девочка 346
"На путях зеленых и земных..." 348

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

I. Стихотворения

"Я в лес бежал из городов..." 349
"Сегодня у берега нашего бросил..." 350
Франция ("О Франция, ты призрак сна...") 351
"Зачарованный викинг, я шел по земле..." 353
"Слушай веления мудрых..." —
"За часом час бежит и падает во тьму..." 354
"За стенами старого аббатства..." —
"На камине свеча догорала, мигая..." 355
"Неслышный, мелкий падал дождь..." 356
"Как труп, бессилен небосклон..." 357

"На льдах тоскующего полюса..." 358
Больная земля —
Поэту 359
"Под рукой уверенной поэта..." 360
Анна Комнена —
Колокол 361
Воспоминанье 362
Судный день 363
"Нежданно пал на наши рощи иней..." —
"Она говорила: "Любимый, любимый..." 364
"Аддис-Абеба, город роз..." 365
Тоска по морю —
"Всё ясно для тихого взора..." 366
Рождество в Абиссинии —
Неизвестность 367
В саду 368
Лиловый цветок —
"Когда я был влюблен (а я влюблен...)..." 369
Освобожденье 370
Акростих 371
"Вечерний, медленный паук..." —
"Какою музыкой мой слух взволнован?.." 372
"Нет тебя тревожней и капризней..." —
Вилла Боргезе 373
Флоренция —
Тразименское озеро 374
На Палатине 375
"Скоро полночь, свеча догорела..." 376
"Да! Мир хорош, как старец у порога..." —
"Когда вступила в спальню Дездемона..." 377
"Мое прекрасное убежище..." —

Любовь

1. "Она не однажды всплывала..." 378
2. "Я помню, я помню, носились тучи..." —

Новорожденному 379
"Священные плывут и тают ночи..." 380
Конквистадор 381
Всадник 382
Второй год 383
"Ты говорил слова пустые..." 384
Хокку ("Вот девушка с газельими глазами...") —
"Перед ночью северной, короткой..." —
Канцона ("Бывает в жизни человека...") 385
Два Адама —
"Среди бесчисленных светил..." 386
Загробное мщенье. *Баллада* 387
Франция ("Франция, на лик твой просветленный...") 389
"Они спустились до реки..." 390
Евангелическая церковь —
Мой час 391
Естество 392
К*** ("Если встретишь меня, не узнаешь!..") 393
"Ветла чернела. На вершине..." 394
"На далекой звезде Венере..."

"Я сам над собой насмеялся..." 395
Алжир и Тунис 396
Леопарди. *Набросок* 398
"Ты, жаворонок в горней высоте..." 399
<Отрывок> ("Не нравится мне это, внук мой Куно!..") —

II. Пьесы в стихах. Поэмы

Игра. *Драматическая сцена* 400
Актеон. *Одноактная пьеса в стихах* 404
Мик. *Африканская поэма* 417
Поэма начала. *Книга первая. Дракон* 442

ПЕРЕВОДЫ

Гильгамеш. *Вавилонский эпос* 451

Уильям Шекспир

Сонет XVII 483

Клод Жозеф Руже де Лиль

Марсельеза 483

Жозе Мария де Эредиа

Немея 485

Шарль Бодлер

Авель и Каин 486
Смерть любовников 487

Артюр Рембо

Гласные 488

Абиссинские песни. ***Собранные и переведенные Н. Гумилевым***

1. "Приветствую Деву Марию..." 488
2. "Смерти не миновать: был император Аба-Данья..." 489
3. "Этой ночью мне снилась кошка..." —
4. "Менелик сказал: "Седлающих мулов и коней..." 490
5. "Нападающий воин крепок как столб..." —
6. "Самое высшее счастье смотреть..." —
7. "В ружье негуса..." 491
8. "Как люди, увидя Лидж йассу, трепещут..." 492
9. "Хой, хой, Аба-Мулат Хайле Георгие..." —
10. "Убивающего леопардов выше убивший слона..." —
11. "Хуме и Дагоме сообща владеют камнем мира..." 493
12. "Шавело́ прекрасное место, где растет тростник..." 494

Избранная проза

Рассказы. Новеллы

Радости земной любви. *Три новеллы* 496
Принцесса Зара 501
Золотой рыцарь 506
Скрипка Страдивариуса 510
Черный генерал 516
Записки кавалериста 519

Статьи

Анатомия стихотворения 587
Жизнь стиха 590
Поэзия в "Весах" 600
Наследие символизма и акмеизма 603
Переводы стихотворные 607

Краткая библиография 612

Учебное издание

Николай Гумилев

"КОГДА Я БЫЛ ВЛЮБЛЕН..."

Составитель Лев Адольфович Озеров

Редактор *И.Н. Баженова*
Художественный редактор *Н.Д. Горбунова*
Технический редактор *Э.С. Соболевская*
Корректор *В.Н. Рейбекель*

ИБ № 34

ЛР № 020513 от 15.04.92

Сдано в набор 22.02.94. Подписано в печать 11.07.94. Формат 84 × 108/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Уч.-изд. л. 30,0. Тираж 50 000 экз. С 56. Заказ № 125

Издательство «Школа-Пресс». 103051, Москва, Цветной б-р, 21/2

При участии ПКФ «Печатное Дело»

Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга» Комитета Российской Федерации по печати. 198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

